№2 1975 г

Мамед Исмаил



Перевел
с азербайджанского
А. КУШНЕР

Колебания

Сколько можно плавать
в территориальных
водах вдохновенья!
Сколько колебаний,
замыслов печальных
у стихотворенья!
Грустных этих распрей
уточнять не стану.
Ищем, словно Каспий,
выход к океану!

Прости меня

Любимая, как можно врозь
Нам быть! Молю прощенья!
Как если бы земная ось
Сломалась средь вращенья.
Как если бы порвал струну,
Я мучаюсь день целый.
Прошу: прости мою вину.
Поник мой парус белый.
Мой парусник идет ко дну,
Шальным волнам послушный.
Прости ты мне мою вину,
О, будь великодушной!
Будь выше. Можно ль помнить зло!
В душе таить обиду!
Что мне, когда на то пошло,
Сказать в свою защиту!
Что я мгновенье то кляну,
Кляну затменье света!
Прости мне, милая, вину,
Прошу, прости мне это.
Я вижу жалобу в глазах
Твоих и сам страдаю.
Притворства нет в моих словах.
Как дальше жить — не знаю.
О, не уподобляй меня
Безгрешному герою
Из книги, книгой заслоня
Жизнь, с горечью земною.
Не книгой мерить глубину.
Сложны мы и ранимы.
Прости мне, милая, вину,
Чтоб завтра жить могли мы!

Осенние этюды

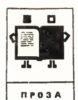
Вот и туман опустился на горы,
Пахнет погодой сырой.
Желтою краской нам радуя взоры,
Просится лес на покой.
Дым очага расстилается низко,
Он говорит нам о том,
Что холода уже близко, так близко,
Как этот сад за холмом.
Поздняя осень прощается с нами,
С горных взывает к нам круч.
Шелковым волосом перед глазами
Солнечный тянется луч.
Падают листья последние с веток,
Словно последним часам
Осени счет подвели напоследок,
К зимним спеша холодам.

Алексей Мишин



Соловьева переправа

У Соловьевой переправы
По обе стороны — дубравы.
Под каждым крепышом-дубком
Солдаты спят с политруком.
У Соловьевой переправы
Овраги, ямы да канавы,
А в них — малина, земляника.
Узнай, кровинка чья, поди-ка.
У Соловьевой переправы
По пояс вымахали травы,
А в них — и гнезда и птенцы.
Под ними — дети и отцы.
У Соловьевой переправы —
Нет соловьиной переправы.
А есть паром, красавец мост
Да берега — сплошной погост.
От родниковых ли их душ,
От залпов пушек ли, «катюш»
Вода тиха и глубока,
Чиста славянская река.
У Соловьевой переправы —
Живая память слева, справа,
Под каждой елью и дубком
Солдаты спят с политруком.





Мария
ПРИЛЕЖАЕВА

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА МАЯ

ПОВЕСТЬ

Часть первая

ДЕТСТВО, ПРОЩАЙ

1

— Вставай! Живо, скорей!

— Кто тут? Мама? Что, мама?

Она стояла со свечкой, придерживая у горла незастегнутый капот. Крошечный язычок пламени освещает худое лицо. Темень кругом. Только желтый огонек слабо высвечивает из тьмы мамино лицо. Волосы нечесаными прядями свисают на плечи и грудь.

— Слышишь?

— Нет.

— Вслушайся. Слышишь?

Катя села, натянула одеяло.

— Не слышу. Нет, не слышу.

Некоторое время мама молча хмурила брови. Катя узнала то выражение лица. Оно недавно появилось. Или Катя только недавно заметила? Кажется, вот мама здесь. И будто не здесь. Что-то чужое в ней. Катя боялась ее, такую.

— Разбудить Татьяну? — спросила робко.

— Татьяна отпущена к родным на три дня.

— Зачем?

— Нужно.

Татьяна отпущена к родным. Значит, в усадьбе они с мамой одни. В саду березовая аллея, сиреневые

Рисунки
П. ПИНКИСЕВИЧА.

кусты вдоль забора, три тенистые липы над крокетной площадкой — укрывайся, где хочешь. Боже! А за садом, перебеги лужайку — и церковь. Иногда в церкви выставляют на ночь покойника. Может быть, и сейчас...

«Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд, в судорогах задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы...»

— Одевайся! — коротко велела мама.

«Зачем? Ведь ночь».

Спорить нельзя. Спрашивать нельзя. Натянуть платьишко, скорей, как-нибудь. Руки не лезут в рукава.

— Поторапливайся, не маленькая, давно уже взрослая.

Катя кое-как справилась с платьем, накинула шарфик. Конечно, деревенские девчонки в ее-то годы... Вон Саньку возьмите...

— Хочешь знать, почему отпустила Татьяну? — спросила мама, неспокойно оглядываясь по сторонам. От желтенькой свечки тьма по углам кажется гуще. Настоящая кромешная тьма. Мама прикрыла свечку ладонью, чтобы не задуть: — Есть подозрения... она связана с теми.

«Господи»,— перекрестилась Катя под шарфиком.

— Объясни, мама, пожалуйста.

— После. Сначала осмотрим дом.

— И наверху?

Дом с летним мезонином. Наверху две небольшие комнаты. Когда летом приезжают в усадьбу, в мезонине живет Вася. Нынешним летом Васи нет, и комнаты наверху стоят нежилые. И два просторных чердачных чулана пусты. Конечно, и при Васе в чуланах никто не живет, но сейчас там как-то особенно пусто. Сумрачно. Свисают пряди паутин со стропил. Того и гляди споткнешься о балки. Или налетишь на печные кирпичные трубы.

Мама медленно шла по дому со свечкой. В столовой крупные квадратные плиты паркета осели, у стен пол покатый, а в середине комнаты образовалась как бы впадина. Обеденный стол накренился, посуду ставить нельзя: поедет, как с горки. Впрочем, они давно не обедают в столовой.

Татьяна скажет иной раз, не маме, конечно, а Кате, тихонько сочувствуя:

— Ничего-то барского в вас не осталось.

Татьяна давно живет у них, еще при папе жила. Смутно припоминается Кате: при папе в доме было людно, приезжали гости, играли на пианино, пели, гоняли на крокетной площадке шары.

Мама и теперь иногда играет на пианино. И на селе их зовут по-прежнему — барские. Настоящая их фамилия Бектышевы, но на селе, может быть, и не знают их настоящей фамилии.

Катя шла за мамой по пятам. В голову, как нарочно, лезли разные страшные истории. Вот, например, Санька божится, что раз у них в усадьбе зимами печки не топят, в печных трубах с холодами селятся черти.

— А еще они оттого выбрали вас, что мать неверующая.

— Врешь, Санька. Верующая!

— Крест носит? Глянь-ка, есть на матери крест?

Креста нет. Много слезных молитв вознесла Катя богу, чтобы помиловал маму, не уготовал ей, грешной, место в аду!

«Господи, прости маму. Прости, прости, что не носит креста».

Но другим, даже Саньке, ни за что не признается.

— Есть крест. Лопни мои глаза, если вру.

— Лопнут, дождешься. И в церковь твоя мать не ходит.

— В городе ходит. Там хор. Здесь не поют, а гнусавят, оттого и не ходит.

— Молиться везде можно.

— Вот она где захочет и молится.

«А все-таки зачем она меня разбудила? Неужели лез вор?»

В деревне, в их селе Заборье, пересеченном тихой рекой Шухой, про воров не слыхать. Здесь и замков на дверях не водится. В страдную пору, когда все село на лугах или в поле, если в какой избе не останется даже бабки с малым дитем, щеколду на дужку накинут, щепкой заткнут — вот вам и запор.

Маме почудились воры. Что-то почудилось. У нее бессонница, целые ночи не спит, поневоле пригрезятся страхи.

Они на цыпочках обошли комнаты.

Заглянули на кухню.

Нигде никого.

Пришли в мамину спальню. Здесь душно, фортки закрыты. Шторы опущены. Кровать отгорожена ширмой. На ночном столике пепельница с грудой окурков. Вещи насквозь пропитаны едким табачным дымом.

Мама вставила свечку в подсвечник на столике и в страшной усталости, будто отшагала верст двадцать, села на кровать. Закурила.

Вот что еще Катю смущало. Ни в деревне, ни в городе она не видела курящих женщин. А мама не выпускала изо рта папиросы, постоянно дымила.

— Бабы наши на твою мать дивятся,— говорила Санька.— Чудные вы, барские.

— Бектышевы, а не барские.

— Пускай Бектышевы, все у вас по-чудному, не как у других.

— ...Можешь лечь,— позволила мама, докурив папиросу и зажигая от свечки другую.

И забыла о Кате.

Катя привыкла — мать никогда ее не ласкала. Васю ласкала: «Надежда моя!»

Когда приносили письмо из Действующей армии, мама, бледнея, дрожащими пальцами торопливо надрывала конверт, читала, целовала листок, от слез буквы расползались, и Катя после с трудом могла разобрать, что пишет Вася о войне.

Катя тоже любила его. Больше всех на свете любила его.

Какое измученное у мамы лицо. Далекие глаза, настороженные, будто все время ждет, вот кто-то подкрадется неслышно...

— Спокойной ночи, мама!

— Ступай.

Если бы можно было спросить: «Мамочка, что с тобой? Отчего ты молчишь? Не ешь. Ничего не ешь, только куришь. Что с тобой, мама?»

Катя спала на диване в гостиной, так называлась эта комната, где стояло пианино, ломберный столик для карточной игры, потертая плюшевая мебель.

Отчего-то грустно припомнилась одна летняя ночь. Тогда Васю еще не призвали в армию, он жил с ними в усадьбе, пол в столовой тогда еще не провалился. Катино место было в столовой. У нее не было в доме постоянного угла.

Она крепко спала и внезапно проснулась. Словно что-то толкнуло ее. В окно светили звезды. Огромные синие и зеленые звезды. Катя не поверила: правда ли? Может быть, она все еще спит? Неужели взаправду эти таинственные звезды, таинственная тишина?

...Под окном что-то стукнуло. Кто-то влезал в раскрытое окно в гостиной. Катя в страхе едва не вскочила. Ах да! Ведь это Вася возвращается со свидания с дочкой доктора из земской больницы, в пяти верстах от Заборья.

Кате нравилось, что Вася влюблен, пишет докторской дочке записки, рвет и, схватившись за голову, долго сидит без звука, выражая всей позой муки любви. Впрочем, чаще вскочит на велосипед и укатит в коричневый флигель возле больницы и — до позднего вечера.

Вот вернулся со свидания звездной ночью, раскрыл пианино, играет. Чуть слышно.

«Я счастлив, милая жизнь!»

2

Сквозь тюлевые занавески солнце теплыми пятнами расплескалось по комнате. Если солнечные пятна остановятся на третьем сверху стенном пазу, значит, восемь утра.

В разгаре лета стены гостиной рано заливаются светом. Волнами наплывает запах жасмина. В скворечне и под застрехой громко пищат птенцы, разевая жадные клювы,— сад щебечет, стрекочет.

Сейчас тихо в саду. За окном красные кисти рябин. Лето уходит, лету скоро конец. Скоро сад весь станет желтым и пестрым, а гроздья рябин все тяжелей и багрянее.

Рябина ты багряная, я тебя люблю.
Солнце золотое, я тебя люблю...

Нет, лучше так: «Солнце золотое, я тебя пою». Такими словами в обычной жизни не говорят. И хорошо. Поэты говорят необычно.

Утром радостно. Особенно в каникулы в Заборье. Хочется вскочить, куда-то бежать, кажется, именно сегодня случится что-то из ряда вон выходящее...

Но вспомнилась ночь, и Катя с тяжелым сердцем пошла к маме. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Иногда скажут: «Занимайся своими делами». И на весь день свобода, раздолье, лети куда хочешь, на все четыре стороны, до вечера не хватятся.

Но чаще напротив: «Довольно бить баклуши. Делай французский перевод».

Или засадят на полдня играть гаммы. Катя ненавидела гаммы, упражнения Ганона, даже детские пьесы Чайковского! У нее нет музыкальных способностей, музыкального слуха. Неловко признаться, в этом смысле она просто пень.

Но она не ответит маме: «Не буду». Или «Не хочу». Или что-нибудь в этом роде.

— Мама, можно прочесть эту книгу?

— Мама, можно ко мне придет одна девочка?

— Мама, можно?..

И если нельзя, так нельзя.

Как-то раз, после одного такого «мама, можно?», Вася сказал:

— Послушная ты.— Катя не поняла, хорошо это или плохо. Он с жалеющей улыбкой добавил: — Послушные не открывают Америк.

Она поняла. Резко дернулось в груди.

— Пожалуйста, открывайте Америки, а я и так проживу.

— Катюшон, не сердись, не то я сказал,— виновато признался Вася и взял ее за виски, крепко держал и глядел в глаза, не отпуская, покуда у нее не выступили все-таки слезы.

— Не сердись, Катюшон.

Разве могла она на него сердиться?

Иногда утром, потихоньку ото всех, они уходили вытаскивать поставленные на ночь удочки. Ставил он, наживлял на крючок пескаря или другого живца и закидывал удочку на ночь где-нибудь неподалеку от омута в кустах, чтобы кто не позарился на леску. Омутов в их родниковой извилистой Шухе множество, рыбы всякой уйма — голавлей, окуней, сазанов — крупные, вполруки, а то и больше.

Вася будил Катю до солнца.

Над берегами Шухи навис туман. Белый. Вступишь в него, и скоро платье влажно прилипнет к спине. Вася давал Кате вытащить самое большее две удочки в утро. Она разводит ветви куста, вся облитая холодной росой, осторожно берется за удилище и сразу почувствует, взяла рыба или нет. Если взяла, тяжело тянет вниз или начнет метаться в стороны, сумасшествовать. Того и гляди сломает удилище.

Стиснув зубы, чтобы не завизжать от азарта, Катя медленно, как учил Вася, ведет удочку. Не упустить бы, не упустить!

Когда они возвращались домой, заря разливалась вполнеба, туман таял, свежо зеленела трава.

Крестьяне шли в поле.

— Добытчики, на ушицу раздобыли рыбешки,— скажет баба с серпом на плече.

— Чо им не баловаться? Им рожь не жать,— скажет другая.

Потом Вася все реже жил дома. Поступил учиться в Московский институт путей сообщения. Потом началась война.

Третий год идет война, немцы нас бьют, плохи наши дела. У всех одно на уме: чем только все это кончится?

Санькин отец вернулся из лазарета на деревянной ноге. Однажды, дожидаясь Саньку возле ее огорода, Катя случайно подслушала разговор Санькиного отца с таким же отвоевавшим мужиком без руки.

— Невидная, безрукая да безногая наша житуха.

— У кого она видная, ежели ты из бедного классу? Главное дело, германца никак не осилим.

— Царь у нас никудышный. Вовсе плохонький царь... С эдакой головой не осилишь.

— Офицерье туда ж. Один к одному сволота.

Катя обмерла: ведь Вася-то, брат ее,— прапорщик!

Солдаты не заметили Катю. Не дождавшись Саньки, она умчалась домой.

Вот в какие неприятные случалось ей попадать положения. Ладно, что Катя довольно быстро о них забывала.

...Где же мама?

Окна в маминой спальне задернуты темными шторами. Кровать не застелена. На ночном столике огарок свечи в подсвечнике, куча окурков. И на полу окурки, пепел.

Катя обошла дом. Мамы нет.

В кухне самовар холодный, неставленный. Где она? Ушла к Ольге Никитичне? Едва ли, с Ольгой Никитичной у них близкого знакомства нет.

Катя съела булку и вдруг вспомнила вчерашнего воробушка. Утром она набрела на него у крокетной площадки. Он беспомощно лежал со сломанным крылышком. Катя подняла воробья, жалостно слушая, как колотится в ладони маленькое воробьиное сердце. Весь день выхаживала воробушка, кутала, поила, кормила, но он не пил и

не ел и к вечеру умер. Катя спрятала его в коробку, там он и пролежал всю ночь. Сегодня похороны. Ни одного лета у нее не обходилось без похорон.

Воробушек за ночь окостенел, головка свесилась набок. Она вышла с ним в сад вырыть где-нибудь под кустами могилу.

Тут как раз за садом на колокольне зазвонили. Медно ударял большой колокол, гудел, далеко разливаясь по полям и лугам, а малые колокола трезвонили наперебой, будто бегут вперегонки.

«Названивают, словно на праздник. Да и верно праздник, должно быть».

— Ты здесь зачем? — резко послышалось сзади.

Мама. Какой сиплый голос! Волосы растрепаны, подол юбки мокрый, видно, долго бродила по росистой траве.

— Живо домой!

Почему-то в это ясное розовое утро, когда она так печально любила воробушка, грубый окрик матери больно оскорбил Катю.

Но она и теперь ничего не сказала и пошла домой, понурив голову, держа в руке птичку.

— Ты подавала им знаки,— сказала мать, входя в кухню.

— Кому? — испугалась Катя. Ужасно испугалась. Нет, она не может больше все это терпеть! Не может, не хочет. Она убежит.

В глазах матери стояла какая-то хитрость. Эта хитрость и было самое страшное, потому что ее нельзя было понять, и Катя не знала, что думать, что делать, и хотела спрятаться, куда-нибудь скрыться, чтобы не видеть выпытывающих и одновременно каких-то бездонно пустых маминых глаз.

— Ты подавала им знаки. Им. На колокольне.

— Мама! — взмолилась Катя.

— Молчи. Я все знаю. Давно за тобой слежу.— Пальцы цепко впились Кате в плечо.— Признавайся. Признавайся. Ну, призна...

Но на кухонном крыльце раздались шаги, кто-то взялся за дверную скобу. Мама мигом отпустила Катю, отскочила к стене, прижалась, словно хотела втиснуться в стену.

— Кто там?

Вошла Ольга Никитична. Ангелы в небесах услышали Катин ужас, прислали на помощь Ольгу Никитичну.

Всегда она бывала ровна и спокойна, а сейчас казалась озабоченной и заговорила с какой-то искусственной ласковостью:

— Александра Алексеевна, а у вас нынче вид посвежевший. Но доктора все же я к вам привела...

— Я здорова,— оборвала мама.

Старый доктор, с чеховским высоким лбом и пенсне, тот самый, из земской больницы, в дочку которого был влюблен Вася, пристально поглядел на маму и сказал, как Ольга Никитична, неестественно ласково:

— Здравствуйте, Александра Алексеевна. Оказия вышла в Заборье, дай, думаю, загляну проведать.

— Я здорова,— повторила мать. И ровным голосом, словно о чем-то будничном, вовсе обыденном: — Я знаю, кто хочет меня отравить.

Ольга Никитична порывисто обняла Катю, привлекая к себе.

— Полноте, Александра Алексеевна, кому надо вас отравлять?— возразил доктор.

— Не спорьте. Я знаю, кому и зачем это надо,— ответила мать, и в глазах блеснуло то — непонятное, злое и хитрое.

— Идем,— позвала Катю Ольга Никитична.— Нечего здесь делать тебе.

Она крепко взяла ее за руку и повела из дому, как маленькую.

Катя несла воробушка.

3

Ольга Никитична жила в деревянном домишке, который только тем отличался в ряду деревенских изб, что в палисаднике было тесно и празднично от толпы пышных георгинов и флоксов. Муж ее был фельдшером в той же земской больнице в пяти верстах от Заборья, но его тоже призвали в армию. Почти всех мужчин из деревень и сел в окрестности угнали на фронт.

Ольга Никитична учила в школе ребят и зимами жила одна, а на каникулы приезжала из города дочка Зоя, старше Кати, лет пятнадцати, тоже гимназистка.

— Пока побудешь у нас, а там видно будет,— бодрясь и словно стараясь скрыть что-то, говорила Ольга Никитична и тут же, среди бела дня, принялась стелить Кате постель в крохотном кабинетике фельдшера на его давно пустовавшей кровати.

— Пока с Зоей побудешь. Зоя тебя рукоделию научит. Она у нас мастерица. Что за барышня, чтоб иголку не умела держать? Ну, вот и готова постелька.

Ольга Никитична говорила без умолку о всяких пустяках вроде Зоиного рукоделия, казалось, боясь Катиных вопросов. Но Катя ни о чем не спрашивала. Кое-что уже сама поняла. Правда, не все.

Зоя вышивала гладью скатерку. Вечно вышивала, целые дни сидела за пяльцами.

— Полюбуйся, Катя, кружев у меня на две дюжины полотенец навязано! Кончу гимназию, а приданого полный припас.

— По нынешним временам и с приданым девки с рук не идут. Женихов-то всех перебили,— вздохнула Ольга Никитична.

Катя глядела в окно. Виден их сад с темной зеленью сиреневых кустов, желтеющей березовой аллеей, пламенными кострами рябин. Вытоптанная лужайка у церковной ограды. Белая колокольня умолкла — обедню отслужили. Позади усадьбы и церкви вправо и влево стройный порядок крестьянских изб.

Обычно села строятся вдоль реки, а наше Заборье перекинуло поперек Шухи мост и вытянулось в ту и другую сторону чуть не по версте. Зачем село ушло от реки? Может, приманили леса? Обоими концами Заборье упирается в леса. Там между шатровых елей путается орешник, жестко шуршат осины, черноствольная ольха обступила болотца. Болотец у нас много, затянутых светлой ряской, веснами сотни лягушек задают концерты, на все село слышно.

«Что с мамой? Что с мамой?»

— Ольга Никитична, я пойду к маме.

— О маме не тужи. Есть кому о ней позаботиться,— тем же старательно-спокойным тоном ответила Ольга Никитична.

Катя глядела в окно. Виден их сад...

— Тогда сбегаю к Саньке,— попросилась она.

— А это — сделай милость беги.

Катя не оглянулась на Зою, отчасти она чувствовала себя по отношению к Зое изменницей, но не хочется сидеть над пяльцами. И говорить с Зоей не о чем. Удивительно не о чем с ней говорить.

Она припустила бегом. Катя не любила тихо ходить. Ей нравилось мчаться и размахивать прутом, будто всадник на несущемся коне.

Все это называлось мальчишескими ухватками, вовсе не идущими девочке, называлось дурными манерами. Наверное, так оно и было, и мама поделом бранила ее, но, вырвавшись из дома, Катя начисто о манерах забывала.

Санька мыла полы. Двое мальчишек, пяти и трех лет, на широченной, покрытой лоскутным одеялом кровати строили из чурок амбар. Третий, маленький, спал в зыбке, подвешенной к потолку на шесте, а Санька, домывая полы, скребла косарем у порога.

— Помочь?

— Вона помощница выискалась! — хмыкнула Санька.— Тряпку выжать и то, небось, не умеешь. Что долго не была?

— Мама не позволяла.

— Своей воли вовсе нету. Ох, и подневольная ты!

Санька быстро управилась, краем кофтенки вытерла со лба пот, сполоснулась под глиняным рукомойником, Кате приказала разуться, чтобы не наследить на чистом полу, вытащила ухватом из печки чугунок с пареной репой и кликнула братишек за стол. Маленький заворочался, просыпаясь, но Санька потрясла зыбку и мигом его укачала.

— Ой,— вспомнила Катя.— Воробушка мертвого у Ольги Никитичны на окошке оставила. Похоронить хотела.

— Сиди. У Ольги Никитичны кот-ворюга. Небось, давно твоего воробушка сожрал.

— Как тебе не стыдно! Какая ты жестокая, Санька.

— Ладно, не хныча,— одернула Санька.— Мертвым не больно. Живых жрут. Ешь репу. Не хныча.

— Как это живых жрут?

— Вот так.

Санька молча ела репу, мальчишки и Катя от ее строгости присмирели.

— Вот так,— распаляясь, продолжала Санька.— Наш тятька с войны на деревяшке вернулся, на груди Георгий. Георгия зазря не нацепят, его за храбрость дают. А староста не поглядел на медаль, самую далекую да худую делянку тятьке отмерил в лугах. Луга-то барские, ваши, миром у вас арендуем. Вам денежки мирские беззаботно плывут, а над нами староста. По-божески это, что тятька на деревяшке за десять верст убирать сено хромает? По-божески это, что нынче праздник Преображения Господня, а тятька с мамкой чем бы праздновать или на своем дворе похозяйствовать — к чужим батрачить ушли?

— Чего они батрачат-то?

— Чего, чего? Овсы лошадным косят. Глянь во двор, есть у нас лошадь? Нету. Безлошадные мы. И землю староста тятьке потощей выделяет. Сживает со свету тятьку.

— За что?

— За то, что голова непоклонная,— сверкнув глазами, гордо ответила Санька и понесла чугун на шесток.— Ребятишки, айда в огороды. Сядем там в холодку. Малого под лопухами пристроим. А мне маманя ребячьих портов собрала, в дырах все, латать надо.

Она расстелила дерюжку у куста бузины, маленького устроила под лопухами. И повеселела и принялась одну за другой нашивать заплаты на ребячьи штаны.

— А ты рассказывай, Катя.

Вот это-то Катя и любила! Любила Санькины горящие изумлением глаза, любопытство и сияние в них, как только начинался рассказ. Любила сочинять длинные-длинные истории, непохожие на Санькины сказки о ведьмах и чертях. В Катиных историях прочитанное мешалось с выдумками и речь шла о жизни. Вроде как о ее собственной Катиной жизни и совсем не ее, вроде как о ней самой и совсем не о ней. В ее историях происходили разные события, ее герои страдали, терпели лишения, страшные испытания валились на них, но конец был счастливый. И Санька благодарно вздыхала, ахала, охала, и ее глубокие переживания так вдохновляли Катю, что она придумывала все новые повести. Специально для Саньки. И для себя, разумеется. Всегда со счастливым концом.

— Беда-то! У нас на селе и не случалось такого! — долетело до них в разгаре Катиной повести.

Говорили у крыльца. Видно, вернулись с поля. Говорила Санькина мать:

— Да правда ли? Может, врут?

— Где там врут! — спорил другой женский голос.— Своими глазыньками видела, как она, бедная, билась. «Не хочу! — кричит.— Изверги вы». Дак они ей руки связали, Лександре Ляксевне, сердечной! Да сняли на телегу. А она криком кричит: «Спасите, убивать меня повезли!».

— Боже мой! — простонала Катя. Вскочила.— Мама! Спасите ее! Не убивайте ее!

Она выбежала из огорода к крыльцу. Там две женщины и Санькин отец на деревянной ноге. Замолчали. Испугались ее вида.

— Ты... деушка...— запинаясь, сказал Санькин отец,— с матерью твоей не того... худо ей... так ты, ежели вовсе не будет к кому прислониться... в случае приходи.

И стал торопливо подниматься на крыльцо, стукая о ступеньки деревянной ногой.

— Усадьба у ней. Управитель найдется,— возразила Санькина мать.

— Я не про то. Ежели стоскуется. Вот я про что.

Деревяшка стукнула о ступеньку.

Наползавшая с востока туча завесила солнце, притемнила день. Стая молодых галок снялась с колокольни и, звонко цокая, пронеслась над селом.

4

Спустя несколько дней у палисадника Ольги Никитичны остановился тарантас, запряженный парой. Приехала высокая, пожилая дама, в шляпе из кремовой соломки, дорожном светло-сером платье и серой же, но потемнее тальме со стоячим широким воротником, как, видела Катя, рисуют в иллюстрированном журнале «Нива» именитых особ старинных фамилий королевства Великобритании. Но не стоячий воротник ее тальмы, будто срисованный с иллюстраций из «Нивы», удивил Катю. Удивило, что приезжая старая дама (наверное, не меньше шестидесяти) казалась притом совсем не старухой. Статная, стройная. Поднимающиеся венцом вокруг лба блестящие, без седины волосы; темные, будто смотришь в колодец, глаза, светлая кожа с легким румянцем.

Величавая и праздничная, она неспешно оглядела Катю у окна, Зою за пяльцами.

— Кто из вас Катя Бектышева?

— Я.

— Здравствуй. Я твоя баба-Кока.

Оторопь взяла Катю. Даже «Здравствуйте!» ответить не нашлась.

— Ксения Васильевна, наконец-то! Получили телеграмму? А я жду не дождусь, отчего задержка, разгадать не умею! — всплескивала руками и восклицала Ольга Никитична.

— В полчаса такой трудный шаг не решишь. Есть о чем подумать — перелом жизни, не шутка,— медлительно ответила гостья.

«Какой шаг? Какой перелом? — пронеслось у Кати.— Зачем она приехала? А, знаю, знаю, ей меня отдают. Ольга Никитична, не отдавайте, я к вам привыкла, вы добрая. Я не стала бы вам мешать, ведь недолго осталось. Кончится же война, вернется Вася. Ольга Никитична! Не отдавайте меня!»

Но Катя молчала. Почему? Почему в самые решительные моменты жизни она тушевалась — события шли своим чередом, она не противилась. Слушалась.

Впрочем, приезжая дама в тальме пока ничего дурного Кате не сделала. Напротив! Изредка откуда-то из Москвы приходила на Катино имя по почте посылка. Кукла в желтых кудряшках и гофрированном платье. Или «Отверженные» Виктора Гюго в дорогом переплете.

Однажды пришла необычная по виду посылка, что-то длинное, узкое. Оказалось, зонтик из розового муслина, с кружевной оборкой. Во всем Заборье ни у одной девчонки ничего подобного не было. О летних зонтиках от солнца, тем более с кружевными оборками, в деревне не слыхивали. Кто здесь от солнца хоронится?

Катя примчалась к Саньке. Был вечер. Стадо уже пригнали, пыль от копыт на дороге улеглась. Воздух снова стал чист. Катя раскрыла зонтик. Санька так и присела.

— Батюшки-светы! Щелк, и раскрылся!

Пылая от счастья, Катя позвала Саньку прогуляться по деревне под зонтиком. Изо всех изб сбежались девчонки и мальчишки. За зонтиком следовало шествие, как за иконой в престольный праздник.

— Приятно, даже и нет солнца, а как-то приятней с зонтиком, верно?

Санька только молча кивала.

Такой прекрасный сваливался иногда на Катю сюрприз.

И три слова на почтовом листке: «Целую. Баба-Кока».

...«Что со мной будет?» — сжимая холодные пальцы, думала Катя, убежав в палисадник, пока Ольга Никитична повела бабу-Коку вымыться и переодеться с дороги.

Ксения Васильевна, мамина тетка, была крестной Васи и Кати. Это было при отце. Отец и назвал ее бабой-Кокой. Так с тех пор и пошло. Говорят, баба-Кока дружила с отцом, во всяком случае, находила общий язык. С мамой у них общего языка не было. Поэтому когда отец расстался с семьей, баба-Кока не появлялась в их доме. Оттого Катя и не знала ее. Отца она тоже не знала. Отец — Платон Акиндинович — полковник в отставке. И все? А где он? Какой?

Иногда услышит от Татьяны: «Обходительный был, весельчак. С мамашей твоей характерами уж больно несхожи. Да еще попивал...»

Иногда из разговора мамы с Васей: «О чудачествах занимательно в романах читать, но терпеть рядом, каждый день?..»

Должно быть, по этой причине мама не терпела и свою тетку Ксению Васильевну. Про Ксению Васильевну говорили, что она прожила жизнь сумасбродно.

Однажды Вася получил письмо, передал маме:

— У бабы-Коки снова перемены.

Мама прочитала небольшую, мелко исписанную страничку, холодно бросила:

— Очередное чудачество.

— Невинное. Даже душеспасительное,— сказал Вася.

«Что там? Какие перемены? Какое чудачество?»

Но Кате не разрешалось любопытствовать. Задавать вопросы нельзя. Вмешиваться в разговоры старших нельзя.

И вот из-за маминой болезни предстояла ей новая жизнь. Несло, как ветром былинку. Куда?

Накануне отъезда все пришли в их бектышевский сад. Дом заперт. Заколачивали окна. Санькин отец, хромая на деревяшке, стучал молотком, прибивая крест-накрест доски.

— Словно гроб заколачиваем,— всхлипнула Ольга Никитична.

Санька кинулась Кате на шею:

— Подруженька, век помнить буду! Катя, и ты меня не забудь.

Солнце зашло, когда они уходили. Полный печали, спускался бесшумный вечер на сад.

Катя оглянулась от калитки. На клумбе в глубокой тишине клонили пестрые шапки осенние астры.

5

Станция Александров! Остановка пять минут. Поезд следует до Москвы. Александров...

В черной тужурке с блестящими пуговицами, мягко ступая по ковровой дорожке, проводник шел коридором второго класса, деликатно постукивая в двери купе, где приказано разбудить. Стукнул Ксении Васильевне, но они с Катей были уже готовы.

— Носильщика и поскорей,— распорядилась Ксения Васильевна.

— Эй! Носильщик, сюда.

Рысью подбежал немолодой, слабосильный на вид мужичок в белом фартуке, с бляхой на груди, суетливо подхватил чемодан, саквояж, набитый постелью, и перевязанный ремнями портплед — все Катино имущество,— и через минуту они оказались на утренней малолюдной платформе, где дворник поднимал метлой тучу пыли. Носильщик проводил пассажиров на привокзальную площадь к извозчикам. Катя думала — они едут в Москву, а ее привезли в Александров. Только улица по названию Московская длинно тянулась от вокзала из конца в конец города.

Что за город!

Что за город по сравнению с тем, в котором Катя жила раньше? Там липовый тенистый бульвар выведет на высокую набережную, и откроется тихая, вольная Волга, утекая в туманную даль, и всю тебя обоймет непонятное счастье. Там на центральной площади известный всей России театр, с колоннами, огнями, афишами. Когда Катю брали на спектакль, это был праздник надолго-надолго! Там нарядные улицы, каменные дома, витрины с игрушками, у которых можно простоять час или два, замирая от восхищения, любуясь, особенно куклами.

Нужно признаться, Катя везла свою единственную куклу на новое местожительство, тайно ото всех затискав в чемодан. Куклу, как и муслиновый зонтик, когда-то прислала из Москвы баба-Кока.

В желтых кудряшках, кисейном розовом платьице, с растопыренными розовыми ручками, круглыми, как луговички, голубыми глазками — кукла была модной барышней. А Катя в это именно время читала «Отверженные», обливаясь слезами над страданиями несчастной Козетты, ненавидя разряженных дочек трактирщика. Кукла в кисейном туалете напоминала тех злых модниц. А Кате хотелось, чтобы она была

забитой, оборванной, чтобы можно было спасать ее, приютить, пожалеть.

Она порвала на кукле наряд, взлохматила волосы, измазала щеки. Кукла стала Козеттой. Катя страстно любила Козетту, покрывая поцелуями ее чумазое лицо.

— Дикарка какая-то со своими дурацкими фантазиями. Нелепый ребенок! — сухо заметила мать.

Но не отобрала куклу.

Катя делилась с Козеттой всей своей жизнью. Козетта знала ее беды и радости. Неужели бросить ее в заколоченном доме? Надо совсем быть бездушной. Налетят сырые осенние ветры. Увянут астры. Осыплются листья берез. И никто, ни один человек не придет в голый сад, к забытому дому.

«Все-таки куда мы приехали?!» — разгадывала Катя, трясясь вместе с бабой-Кокой по булыжной мостовой на извозчике.

По сторонам стояли в ряд деревянные одноэтажные домики. Заборы, заборы. Домик — дощатый забор. Домик — забор. Крылец не видно. Крыльца за воротами. Только деревянные кружевные узоры на карнизах и окнах веселили Московскую улицу.

Правда, иногда среди простеньких домов-близнецов выделялся особняк-купчина, даже каменный, и по балкончикам, башенкам и всяким другим украшениям можно было понять, как он богат и дозолен собой.

Правда, увидела Катя красное кирпичное здание с высокими окнами и вывеской над подъездом «Мужская гимназия». И магазины, мелочные лавчонки на Торговой площади. А за площадью снова одноэтажные аккуратные дома и заборы.

— Мы здесь будем жить? — спросила Катя.

— Здесь, да не совсем. Удивишься, где мы жить будем.

Катя вздохнула. Последнее время часто приходилось ей удивляться.

Ударил колокол к обедне. Не как в Заборье, дребезжаще — блям, блям, а могучий хор колоколов, больших, средних, малых, многоголосо гудящих, поющих и торжественно возносящихся к небу.

И стал виден монастырь на обширном зеленом холме. Отделяла его от города река Серая, что кружила поперек и вдоль улиц, осененная серебристыми сводами ив.

Белые стены обносили монастырь. По углам сторожевые башни. Сверкали синевой и золотом церковные главы. Легко и изящно высились шатры колоколен.

Извозчик обернулся:

— В обитель прикажете?

Баба-Кока кивнула.

«Что такое?» — не поняла Катя. И вдруг поняла. Так вот то чудачество, душеспасительное, о котором когда-то она услышала разговор мамы с Васей. Значит, ее привезли в монастырь? Да, в монастырь. Не со многими девочками такое случается.

Что до Кати, она настолько всем происходящим с нею была озадачена, что не знала, огорчаться или радоваться. Чему уж тут радоваться! Известно, в монастыри испокон веку ссылали неугодных государям людей и даже цариц и царевен. Все знают, сестра Петра Великого Софья так и зачахла за монастырской стеной.

— Что ты молчишь? — удивленно заметила баба-Кока.

Приученная дома о своих переживаниях помалкивать, Катя и тут не ответила.

Белокаменные, с прихотливой резьбой и яркими куполами и крышами церкви; три липовые аллеи с трех сторон ведут к собору в центре обители; подстриженные барбарисы окаймляют лужайки; дорожки посыпаны гравием или желтым песком; разноцветные флоксы и георгины на клумбах; прячутся в зелени сиреневых кустов нарядно покрашенные флигели — монашеские кельи, как после Катя узнает; все ухожено, чисто. И на фоне этих радостных красок черные силуэты монашенок, которые, казалось, не шли туда и сюда, а бесшумно скользили с опущенными головами в черных клобуках.

— К главному келейному корпусу,— распорядилась Ксения Васильевна.

Келейный корпус, двухэтажное белое каменное здание, едва не полверсты тянулся вдоль монастырской стены и вместе с ней под прямым углом поворачивал.

«На букву Г похоже»,— подумала Катя. И не ошиблась: главный корпус в монастыре так и называли Глаголем.

— Вот мы и дома,— сказала Ксения Васильевна.

А домом была келья. Высокий сводчатый потолок, как в часовне. Узкие окна. Зажженная перед иконой лампада.

...После Катя оценит книжные полки, свежий номер журнала «Русская мысль», газеты, а сейчас ее грудь стеснили страх и тоска. Неужели ее, как царевну Софью, заточат здесь навсегда за монастырской стеной?

— С приездом, матушка Ксения Васильевна! — раздался звонкий девичий голос.

Из-за перегородки вышла тоненькая девушка, одетая в черную ряску до пола и черный платок. Монашенка! Да разве бывают такие молоденькие монашки, с лукавым, смеющимся взглядом?

«Хорошенькая...— ревниво подумала Катя.— Да, особенно по сравнению со мной».

К своей внешности Катя относилась, быть может, излишне критически, не раз слыша мамины суждения: «До чего долговяза, сущая цапля» или: «Не вертись перед зеркалом, красивей не станешь».

А у этой монашки такое белое личико, пухлый рот, короткие, темные, будто удивленные бровки.

Она сложила на животе руки, всунув в широкие рукава рясы, и низким поклоном до пояса поклонилась Ксении Васильевне. Кате не так низко, с острым любопытством быстро ее оглядев.

— Что прикажете, матушка Ксения Васильевна?

— Здравствуй, Фрося. Как ты здесь без меня? Свари-ка нам кофею, да топленого молока подай, да калачей с маслом,— приказала Ксения Васильевна.— Ну, Катерина Платоновна, располагайся на житье. Привыкай.

Так, хочешь не хочешь, было суждено Кате Бектышевой расположиться на житье в Успенском Первоклассном Девичьем монастыре, образованном на месте Александровской слободы, где в далекие времена много лет жил и властвовал со своей опричниной царь Иван Грозный.

6

В первый же день Фрося повела Катю поглядеть монастырь. Хотелось ей похвалиться. Правду сказать, было чем. Что Троицкий, спокойно-торжественный древний собор, что Распятская церковь «иже под колоколы», то есть под колокольней, что другие храмы и звонницы — все поражало благолепием, и невольно почудится, что за каждым твоим шагом и мыслью неусыпно следит божье карающее и милующее око.



Однако Фрося беспечно болтала о том о сем и лишь когда издали увидит черную фигуру монахини — умолкнет и, вложив руки в широкие рукава, низким поклоном приветствует встречную.

Показала она Кате церкви и звонницы, святые врата и трапезную, просвирню, где пекут просфоры, и даже квасную, где варят вкусный монастырский квас. Показала три ведущие к собору аллеи. Аллея Свиданий, аллея Мечтаний, аллея Разочарования.

— Мирские эти прозвища,— осуждая, качнула головой.— В наши божьи храмы полгорода ходит. Барышни с кавалерами сговорятся заране да перед всенощной и гуляют аллеями. А то и после всенощной, пока монастырские врата не запрут. А еще покажу я тебе...

И она привела Катю в страшное место. Вернее, страшное место здесь было когда-то, а сейчас раскинулся обыкновенный, засеянный газоном лужок.

— У нас об этом молчат,— говорила Фрося.— Мне Ксения Васильевна из книжки читала, а ты никому не сказывай, ни единой душе. Ты, о чем узнаешь, молчи.

Вот что Катя узнала.

Давно, три с половиной века назад, когда Русью правил царь Иван Грозный, на месте монастыря была царская слобода, обнесенная стенами, земляными валами и рвом, до краев наполненным водою. Дивные царские дворцы и хоромы стояли в слободе, а простому народу сюда доступа не было. Даже и птица не залетит в слободу, где жил царь со своей кромешной опричниной.

Царь был лют. Всюду чудились ему враги и измены. По приказу цареву в слободе устроили пыточный двор — здесь сейчас трава зеленеет, цветочки цветут, а тогда людей жгли на кострах, подымали на дыбе, рвали ноздри, клеймили раскаленным железом. Сажали в подвалах на цепь, годами гноили.

Стынет сердце, представляя эти адовы муки!

— А вот погляди...

Фрося привела Катю к невысокому каменному зданию, по-старинному его называли палатой, на самом же деле это была тюрьма, специально построенная для сводной сестры Петра Первого Марфы. За ослушание сослали ее, тут она и померла «в печалях и болезнях».

— Да что, разве царевна Марфа одна? Здесь не одну запирали!

Стало Кате не по себе. Конечно, и раньше слышала о ссылках и пытках, но когда увидела своими глазами, постояла перед каменной, низкой, с крохотными оконцами «палатой», где зачахла в неволе царевна,— потускнели в глазах монастырские клумбы и лужки и церкви с золотыми куполами.

— Наша обитель святая, святой и пребудет вовек,— тоненьким голоском зачастила Фрося, увидев появившуюся вблизи монахиню, отдавая ей низкий поклон.

Монахиня проплыла мимо, перебирая на ходу четки. Фрося, пока она проплывала, не подняла головы. А когда из виду скрылась, шепотом:

— Злюка. Губы-то поджала, заметила? Ходит, высматривает. Чуть что не так, сейчас на послушание.

— Это что?

— За грех работой наказывают, да потрудней, потяжельше. А то на всю ночь поставят поклоны бить. На каменном полу на коленках.

— Зачем же ты...— Катя запнулась,— почему ты так с ней?

— Прислуживаю? Здесь без этого нельзя. Заклюют.

— Значит, плохо тебе? — хмуро спросила Катя.

Фрося фыркнула, но тотчас прихлопнула ладонью рот, ибо в обители надлежит пребывать смиренно, тешить бесов смехом грешно.

— Я за Ксенией Васильевной как в раю здесь живу! Я о лучшем-то и думать не думаю. Каждый день за Ксению Васильевну молюсь, что из пропасти вытащила.

Конечно, Кате захотелось узнать, из какой пропасти вытащила Фросю Ксения Васильевна.

Неужели никто и не протянул бы руки и пропала бы девочка, если бы в цветущее яблонями и вишенником, богатое село Медяны на берегу живописного озера не приехала пожилая дачица с мужем?

С давних пор в Медяны приезжали дачники из разных городов, однако на этих двоих все поглядывали с необычным интересом. На нее особенно. И обходительна и хороша, волосы убраны надо лбом, как корона, но в годочках порядочных, муженек-то лет на пятнадцать моложе и все что-то пишет, ученый, видать. Пускай себе пишет, да невенчаны живут — вот в чем загвоздка!

Глядело все село на Ксению Васильевну с удивлением, а отчасти и с жалостью.

А Фросе Евстигнеевой вольно жилось в доброй семье. Одно плохо: брата женили, и вошла в дом невестка. Неласковая, на шутку обидчивая. А Фрося любила пошутить. Чего не шутить, когда единственной дочкой у тяти и мамы растет. Мамонька то и глядит, как побаловать: и поспать подольше даст утром, и кусок получше подсунет, а в престольный праздник узорчатый полушалок из укладки вынет на выбор: форси.

Невестка все примечает. Молчит, а копит в уме.

Однажды в праздник Фрося на завалинке щелкала с подружками семечки, когда по деревне с воем пробежал мужик, волоча багор:

— Караул! Евстигнеевы тонут. Спасайте!

Все село, свои и дачники, с плачем и криками побежали к озеру. Фрося вырвалась вперед.

— Тятенька! Матушка! — кричала, кидалась в воду. Ее держали. Фрося билась, вопила: — Тятенька! Мама!..

Они уехали в лодке на остров за сеном. Может, и лишку нагрузили, пожадничали, да не в том одном причина: внезапно — у них нередко такое случалось на озере — поднялся ветер, резкий, крутой, вздыбил волны, погнал завитые белыми гребнями валы; лодку захлестнуло, перевернуло стогом набок, и на глазах онемевшей толпы все ушло под воду. Весь народ видел, как Фросин отец спасал мать, как она раза два взмахнула руками и скрылась из глаз. А потом поплыл, качаясь на волнах, один отцовский картуз.

И когда подоспели соседские лодки с веревками и баграми к месту беды, только волны, завиваясь белыми гривами, гуляли на угрюмом просторе.

Так в полчаса стала Фрося круглой сиротой.

А хозяйкой в доме Евстигнеевых стала невестка.

И припомнились Фросе шутки и смех, и утренние, сбереженные матушкой сны, и цветастые полушалки из матушкиной укладки.

Изменилось все. Жизнь стала сиротской.

Но ведь не всякая сиротская жизнь облита дни и ночи слезами? Ведь бывает, и чужие люди душевно живут?

Нет, слишком уступчив был Фросин брат, слишком подчинен молодой жене, а скорее недалекого ума был мужик: верил всем ее злым наговорам.

— Ты зачем про нас по селу языком подлым чешешь? Ты почто на весь мир срамишь?

— Братчик, родненький, не срамлю я.

— Врешь.

И стегал вожжами, пока с ног не свалит.

— Забьют девчонку,— поговаривать стали на селе.

Но в чужие семейные дела не вступались. Кому охота из-за сиротки врагов наживать? Иная баба из жалости сунет кусок, потихоньку на ходу приласкает. Фрося только голову ниже опустит. И молчит, вовсе стала молчунья.

Как-то раз, когда Фрося одна оставалась в избе, вбежала старая нарядная дачница с затейливой прической. Фрося сидела на лавке, усохшая, с безжизненным взором. Ксения Васильевна схватила ее худенькую девчоночью руку.

— Слух идет, тебя бьют?

— Нет, нет, барыня, ради Христа, и не говорите такого! — испугалась она.

Ксения Васильевна приподняла линялую юбчонку на Фросе, увидела иссеченные синими и багровыми рубцами ноги.

— Изверги! Сейчас же идем.

И потянула Фросю бегом, позади огородов, на дальний конец села, где возле самого озера снимала у старой бобылки, бабки Степаниды, избу под дачу.

Долго ли все длилось потом или нет, Фрося не помнит. Наверное, недолго. Ксения Васильевна и ее невенчанный муж наняли тарантас, и вороной жеребец умчал их с Фросей из Медян.

Фрося боялась, не верила, плечи тряслись от рыданий.

Они не утешали, дали ей выплакаться, а между собой обговаривали, куда ее деть.

На фабрику? Тяжело. Двенадцать часов в сутки стой у станка. Без солнца, без воздуха. Не выдержит. В прислуги? Избитая, вся в синяках, глаза одичалые, кто такую возьмет?

Оставалось одно. У Ксении Васильевны был внесен в Александровский монастырь порядочный вклад и пожизненно откуплена келья. На случай, если останется одинокой под старость, будет где приклонить много испытавшую голову. Так оно и случилось, и скоро...

Сюда привезла Ксения Васильевна Фросю. Поклонилась игуменье матери Тамаре, важной и властной, ценившей светские связи.

Так стала Фрося послушницей Александровского Первоклассного Девичьего монастыря.

Постепенно рубцы на ногах отошли, стала затягиваться душевная рана, любопытством и жизнью заблестели глаза.

7

Начался учебный год. Баба-Кока посетила начальницу Александровской женской гимназии, и Катю Бектышеву приняли в четвертый класс.

Ровно полчаса девятого она вышла из монастырских ворот. Несколько девочек в коричневых платьях и черных передниках собрались здесь и крестились на образ богоматери, врезанный в каменную кладку монастырской стены.

— Матерь божия, дай чтобы ученье шло хорошо,— громко и весело молилась коренастая, крепкая девочка, с широким лбом, широко расставленными светло-зелеными глазами и толстой русой косой.— Новенькая? — увидела Катю.— Девочки, у нас новенькая, хватит молиться.

Видимо, она была командиршей, все сразу ее послушались.

— В монастырь на квартиру поставили? — расспрашивала она Катю.— Мы тут тоже углы у монахинь снимаем. О тебе как условлено? С поломытьем? Воду будешь таскать? Нет? Девочки, слышали, она без полов, без воды, не жизнь, а масленица. Как звать? А меня — Лина Савельева.

— Акулина,— жиденьким голоском поправила белобрысая, остроносая девочка, вынырнув из-за чьей-то спины.

— Выскочка! — обрезала Лина. И Кате: — Поп, верно, Акулиной окрестил, а я желаю быть Линой. У тебя кто отец?

Когда ее спрашивали про отца, Катя терялась и мучилась. Отец есть, но где? Кто? Какой? У них дома даже карточки папиной не осталось или так далеко упрятана мамой, что не найдешь. Среди одноклассниц она была единственной девочкой, которую бросил отец и ни разу не вспомнил, ни разу не захотел на нее поглядеть.

Стыдно? Кто скажет? Ей стыдно. Она вся сжималась, когда среди подружек заходила речь об отцах. Как не хотелось ей врать! Она не любила врать. И врала. И никогда никому не признается в правде.

— Кто отец? Папа полковник. Командует полком в действующей армии.

— Их-ты! Девочки, слышали? Полковник, немцев лупит на фронте.

— Девочки, девочки, у ней отец полковой командир! — послышались со всех сторон возгласы.

— А еще кто у тебя есть? — допрашивала та, что назвалась Линой.

— Брат Вася. Прапорщик. Тоже воюет в действующей армии,— освобожденно вздохнула Катя.

— Их-ты! Девочки, слышали? И отец и брат. Значит, с матерью живешь?

— Как же с матерью, когда в монастыре на квартире? — снова высунулась белобрысая.

— Да ведь верно. А мать где? — допрашивала командирша.

Катя замерла. Больно съежилось сердце. Она была диким зверьком, пойманным в клетку. Чужие девочки. Толпа чужих, насмешливых, любопытных девчонок, которые желают все знать о новенькой: как определили на квартиру, откуда приехала, кто родные, где мать?

— Мать тоже в действующей армии. Сестрой милосердия,— сказала Катя спокойно. Но губы дрогнули. Глаза сузились и глядели холодно, боясь встретиться с другими глазами, и видели осеннее светлое небо. И облако...

Гляжу я на синее небо,
Синий большой океан.
Плывет на нем облако-парус
Одно. Из каких оно стран?

Однажды, когда было грустно, она сочинила эти стихи.

— Девочки, у нее и мать в действующей армии, сестрой милосердия, о-го-го! — уважительно протянула Лина.

Что тут поднялось! Все что-то говорили, ликовали.

Так с ликованием и ввели Катю Бектышеву в гимназию и доставили до четвертого (так называемого параллельного) класса, на втором этаже, около лестницы, где в дверях поджидала воспитанниц классная дама средних лет, в синем платье, сухощавая и подтянутая, как и следует быть.

— Людмила Ивановна! У нас новенькая, Катя Бектышева. У нее вся семья в действующей армии: и отец, и брат, и мама сестрой милосердия. Людмила Ивановна, посадите ее со мной.

— Нет со мной!

— Нет со мной!

Катя в глубоком реверансе опустилась перед классной дамой. В прежней гимназии в губернском городе было принято приседать, а здесь в провинциальном городке о таких церемониях не слышали.

Фурор был необыкновенный! Толпа на площадке перед четвертым параллельным росла. Новенькая с первого дня сделалась известной личностью.

Ее посадили с Линой Савельевой.

«Давай дружить, со мной все дружат, а она — Акулина, солдат в юбке из деревни Серы Утки»,— сунула Кате записку белобрысая Клава Пирожкова.

Первым уроком был закон божий. Легкой походкой вошел молодой законоучитель в темно-вишневой рясе на атласной подкладке, с большим позолоченным крестом на груди. Он был похож на Иисуса Христа, как обычно рисуют его на иконах. Продолговатое лицо, прямой нос, задумчиво-добрые глаза и разделенные пробором темные, до плеч, завивающиеся на концах волосы.

— Отец Агафангел, у нас новенькая, Катя Бектышева!

— Пастырь радуется новой овце, приставшей к стаду,— произнес отец Агафангел.

— Ученый, страх! А ничего, добрый,— шепнула Лина.

«Неужели и он будет расспрашивать?» — подумала Катя.

— Отроковица Бектышева, богослужения посещаешь усердно?

— Да,— не поднимая головы, ответила Катя.

— Гляди очами открыто, ибо в страхе и потуплении не таится ли ложь?

Катя выпрямилась и с отчаянием ждала. Что будет? Он угадал ее ложь?

— Видимость твоя снаружи приятна,— продолжал отец Агафангел.— Однако истинная красота наша внутри нас, и надобно заботливо ее в себе сохранять, как садовник в саду оберегает цветы. Произнеси, Бектышева, молитву, коя твоему сердцу особливо дорога.

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое...— зачастила Катя.

Он прохаживался по классу, слушая ее тарахтенье с легкой улыбкой.

— Разъясни нам, Бектышева, каким русским словом обозначить можем славянское «иже»?

Вот так да! Катя тысячи раз слышала и знала наизусть молитву, но в голову не приходило задуматься, что значит маленькое словцо «иже». В самом деле — что?

— Смятение твое, Бектышева, тебя обличает. Сколь легковесно возносишь ты господу богу словеса молитвы, не разумея их смысла... Отроковицы, понятно ли вам мое наставление?

— Понятно! — хором ответил класс.

— «Иже», слово сие означает,— продолжал отец Агафангел,— означает по-русски «который».

Он начал урок, вернее рассказ:

— И вот настал вечер. Пламенный круг солнца опустился за горизонт, краски потухли, на земле стало темнеть, подул ветер, неся прохладу и свежесть разгоряченной земле. А ученики все ждали Учителя. Но Учитель не шел. «Где ты, Христос, сын божий?» — тревожились ученики. Но он все не шел.

Отец Агафангел неслышными шагами приблизился к Кате и положил руку на ее голову. Широкий рукав рясы опустился ей до плеч. Она вдыхала что-то душистое и теплое, лица ее касался шуршащий шелк подкладки, было темно у него в рукаве и таинственно.

— «Где ты, Учитель?» — слышала Катя.

Наступила безмолвная пауза.

Отец Агафангел оставил Катю и, бесшумно ступая между партами, накрыл рукавом чью-то другую девичью голову и рассказывал дальше:

— И ученики вошли в лодку и поплыли. А ветер усиливался, поднялось большое волнение на море. Лодку качало. Ученики испугались. Но на берегу появился Иисус. «Это я,— сказал он.— Не бойтесь». И не велел им плыть к берегу, а сам пошел к своим ученикам по водам. И сразу ветер уменьшился. И волны смирно, как утомленные овцы в полдень, подкатывая к его ногам, улегались и утихали. И он шел по водам. Ибо может все наш господь. Он все знает и видит. Помните, всякий наш грех ведом ему. Милостив и вселюбив господь, но всякий да убоится обманывать бога.

Зазвенел колокольчик с урока и застал в классе тишину.

Катя была вся захвачена уроком. Образ идущего по волнам молодого, похожего на отца Агафангела бога представлялся ей таким прекрасным, наверное, он простит ее ложь, ведь понимает же он...

— Зачем ему водами-то надо идти, шел бы, как все, по земле,— сказала Лина.

— Ах, да что ты! Ну что такое ты говоришь! — возмутилась Катя.— Пойми, как это хорошо! Как волны у его ног улегались...

Лина пожала плечами и ушла на перемену в коридор, а белобрысая Клава Пирожкова торопливо сказала:

— Видишь, видишь, какая она! Акулина — Акулина и есть. Ей все нипочем. Она тебя в омут затянет.

Дома, вернувшись с уроков, если было чем поделиться, Катя делилась с Козеттой. Мама не интересовалась Катиными гимназическими делами. А Козетта была внимательной слушательницей. Ей можно было шептать час или два обо всех происшествиях, ее красивые стеклянные глазки не мигали, только разве положишь на спину, тогда ресницы захлопывались.

И здесь, придя из гимназии, Катя вспомнила о Козетте, но баба-Кока позвала:

— Иди-ка сюда.— Указала на низенькую скамеечку возле кресла: — Садись.— И сама уселась поудобнее в глубокое кресло у столика, заваленного книгами и журналами, и с интересом спросила:— Выкладывай. Да без пропусков, все.

Катя замечала, баба-Кока приглядывается к ней день ото дня внимательнее, будто читает в ней что-то.

Катя смущалась. Ей привычнее было ютиться в стороне, не на виду. А баба-Кока настойчиво, хотя и осторожно, вникала в Катину жизнь, допытывалась до малейших подробностей.

— Выкладывай. Какой класс? На каком этаже? Какие учителя? О чем говорили с подружками?

Тут Катя на мгновение запнулась и утаила, что подружки интересовались папой и мамой и вообще всей ее жизнью. Зато про отца Агафангела рассказала подробно.

Отец Агафангел самый интересный учитель, остальные учителя довольно обыкновенные, таких Катя встречала и раньше, а отец Агафангел... А красивый!

— Красивый, ничего не скажешь,— усмехнулась баба-Кока.— И с той же неясной усмешкой: — Проповедник вне конкуренции.

— А служит-то как! — подхватила Фрося.— Отец Агафангел священнослужитель в нашей обители. А я кадило ему подаю. То другие послушницы, а мой черед придет, тогда я...

8

— Баба-Кока, можно я задам вам один вопрос?

— Можно. Если не глупый.

— Щекотливый.

— Скажите пожалуйста!

Ксения Васильевна кипятила кофе. Кофейник похож на маленький самоварчик с трубой. Вздувают угли в трубе. Вода закипит, заваривайте кофе — минута, и крепкий, упоительный запах разольется по всему помещению. У бабы-Коки и чашечка для кофе специальная есть, крошечная, из тончайшего фарфора. Пьет маленькими глотками и наслаждается.

— Спрашивай. Только чур или правду отвечу или откажусь отвечать.

— Что такое счастье? Баба-Кока, вы были счастливы?

Ксения Васильевна отставила чашечку, побарабанила по столу. Пальцы у нее длинные, тонкие. Она носила кольца. Много, с разными камнями. Баба-Кока называла их самоцветами. Катя с удивлением узнала — камни живые. Вот изумруд. «Взгляни, его цвет,— показывала Ксения Васильевна продолговатый камень в кольце,— нежно-зеленый, свежий, молодой. Как весенний березовый лист. Есть поверье — не поверье, а правда — если утром, проснувшись, любовно на него поглядеть, весь день для тебя будет светлым и ясным. И еще изумруд исцеляет. Целебен от разных недугов и отгоняет тоску. Полюбуйся, зеленый с золотистым отливом. Изумруд! Жизнерадостный камень». У Ксении Васильевны к каждому камню было свое отношение. Бирюзу она пренебрежительно называла глупенькой. «Голубая, наивная. Наивность всегда глуповата». Она снимала кольцо с бирюзой и бросала в ящик бюро из красного дерева.

— Что такое счастье? Не знаю. У каждого, наверное, свое. Нет для всех одного, общего счастья. Да, конечно... Вот я, например, никогда не работала.

Она обратила на Катю темные и вместе ясные глаза и как бы в недоумении качнула головой.

— У меня не было своего труда. Своего места в жизни. Хотя бы маленького, ну, быть бы учительницей или фельдшерицей... Впрочем, об этом я не тоскую. Но ведь бывают великие актрисы, музыкантши. Бывают ученые женщины. Например, знаменитая, первая в мире русская ученая женщина-математик Софья Ковалевская. Отними у них творчество — и нет счастья. Или другое. Слышала о революционерках? Наверное, настоящее счастье — это то, что у тебя есть большая цель, без которой не можешь жить, всю себя ей отдаешь. Что, Катя, молчишь?

— Слушаю.

— У меня ничего этого не было...— Баба-Кока повертела на пальце кольцо с рубиновым камнем, фиолетово-красным. Улыбнулась как-то непонятно, сожалеюще.— У меня свое было счастье. Находила — теряла. Вновь находила, снова теряла. Кануло все. Ничего не осталось. Воспоминания. Единственный мир, из которого мы не можем быть изгнаны.— Она помолчала.— Иди, Катюша, учи уроки.

Она укутала плечи паутинным оренбургским платком, взяла книгу.

Катя отошла.

Келья бабы-Коки со сводчатым, как в часовне, потолком делилась легкой перегородкой на две половины — спальню Ксении Васильевны, без окна, и общую комнату, где у одного окошка расположилось глубокое кресло перед столиком — это кабинет ба-



бы-Коки. В ее кабинете до потолка книжные полки. Вся стена в книгах. У другого окна — квадратный стол, он и обеденный, он и Катин для приготовления уроков, возле него на диване Катя спала, и в изголовье ночами горела перед иконой лампада.

В порядке разложены на столе учебники, тетради и дневник, где усердно записано заданное на завтрашний день,— прилежная ученица из четвертого параллельного устраивается готовить уроки.

Баба-Кока поднялась, надела ротонду и меховую шапочку — ранняя снежная зима уже прикатила, пышные сугробы встали вдоль соборных аллей и монастырских дорожек.

— Про счастье точно не знаю,— проговорила баба-Кока,— а что несчастье, скажу. Одиночество, особенно в старости,— вот что несчастье.

Она ушла. Катя поглядела в окно. Баба-Кока в длинной ротонде медленно шла снежной дорожкой, статная и прямая, высоко неся голову.

Катя достала тетрадь, разделила пополам. Начинался творческий процесс. Обычно он начинался с того, что тетрадка делилась на две половины, затем одна складывалась вчетверо — и перед вами книжечка. Катя всю ее исписывала сразу набело, узкими строчками, нанизывая букву на букву. Таким образом, тетрадки хватало на две, а то и три повести.

Катя задумалась. Самое трудное — придумать заглавие. Но сейчас, под впечатлением разговора с бабой-Кокой, название явилось само собой: «О д и н о к а я».

Катя писала повесть о бедной девочке, которую никто не любил, хотя она была и добра, и хороша, и умна. Нельзя понять, почему ее не любили. Ей плохо жилось на свете, но она не теряла своей доброты. Никого не судила, всем прощала, удивительно была хорошая девочка! Когда другие девчонки веселой толпой убегали в лес по грибы или ягоды, она одиноко брела сторонкой, вдали ото всех. Но однажды молния ударила в дом и убила всех, живым остался лишь малый ребенок. Одинокая бесстрашно кинулась в пылающий дом. Огонь ее охватил, она задыхалась...

Катя хотела бы описать другой подвиг, не такой избитый, но что-то ничего оригинального не получалось.

Известно, Катины повести всегда кончаются счастливо. Так и здесь. Ребенок спасен... Все обнимают

и благодарят Однокую. Все оценили ее благородство и...

— Катя, ты совсем заучилась,— заметила Ксения Васильевна.

Она вернулась с прогулки и перебирала за столиком какие-то старые письма, кипу писем в длинных глянцевитых конвертах. Письма хранились в шкатулке, баба-Кока держала ее запертой.

— Кончай, Катя, уроки. Ученье — свет, однако во всем нужна мера.

Катя затиснула в сумку учебники, не успев ни в один заглянуть. Голова пылала, сердце полно счастья и слез.

— Что с тобой? — удивилась баба-Кока.

Катя молча обняла ее и поцеловала. Она впервые сама поцеловала бабу-Коку, потому что, хотя писала восторженные повести, показывать свои чувства стеснялась. А тут вдруг поцеловала. Да еще и еще. Что такое с ней происходит?

И чтобы не проговориться, что под подушкой лежит новая повесть, скорее нырнула в постель, укрылась с головой и под одеялом еще долго любила, жалела и восхищалась своей «Одинокой».

Все же Лине на следующий день дала почитать.

— Ой, что делается! Она еще и писательница!— с каким-то почти благоговением воскликнула Лина и на уроке читала, пряча под партой, Катину повесть.— Девочки, наша Катька Бектышева — писательница.

Все перемены девочки читали Катину повесть. Успех был полный, шумный!

И весь этот удивительный день Катю сопровождали удачи. Ни на одном уроке ее не спросили, кроме последнего. Учительница географии вызвала к карте и, вручив указку, предложила рассказать и показать... и, естественно, поставила двойку. Первая — увы, как потом оказалось, не последняя Катина двойка.

Эта маленькая неприятность сегодня для Кати не имела значения. У нее кружилась голова от славы и общей любви.

Надя Гирина, высоконькая капризная девочка, дочь богатейшего в городе купца, которую возили на уроки в пролетке, хотя гиринский особняк отстоял от гимназии в десяти минутах ходьбы, девочка, которая на большой перемене вынимала из сумочки бутерброды с розовой ветчиной и, чуть надкусив, брезгливо бросала в корзину для мусора, эта «княжна», усвоившая, видимо, по наследству от отца торговую жилку, поманила Катю:

— Мне очень понравилось твое произведение, ты можешь его мне уступить?

— Как уступить?

— Очень просто, в обмен. Принесу тебе завтра ленту. Красную, синюю, какую захочешь. Десять аршин разных лент. Согласна?

— Нет.

— Двадцать аршин! — уговаривала Надя Гирина.

— Ты ведь можешь еще написать,— вмешалась, вытягивая руки и прося, Клава Пирожкова, так распалила ее воображение эта сделка.

Конечно, Катя могла написать еще повесть. И не одну и не две. Она могла писать постоянно, каждый день. Но почему-то не хочется отдавать «Одинокую» в обмен на ленты. Хотя соблазнительны ленты. Подумайте, двадцать аршин!

Но все-таки нет!

Надя Гирина вспыхнула и отошла. Клава Пирожкова в изумлении выкатила светлые бусинки.

— Дура! Ты могла бы и тридцать аршин запросить, ой, дура! Ведь Наденька Гирина единственная, у них лучший галантерейный магазин в городе, а она единственная у отца с матерью, ей все, что захочет, дозволено. Она меня в гости принимала, изо всего класса — меня! Ой, видала бы! Залы, гостиные, горничные в белых наколках, и все: барышня, что изволите, барышня? Подарила бы повесть, и тебя позвала бы. Теперь не позовет, не добьешься.

— Подумаешь! И не надо! — дерзко ответила Катя.

И подарила свою «Одинокую» Лине Савельевой.

9

Катя любила в бабушкиной келье стену, сплошь уставленную книжными полками. Тесные ряды пестрых корешков манили. Толстые, тоненькие. Корешки читаных и нечитаных книг, каждая — целый мир.

— Последняя радость, оставшаяся мне,— говорила баба-Кока.

Кате нравилось рыться в книгах. Вытащить, полистать, запомнить название. Какую-то отложит читать. Другую вытащит. И другую.

Бабушкины книжные полки больше пробуждали в ней охоту узнавать, чем уроки в гимназии. Там все было полезно, необходимо, но почти все довольно-таки скучно.

Баба-Кока позволяла Кате рыться в книгах сколько душе пожелается, но говорила — не наставительно, она не привыкла наставлять,— просто делилась:

— В твои годы я хватала подряд, что попадется. Иной раз на такой романчик наткнешься, после никак мусор из головы не выветришь. Надо находить и ценить талантливую, умную книгу. Не все книги равны. Вот, например... Ты вот все повести пишешь,— сказала баба-Кока, и Катя, стоявшая к ней спиной на стремянке, доставая с верхней полки том истории Ключевского, в ожидании замерла.

Она привыкла к славе. На нее из других классов приходили глядеть, вот до чего дело дошло! Она раздавала свои повести девочкам, в первую очередь тем, кто громче восхищался ее творчеством. У Лины Савельевой целая библиотека скопилась Катиных повестей.

— Ты тут оставила одну, а я познакомилась,— сказала баба-Кока и громко, с выражением стала читать:

— «В черном небе сверкали зловещие молнии и грохотал гром, похожий на рыкание льва. Девочка в бархатном платье с кружевным воротничком стояла у окна. У нее были голубые, как фиалки, глаза. Локоны опускались на плечи...» Фу ты! — шумно вздохнула Ксения Васильевна, кладя Катино произведение на стол, отодвигая дальше от себя уничтожающим жестом.— Чего не нагородила! И локоны и фиалки! Откуда только взялось? Вздор сочиняешь, мать моя. Героини твои разнаряженные, красавицы, а ни жизни, ни живого словца. Выдумки все. Бросила бы ты свои выдумки.

Стоя к бабке спиной, Катя леденела от ужаса и чувствовала: щеки пылают, уши пылают, вся она горит на костре.

— Знаю, неприятно. Одних приятностей от жизни не жди. Да слезь ты с вышки своей, подойди,— велела баба-Кока.

Катя слезла со стремянки. Баба-Кока указала на низенькую скамеечку для ног возле кресла.

— Сядь.

Катя села.

— Если уж терпения нет, охота писать,— сказала бабушка,— пригляделась бы к жизни, рисовала бы

жизнь. Писательница! — безжалостно усмехнулась она.— А что вокруг разглядела? О чем поразмыслила? За Фросей ничего не заметила?

— А что?

— Какая-то стала погашенная.

Верно, Фрося последнее время не та. Фрося именно стала погашенной. Как точно подметила баба-Кока! И ходить стала к ним реже. Прибежит, натаскает из колодца воды, истопит печку, вымоет пол, принесет из монастырской трапезной обед. Без слов, без улыбки, с потупленным взором, будто прячась и страшась разговоров, и ускользнет. В церковь или в келью для послушниц, где жила.

Куда делась ее лукавая веселость и ласковость? Куда делась прежняя Фрося?

— Если уж очень великая охота писать...— продолжала раздумывать вслух баба-Кока.— Может, где-то и тлеет талантик, глушить тоже грешно... Но мастерству учиться надо, всю душу ему до конца отдавать, всю жизнь. Это, как подвиг, когда настоящее...

В тот для Кати нерадостный вечер Ксения Васильевна рассказала историю. О таланте и подвиге.

При Иване Грозном это было. Монастыря девичьего тогда в помине не было, жизнь в Александровской слободе шла и разгульная и государственными делами исполненная. Иноземные послы наезжали в цареву слободу на поклон и для переговоров с великим государем Руси. Принимали послов в дворцовых палатах. Царь сидел на позолоченном троне. Бояре, цветно и пышно одетые, в безмолвной спесивости восседали на скамьях вдоль стен. Множество стрельцов с оружием и телохранителей в красных кафтанах выстроились от входа в кремль до дворца. А в версте от царского города стоял караул. Хватали каждого, кто по неведению забредет близко к государеву жилью. Пытали, вырывая под пытками, за каким делом идет, да куда, да к кому, не изменник ли?

Иноземные послы царя Ивана глупым не звали. Никто не скажет, что неумен. Речи царевы остры и находчивы. Мыслью быстр, сердцем вспыльчив и гневен. Грозным звали его. Шепотом, при закрытых дверях. А летописцы тайно записывали в летописях. По деревням и городам шло да шло и до наших лет дошло — Грозный.

Но ученый. Изрядно ученый. Богатейшее у грозного царя было в Александровской слободе книгохранилище, где сберегались древние книги, редкие письмена, драгоценные рукописи.

Может быть, об этом-то, об учености Грозного, его почитании книг и услышал один боярский холоп, смышленый, до отчаянности смелый Никитка. Он был молод, и в голове его толпились дерзкие мысли: не спал, дни и ночи лелеял небывалую, даже страшную выдумку. И втайне мыслил: придется по сердцу государю, ведь во славу Руси я свою затею готовлю, мудрый у нас государь, к наукам приверженный.

Словом, Никитка надеялся на поддержку и одобрение царя. Впрочем, когда целиком предался своему делу, и о царе позабыл и о славе не думал, а трудился, трудился, трудился с мучением и радостью, как бывает это у великих талантов.

Делал Никитка летательный аппарат. Хотел лететь. Слыхано ли, чтобы человек полетел? Богом создано: рыба плавает, птица летает, человек идет по земле. Нельзя нарушать божий закон. Покарает за дерзость господь. Но ведь изобрели люди корабль и плавают по рекам и морям, и бог не карает...

А если изобрести крылья и полететь, как птица, реять в небе и сверху, оттуда с неба, окинуть взглядом землю? Какая она, родимая, если с неба глядеть?

Долго трудился Никитка над летательным аппаратом. Обдумывал, высчитывал, строил, ломал, плакал... Снова строил.

Весть о мечтаниях и изобретении Никитки долетела до Грозного. И среди иноземцев пошли любопытство и толки. И бояре узнали.

— Дьявольское наваждение, бесы в парня вселились, порченый, на дыбу его,— говорили одни.

Другие ждали, что скажет царь. Царь молчал.

Вот летающая птица готова, Никитку привели к царю. Царь тощий, сутулый, нос отвислый, редкая бородка торчит, как пучок конопли, и белесые, будто и не человечьи, очи не верят, пытают.

Никитка упал в ноги царю. Царь концом жезла его тронул:

— Не осрамишь наше государево достоинство перед чужеземными гостями да посланниками и перед недругами нашими?

— Верь, великий государь!

— Ино завтра лети.

Настало завтра. По всей слободе из дома в дом передавалось в смущении и страхе: со звонницы крылатый человек полетит. Звонница эта, с которой, по преданию, при Грозном русский Икар совершил первый полет, и сейчас стоит, а под ней церковь по названию Распятская. Художники и архитекторы приезжают, любуются.

Никитка поднимался по каменной узкой лестнице. Шагал — и слабел и слабел. Страшно первому начинать новое дело. Не знаешь, что тебя ждет. Уверен, а не знаешь... Смел, а боишься.

Он забрался на звонницу и увидел синие цепи далеких лесов, розоватый снег на утреннем солнце, увидел такую чистоту и красоту, такой прекрасный сверкающий мир, что смелость вернулась к нему и сердце заколотилось в восторге.

Внесли аппарат, похожий на птицу с широкими крыльями. Никитка поглядел вниз. Толпы народа стояли в глубокой тишине. Царь, опираясь на жезл, сидел в отдалении на красном кресле, в шубе и куньей шапке, окруженный опричниками и стрельцами.

Никитка влез в летательный аппарат, оттолкнулся. Толпа ахнула. Он полетел. Плавно, как птица, реял его аппарат с распростертыми крыльями и тихо, будто в раздумье, стал опускаться. И невредимо опустился в сугроб.

К Никитке подбежали люди, принялись развязывать веревки, которыми он был к аппарату привязан, помогали вылезти. Вокруг стояли гул и смятение.

Но вот толпа стала постепенно стихать и редеть. Никитка заметил: помогавшие ему люди отошли от него. Скоро и вовсе рядом никого не осталось.

Издали Никитка разглядел уходящего царя. Царь ступал тяжело, спина согнута, голова втянута в плечи.

Холоп Никитка остался возле аппарата один. Растерянный, в недоумении, один.

Поднял взор к небу и словно очнулся. И вновь восхитился синевой и сиянием неба. Гордостью блеснули глаза: «Я летал!»

За ним пришли. Куда его поведут? К царю?

Его привели не к царю. Втолкнули на пыточный двор. Связали за спиной руки. И пыточный дьяк в кафтане, забрызганном кровью, прочитал Никитке царский указ:

«Человек — не птица, крыльев не имать. Аше кто приставит себе аки крылья деревянна, противуесте-

ства творит, за сие содружество с нечистой силой отрубить выдумщику голову. Тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение, а выдумку после священные литургии огнем сжечь».

10

В воскресные дни Успенская церковь монастыря бывала полна. Сходились купчихи, чиновники, служилый люд разного звания, учителя и учащиеся. Особенно гимназистки в белых праздничных передниках с белыми лентами в косах любили молиться в Успенской церкви. Не в Покровской или Троицком соборе, а именно в Успенской, где служил отец Агафангел. Расшитая жемчугом и золотом риза, епитрахиль в крупных дорогих каменьях — вся его церковная одежда блестела и переливалась многоцветными красками.

Гимназистки плавно склонялись, когда он обращался с кадилом в их сторону. А Катя восхищенно наблюдала за Фросей. В черной ряске, с матово-белым лицом, она подносила отцу Агафангелу кадило. И удалялась, тоненькая, будто без веса, будто скользила по воздуху.

Каждое воскресное утро Катя наблюдала это пышное представление: выходы на амвон священника и дьякона, открывание и закрывание царских врат, хоры монахинь в мантиях и клобуках с вуалями, бархатный голос отца Агафангела, скольжение Фроси при подавании кадила.

Лина, больше занятая рассматриванием публики, толкнет в бок:

— Ух ты, нашей Надьки Гириной мамаша как вырядилась! А наш отец Агафангел гляделками на нее своими стреляет. Кадилом машет, а сам пялится, вот это да! А вон, к клиросу, ближе, гимназистик, лопоухий чуток, знала бы, что он мне нынче сказал!

Прыснет в кулак и, чтоб отвести глаза классной даме, быстро закрестится, и, конечно, Людмила Ивановна, сопровождавшая воспитанниц на воскресные службы, не разобравшись, кто прыснул, почему-то на Катю направит строгие стекла пенсне. Катя склонит голову.

Но молитвы не идут на ум. Уже надоело наблюдать за открыванием и закрыванием царских врат и кадилом отца Агафангела. Душно от ладана.

Вдруг представится Кате, как славно сейчас в зимнем лесу. Снегу по пояс. Веселой стежкой вьется заячий след. Пушистая белка пролетит поверху леса, стряхивая иней с макушек дерев. Откуда-то выпорхнут и усядутся на ветвях снегири. Катя любила красногрудых веселых пичуг. Они и в монастырь прилетают и рассаживаются грациозными группками в сиреневых кустах под окошками келейного корпуса; Катя с Фросей любовались их прилетом и хлопотливой, радостной жизнью...

— Быть бы птичкой, петь бы да петь,— скажет Фрося. Вспыхнет. И что-то загадочно-тайное промелькнет в ее светлой улыбке...

Катя поискала глазами Фросю у алтаря, но последнее время она не прислуживала отцу Агафангелу. Другие послушницы прислуживали, а Фроси нет в церкви. Отчего ее нет?

В остальном это воскресное утро было таким, как всегда. Впереди большой свободный день! Чем бы поинтереснее заняться? Побежать с Линой на каток? Или нет, дома ждет начатая книга, «Поединок» Куприна. Живо домой!

А дома ждало другое. Ждало нежданное.

За их обеденным столом, заставленным разными кушаньями вроде маринованных грибков, селедки с горячим картофелем, белых монастырских калачей и прочего, возле бабы-Коки сидел...

Кто мог представить! Кто мог поверить! На мгновение Катя застыла у порога, слезы хлынули, и она подбежала и повисла у Васи на шее.

Целовала, всхлипывала, смеялась. Трогала на плечах погоны, желтые пуговицы военной гимнастерки и даже кобуру револьвера. А он глядел на нее с той любимой, единственной Васиной улыбкой, которую она так знала, так знала!

Он был по-прежнему хорош. Война не изменила его. Смуглый румянец на щеках, чистый лоб, высокая шея, прямая осанка и Васин голос, родной.

Кажется, стал немного постарше. В военной форме. Катя не видела его в военной форме. Как хорош! Где Фрося? Поглядела бы на Катиного брата, прапорщика Василия Платоновича Бектышева! Где Линка Савельева? Влюбилась бы с первого взгляда.

— Ты надолго, Вася? Хоть недельку погостишь? Сколько мне надо тебе рассказать обо всем! Баба-Кока, не отпускайте его. Хоть недельку погости у нас, Вася!

— Какое недельку! Катюша, один день остался мне отпуску.

— Один день? Почему?

— Ведь я на военной службе, Катя.

— Ну и что? Неужели тебе так мало дали отпуску? Один день остался. Остался? Ты где-нибудь был? Где ты был?

— А неважны, господа военные, ваши дела,— сказала баба-Кока, не слыша или не понимая Катиной мольбы или намеренно переводя разговор на другие рельсы.— Совсем плохи дела. Подай, Катя, газету.

Газету «Русское слово» баба-Кока читала ежедневно, иногда и Катю с Фросей посвящая в некоторые политические новости, но в вопросах политики ее собеседницы были не очень сильны, вернее совсем непонятливы.

Баба-Кока читала без очков.

— «Наши части, перейдя в наступление, сбили противника, но затем под натиском немцев отошли в исходное положение». Ну? Что скажешь?

Вася пожал плечами:

— Война.

— Слушайте дальше, господин прапорщик: «На восточном берегу реки... наши части, ведя упорный бой, продвинулись на полторы версты, но затем контратакой противника были вынуждены отойти на исходное положение». Ну? Что скажешь? Третий год воюем. Что наше победоносное православное войско?

Вася нагнулся к бабе-Коке и негромко, но внятно:

— Нашему победоносному православному войску до чертиков надоела война.

— Что ты! Что ты?! — испуганно замахала на него баба-Кока.— Мы должны добиться победы. Срам будет нам перед народом, если мы...

— Кто мы? Вы, баба-Кока? — спросил Вася, и Катя увидела насмешливый огонек у него в глазах.

— Что-то не пойму я тебя, Василий,— проговорила Ксения Васильевна, медленно разглаживая скатерть по сгибу стола.

— Народу дела нет до нас с вами. И солдатам от победного конца прибыли нет. Солдаты о доме соскучились, им землица мерещится.

— Не пойму. Да ведь это изменой зовется, Василий,— упавшим голосом произнесла баба-Кока.

— Это зовется честным взглядом на жизнь. Армия распадается, генералы бездарны, в ставке разлад, у солдат неверие...

— Василий, опасное ты говоришь.
— На позициях за такие речи расстрел. Но ведь я в вашем доме, баба-Кока.
— Вася, откуда у тебя трудные мысли такие?
— Оттуда. С войны.
Они говорили о войне, только о войне. О каких-то генералах, из-за чьей глупости полегли полки наших солдат. На фронтах усталость, отчаяние. В царя не верят. Фабрикантов и помещиков ненавидят.
— Значит, и нас? — спросила Ксения Васильевна.
— За что нас любить?
— Разве мы делали кому-нибудь худо?
— А хорошее делали?
— Хорошее — да.
— Может быть, изредка, но... но вот у нас с Катей триста десятин земли остается в наследство, а я косы в руки не брал, а Катя снопа сжать не умеет. А у Саньки — твоей, Катя, подружки,— у Санькиного отца наберется ли в Заборье три десятины?
— Погоди, погоди, значит, ты хочешь, чтобы порозну, что ли? — удивленно вскинула брови баба-Кока.
— Я о солдатских и мужицких мечтах говорю.
— Вон у вас что-о там,— все более днвясь, протянула Ксения Васильевна.
— Вы в монастырских стенах заперлись, баба-Кока. Ничего не видите, не знаете, кроме что скажет «Русское слово». Газета умеренных взглядов и то каждый день колонка или две пустые. Это что значит? Значит, цензура вымарывает. Чего народу знать не положено, вымарать, вон! И чтоб интеллигентным дамам нервы не портить. Впрочем, кому по нынешним временам интеллигентные дамы нужны?
— А теперь в грубость пошел.
— Не сердитесь, баба-Кока.
Он поцеловал ей руку, а она его долгим поцелуем в лоб.
Так они сидели за неубранным столом и говорили до сумерек, когда снег поголубел за окном.
Позабыли обедать. На столе почти нетронутые оставались закуски, по военному времени довольно обильные.
Вася ел неохотно, выпил несколько рюмок настойки и все вспоминал о фронте.
— А во дворце что творится! Пьяный мужик Распутин вертит всей царской фамилией, в сущности, правит страной. Стыд, позор.
Прикрыл ладонью глаза. Отдернул руку.
— Да, время настало, надо решать. Нельзя плыть по течению. Надо решать свой путь.
Неожиданно бабе-Коке пришла мысль прогуляться. Надела ротонду и меховую шапочку и оставила Катю с Васей одних.
— Поговорите тут, а я погуляю.
Странно. Утром не пошла к обедне, сказалась нездоровой, а тут вдруг гулять. Скорее всего она знала, что утром придет Вася, поджидала его, хотела встретить без Кати, одна. Конечно, конечно! Но почему? Непонятно. Они что-то скрывают от Кати.
— Вася, ты сказал, надо решать путь. Какой путь, Вася? Как решать?
Он ласково потеребил ее волнистые волосы.
Несколько времени они сидели молча, а за окном снег все голубел, ближе подплывали сумерки, в комнате стало темно, но лампу зажигать не хотелось.
— Милая моя сестренка, дорогое, любимое мое существо, нам повезло, что мы встретили бабу-Коку.
— Вася, а мама... что с мамой?
Он крепко обнял ее и отпустил.
— Ты спрашиваешь, какой путь?
Да и об этом. Но ведь еще она спросила о маме?
— Вечерним поездом мне уезжать,— говорил Вася.— Снова позиции, окопы, грязь, вши... А путь? Знаешь, сейчас появились новые люди, большевиками их называют. Не слышала? Нет, конечно, не слышала. Большевик. Тайное слово, мятежное. Говорят, означает оно — борец за справедливость и счастье народа. Поняла?
— Поняла. Ты большевик?
Вася закурил папиросу, встал, прошелся по келье. Стемнело совсем. Катя смутно видела его лицо и, обхватив коленки и дрожа от волнения и какой-то новой, восхищенной любви к брату, ждала.
— Сложно все. Не сразу разберешься. Большевики борются против царя, царского строя, фабрикантов и помещиков А ведь я помещичий сын.
— Ну, и что, Вася? Ну, и что?
— Солдаты не обязаны верить мне на слово.
— А ты за большевиков?
— Не знаю. Что знаю о них, их программе, мне убедительно, но я не все знаю... Но я ненавижу распутство Распутина и весь наш николаевский строй... А! Что говорить! Если встречу большевика, настоящего, не побегу, пригляжусь внимательнее. Катюша, говорят, за ними сила. И правда.
— Они тебя примут, Вася. Увидишь, примут.
— Одного я хочу, об одном мечтаю — чтобы скорее окончилась война, бессмысленная, гнусная бойня! Хочу снова ходить на лекции в институт, учиться, читать, слушать музыку, по-человечески жить, наконец!
Вернулась баба-Кока. Наступил час отъезда. Странный день кончился. Фрося не приходила. Со стола не убиралась посуда. Все были печальны и взволнованны и так откровенно и долго говорили о жизни, а о чем-то важном осталось не сказано. О маме. Катя поняла: Вася и баба-Кока намеренно о маме молчат. Плохо.
Настал час ему уходить.
Катя и баба-Кока проводили Васю до монастырских ворот. Ворота уже заперты на ночь.
— Матушка, Ксения Васильевна,— с поклоном сказала вратарша,— ежели угодно до станции внучка проводить, извозчика кликнуть можно, езжайте, а вернетесь, пущу.
— Дальние проводы — лишние слезы,—отказалась Ксения Васильевна.— До свидания, Вася. Как бы там что бы ни было, защищайте Россию.
— Спасибо вам, баба-Кока, за Катю.
Катя молчала. Никогда никого не любила она с таким восторгом, такой пронзительной нежностью, как своего милого брата! Больно в груди, так она любила его! Мцыри. Вот он кто, Мцыри, свободный, вольный.
«Скорее бы кончилась война, будем вместе, никогда не расстанемся, пусть он женится на докторской дочке, все равно мы всегда будем вместе, милый Вася!»
Он ушел. А баба-Кока почему-то позвала Катю в церковь Успения. Ту самую церковь, где утром отец Агафангел отправлял благолепную воскресную службу. Вход в эту церковь не закрывался круглые сутки. С вечернего часа и всю ночь там читали псалтырь.
Почему баба-Кока, вовсе не богомольная, проводив Васю в действующую армию, привела Катю в Успенскую церковь слушать псалтырь?
Холодный мрак в церкви. Посреди высокая узкая тумбочка, как сказали бы дети, незнакомые с церковными обрядами и утварью, но Катя-то знала, что это не тумбочка, это аналой, и на нем тяжелая, в бархатном переплете с золочеными застежками книга — псалтырь.
Темно, мрачно в церкви. Гулко отдается эхо шагов. Входят баба-Кока и Катя.

Перед аналоем монашенка в черном. Колышется слабый огонек длинной свечи, пахнет растопленным воском. Холодно.

Монашенка протяжно читает псалтырь. Сменщица ее, также вся в черном, неслышно прикорнула у стены на скамейке.

Монашенка читает псалтырь:

— «Душа наша уповает на господа: он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя его мы уповаем...»

Катя поглядела на бабушку. Она стояла, не склонив головы, не молясь, в глубокой задумчивости. Как печально лицо!

II

Вася сказал: они с бабой-Кокой не видят жизни, отгороженные монастырской стеной. Должно быть, да. Вот, например, только теперь рядом с афишей, где конный казак в папахе набекрень прокалывает пикой немца, Катя заметила на заборе другую афишу.

Воззвание Московского митрополита Макария:

«Бога бойтесь, царя чтите, а с мятежниками не сообщайтесь, каковых ныне много развелось на русской земле. Они снуют среди народа, чтобы обольщать его разными несбыточными обещаниями. Не слушайтесь их!»

Катя долго вчитывается в митрополичье воззвание. Нехотя шагает в гимназию. Очередь у булочной, длинный хвост женщин, укутанных в шали. Хлеб выдается по карточкам. Но иной раз простоят много часов, иззябнут, измучаются — и зря. Не хватило на всех. Полхвоста разойдутся ни с чем.

Раньше Катя не замечала всего этого: очередей, истомленных женщин, укутанных в шали. Им с бабушкой хлеб выдавали из монастырской пекарни. Фрося сбегает, принесет, сколько надо.

Мясная лавка. Отчего нет очереди? А, вон что. Объявление на двери:

«Сегодня, во вторник, а также в среду, четверг и пятницу мясных продуктов в продаже не будет по случаю правительственного закона о мясопустных днях».

Монастырскую трапезную мясопустные дни не заботят. Там кушают рыбу. Мороженой, вяленой, копченой, соленой рыбы в монастырских кладовых и погребах припасено на год, а, может, и два.

У монастыря огороды с выкопанным для поливки прудом. В погребах выстроены в ряд десятки бочек с квашеной капустой, солеными огурцами, мочеными яблоками, маринованными маслятами и рыжиками; на жердях висят пахучие связки сушеных белых грибов.

Монашенки любят вкусно покушать, и наливочки в потаенных шкафах по кельям хранятся, а для официальных угощений, когда прибудет к игуменье архиерей или иной чин из духовного начальства, тут уж достают из подвалов жбаны с крепкими старыми винами — от одной рюмки такое пойдет кружение голов, что... Впрочем, Катя знает все это понаслышке, своими же глазами на монастырском дворе она видит черные фигуры, бесшумно движущиеся, с постными лицами, опущенными взорами — что в них закрыто, не угадать.

Между тем дни идут своим чередом.

Позади и крещенские морозы и сретенские, февраль в разгаре. Метели свищут в полях, скрипят растревоженные ветрами монастырские березы и липы, вдоль стен навалило сугробов аршина в три высотой, дорожками идешь, как по траншеям.

За гимназической партой Катя забывала о тяготах жизни, тем более, что ей-то не приходилось стоять в очередях и голода испытывать не случалось. Разумеется, первой ученицей Катя не стала, но училась довольно прилежно, не отвлекаясь, как раньше, на сочинение повестей.

Критика бабы-Коки отбила охоту писать. Может быть, слишком скоро Катя сдалась? Значит, не хватает таланта. Талант требует подвига. Видно, Катя не способна на подвиги.

Она задумалась об этом на уроке рисования, закончив срисовывать с натуры глиняную копию древнегреческой вазы, которая в тетрадке ее получилась такой кособокой, что едва ли и на тройку потянет. Ах, отметки по рисованию мало беспокоили Катю. Художницей ей тоже не быть.

Хотя иногда вообразится что-то щемяще-красивое — тропа в ржаном поле, синие васильки, курчавые облака в небе. Или ночь и звезды над темным садом, когда Вася, вернувшись со свидания с докторской дочкой, влезет в раскрытое окно и тихо играет на пианино.

А скособоченную вазу перерисовывать неохота. Скучно.

От скуки все и случилось.

Впереди сидела Клава Пирожкова и не скучала. Напротив, рисовала с необыкновенным усердием, что учителю-новичку, только со студенческой скамьи, разумеется, нравилось. Она вовсю старалась показать, как увлечена рисованием. Покачивала головой, наклоняла то вправо, то влево, ее беленькая косичка тоже качалась вправо и влево, и вдруг Катя ни с того ни с сего, не отдавая отчета, что делает, взяла беленькую косичку и опустила кончик в чернильницу. Клава мотнула косичкой, чернильные брызги разлетелись в стороны, жирно шмякнулись на тетрадь соседки. Та заревела. Учитель приблизился к Катиной парте с испуганным и несчастным лицом. Бедняга, у него не было педагогического опыта, пуще всего он боялся уронить авторитет и оттого не осмелился вступить в объяснения с нарушительницей спокойствия в классе, а только тихо вытянул палец:

— К стене!

Зато после Людмила Ивановна обстоятельно занялась ее воспитанием.

— Ведь ты из хорошей семьи, твою бабушку знают в городе, она образованная и обеспеченная дама, желает, чтобы ты была подготовлена войти в порядочное общество.— Поблескивая пенсне в золотом ободке, классная дама со вкусом рассуждала о порядочном обществе.— Ведь у тебя папа — полковник.

Вспомнила и Катин реверанс — Катя купила ее реверансом. Людмила Ивановна знала и о Катиных повестях и вопреки бабушке одобряла Катин талант. В общем, она распекала провинившуюся Бектышеву не так уж сурово. Только под конец обратилась к Клавиной косичке и записала Катин проступок в дневник.

Необходимые воспитательные меры были приняты по отношению к Кате, она возвращалась домой, осознав свою вину, поэтому не было смысла рассказывать бабе-Коке о происшедшем.

Тем более баба-Кока сегодня уезжала в Москву по делам на три дня: «Денежный вопрос надо выяснить».

Катя оставалась одна. Не совсем одна, Ксения Васильевна позвала домовничать Лину.

Безнадзорная, вольная жизнь! Делай, что хочешь. Гимназия остается, правда, за ними. Но после гимна-



зии живи, как знаешь, делай, что хочешь. Пожелаешь — обедай, а не пожелаешь — пей чай с вареньем. Беги на каток или до вечера валяйся с книгой на диване. Три беспечных, самостоятельных дня!

Они улеглись спать с Линой вместе на бабушкиной широкой кровати, под ее пуховым одеялом, теплым, как печь. Темно, только в переднем углу кельи тихо светит лампада, узенький синевато-желтый огонек виден поверх невысокой перегородки бабушкиной спальни.

— Давай разговаривать.

— Давай.

— О чем?

— О любви.

Лина любила говорить о любви. Она постоянно в кого-то была влюблена, всякий раз на всю жизнь.

— Ну, познакомились, ходим по аллее Свиданий. Ну вот, первый день ничего. Второй — ничего. А на третий зовет: идемте на Серую, я там знаю одно прекрасное место под ивами. Я, конечно,— нет. А он молит, слышала бы — дрожь по телу, так молит. Я все — нет. Гордо. Знаешь, как гордость завлекательно действует! Скажи только нет, ни за что не отступит. Томила-томила, под конец согласилась. Идем к Серой. А там ивы. Густые. Сели под ивами, все равно как под волшебным шатром, а речка журчит, и он берет мою руку, вот эту левую, робко... Катька, неужели ты никогда не влюблялась?

Кате интересно, непонятно, ново и трепетно. В темноте виден блеск Лининых глаз. В темноте глаза у нее блестят, как у кошки или, если подыскать сравнение поэтичней, как светляки в ночном лесу.

— Не влюблялась? Никогда? Чудеса! Ты просто дура. И не целовалась? Ни с одним мальчишкой? Ни разу?

— Ни разу,— признавалась Катя шепотом, потому что эти сладкие и чем-то немного стыдные — может быть, своей тайной — слова о поцелуях и любви, не той любви, какой она любила Васю, а совсем другой, неизвестной, манящей, пугающей, слова эти радовали и мучительно смущали ее.

— Лина! Где ты встречаешь их?.. В монастыре мальчиков нет. В гимназии тоже нет.

— Ой, уморила! Ой, от смеха умру! — изумляясь неведению подружки, визжала Лина, подпрыгивая на бабушкиной мягкой перине, тузя кулаками подушку, не зная, что еще выкинуть от избытка жизни и юности.

— Да хоть на обеднях и всенощных ты разве мальчишек не видишь? Неужели ни единого в церкви на службах не высмотрела? Рыба ты, Катька, вот ты кто. Только дуры да рыбы не влюбляются, знай.

— Не хочу тебя слушать.

Катя поворачивалась к Лине спиной. Но слушать хотелось, и через минуту они мирились, и Лина посвящала Катю в свои пылкие чувства: ревности, разочарования и вновь очарования. Только имя поклонника оставалось в тайне.

— Катя, Катя, неужели тебе недоступна любовь? А ведь ты хоть и рыба, а глаза выразительные! И волосы волнистые, мне бы такие. А косы нет, чудно! Ни одной девчонки у нас в классе нет стриженой, одна ты, всё у тебя не как у других, какая-то ты ни на кого не похожая. И отчего это тебя ни один мальчишка не выберет?

Сон смаривал их на полуслове. Они засыпали. Им снились счастливые сны.

И вот за эти три дня отъезда Ксении Васильевны, когда у Кати все шло так легко и беспечно, случилось несчастье.

До устали наговорившись и намечтавшись вчера, подружки проснулись в воскресенье поздно, встали не сразу, а, вставши, поделили хозяйственные дела: Кате жарить на керосинке яичницу, Лине идти за водой на колодец.

Она вернулась тотчас, с громом швырнула пустое ведро.

— Катя! Фросю увозят.

— Кто? Куда? Почему?

Черная толпа послушниц и монахинь безмолвно стояла у крыльца Келейного корпуса. Седая от мороза лошадка, запряженная в розвальни, старательно хрупала в холщовой торбе овес. Юркие воробьи отважно ухватывали мимо лошадиной морды из торбы овсинки. Стайка снегирей перепархивала в кустах. Все мирно, обычно.

Но тишина? Неясная, гнетущая тишина черной толпы. Руки, всунутые в рукава зимних шуб-ряс, смиренно сложены на животе, глаза прикрыты, ни шороха, ни слова, ни скрипа снежка под ногой. Все ждут, и что-то нечистое в смиренности лиц, рук, опущенных глаз.

И вот появилась на крыльце Келейного корпуса Фрося.

Смутное движение прошло по толпе. На секунду. И еще немее молчание.

Катя привыкла видеть Фросю в ряске, стройную, легкую, что-то возвышенное в ней было. А сейчас? В короткой не по росту, замызганной дубленой шубейке, холщовой юбке до пят, голова обмотана серой шалькой. И согнутые плечи и дрожащие губы.

Фрося! Что с тобой, Фрося?

— Простите, сестрицы и матушки! — срывающимся голосом выговорила она, кланяясь глубоко во все стороны.

Никто не ответил. Не отозвалась ни одна сестрица и матушка.

Довольно молодой еще мужик, в шапке, надвинутой низко на лоб, с перекошенным в какой-то презрительной ухмылке лицом, вынес Фросин сундучок и узел с постелью. Бросил в сани.

— Садись.

Она стояла, жалко уронив руки. Невыносимые тоска и отчаяние трепетали в каждой черточке ее бледного лица, мертвенно-бледного, кажется, уже неживого. Катя протолкалась сквозь толпу монахинь к саням.

— Почему вы ее увозите? Фрося, Фросечка, зачем тебя увозят?

— Затем, что выгнанная из монастыря твоя Фросечка.

— За что? Фрося! Ведь ты монашенка, Фрося.

— Не монашка она, а гулящая девка, брюхатая. Ну, ты, стерва, садись, вот кнутом огрею.

Мужик замахнулся, Фрося упала в сани.

Черная монашеская толпа стояла без движения, без шороха.

Мужик тронул лошадь. Фрося рывком поднялась, села. Новое — злоба и ярость кипели во взгляде. Губы дергались.

— Вы... ты... ты... ты...— задыхающимся голосом твердила она, указывая на кого-то, на одну и другую в толпе монашек.— Прощенья прошу? А за что? Вам, что ли, меня прощать? Знаю про вас, распроведала! Блудливые вы, как кошки. А потаенные, хитрые. Все у вас шито-крыто.

— Молчи!— рявкнул мужик, дергая вожжи.

— Не умею, как вы, не хочу! — кричала Фрося.— Я-то верила — святая обитель!.. Ох, и обманули ж меня, ох, обездолили...

Она зарыдала, падая лицом в узел. Мужик дернул лошадь, ткнул кнутовищем Фросю:

— Молчи!

— Не смейте ее бить! — кричала Катя и бежала рядом с санями.— Не смейте!

— Опозорила нас. Погодь, в Медяны приедем, смерти запросишь, бесстыжая.

Катя стиснула ладонями лицо: не слышать, не видеть. Ворота открылись, пропустили сани, закрылись, и Катя, плача, поплелась домой.

Черная толпа у Фросиного крыльца поредела, но не растаяла. Стояли кучками, шептались лбом ко лбу. Лины нет.

Катя вернулась в келью, легла на бабушкину постель. Черные монахини стояли в глазах. Безгласные. Ни у одной не дрогнуло сердце. Что же это за цепи, что вас сковали так намертво? Что Фрося кричала: все у вас шито-крыто? Значит, ложь, ложь! А Фрося... любила кого-то? Где он? Почему не прибежал ее защитить? Фрося, родная, вот отчего ты погасла... Фрося, зачем ты скрывала от нас свое горе, что он бросил тебя?

Лина явилась домовничать только под вечер, вся взбудораженная. Весь день бегала по монастырю и подругам, выведывая, что было, как было.

— Катя, с ума сойти, не поверишь!

Она выкладывала узнанное, полная возмущения и в то же время довольная, что первая принесла новости — ведь всегда хочется первой узнать о чрезвычайном событии и поразить, как поразила она Катю.

— Это мы с тобой вороны, все проворонили, а многие знали, и в городе и монахини замечали, догадывались, только сказать вслух боялись, огласки боялись, вот и тянули, не открывали, что Фросю отец Агафангел сгубил.

— Неправда, что отец Агафангел, сейчас же признавайся, неправда! — в ужасе закричала Катя. Вскочила, топая ногами. Схватила какую-то книжку, швырнула.— Неправда! Неправда! Врешь.

— Вот как раз и не вру. Не кипятись, слушай. Не вру. У отца Агафангела жена затрапезная, ни интереса, ни завлекательности, пироги только печь и умеет. Ясно, Фрося ему приглянулась. А она не устояла, Фросенька наша, перед его красотой. В него за одни проповеди влюбишься. Фрося и поддалась. Теперь ее за позор и в деревне со света сживут.



— Лина! Почему родить ребенка позор?

— Спрашивает! Вот еще божья коровка! В церкви обвенчаться надо.

— Фросе без венчания позор, а отцу Агафангелу не позор?

— Родить-то ей, а не отцу Агафангелу. А еще скажу тебе, ахнешь! — почему-то перешла на шепот Лина.— Кто им встречи подстраивал? Сама мать игуменья. После церкви отец Агафангел к игуменье чай пить, а Фросю кликнут, будто стол собирать, а на самом-то деле... у игуменьи комнат, небось, десять, целый этаж...

Весь день прошел в тоске и несбыточных планах спасения Фроси. Безутешный нескончаемый день. Нескончаемый вечер. Поздняя ночь. Лина давно сладко похрапывала, уткнувшись в подушку, а Катя металась. Ломило голову, все тело, словно ее заодно с Фросей избили кнутом.

Изредка доносились со двора мерные гулкие удары колокола. Это назначенные на ночное послушание монахини вызванивали на колокольне часы. У запертых ворот дежурят вратарницы. В Успенской церкви до утра читают псалтырь.

12

Гимназия шепталась, шушукалась. В коридорах и классах обсуждалось вчерашнее монастырское происшествие.

— Девочки, девочки, ведь ей еще и восемнадцати нет. Помните, кадило отцу Агафангелу подавала?

— А я тогда еще поняла, что-то тут есть. Вся так и сияет, кадило подает и сияет. А хорошенькая! Жалко-то как!

— Девочки, значит, он соблазнитель? Священник — соблазнитель. Как же это? Теперь отчислят его из священников?

— Держи карман шире. Мать игуменья горой за него.

— Почему?

— Потому. На его службы в храм не пробьешься. Все богачихи со всего города на отца Агафангела в колясках съезжаются. За одну обедню или всенощную больше, чем за неделю, в монастырскую кружку нажертвуют. Согласится мать игуменья из-за девчонки знаменитого священника из монастыря отчислить? Как бы не так!

— Девочки, а по-моему, Фрося сама виновата,— сказала Клава Пирожкова.

— Что? Клава, что ты? Девочки, что она говорит!

— Станет отец Агафангел на вашу Фроську внимание обращать! — фыркнула Клава.— У нее другой кто-то был.

— Клавка! Ах, бессовестная, бессердечная, вруша!

Клаву Пирожкову стыдили и ругали за вранье и бессердечие, пока не увидели в дали коридора сухощавую фигуру в синем платье, с золоченым пенсне на близоруких глазах.

— Тише, тсс... Людмила Ивановна на горизонте.

Закон божий в четвертом параллельном был последним уроком. Неужели будет все, как всегда? Как он войдет? Как станет их учить? Ведь он говорил, что бог все видит и знает. Он учил их божьим заповедям.

Зазвенел звонок и не успел отзвенеть, девочки сидели на местах, затаив дыхание. Отец Агафангел вошел. В рясе вишневого цвета на атласной подкладке, стройный, степенный и в то же время по-молодому подвижный.

Девочки поднялись. Неужели он не услышал эту полную горя и недоумения казнящую тишину класса?

У отца Агафангела была своя метода ведения урока.

Он начинал с какой-нибудь истории, притчи, какой-нибудь подходящей к случаю проповеди, а уже затем спрашивал заданное.

И сейчас, как обычно, неспешно прохаживаясь между партами, отец Агафангел начал без вступления и, рассказывая бархатным голосом притчу, по обыкновению протянул руку положить на чью-то девичью голову. Он привык как бы всегда благословлять, не замечая, кто девочка, чью голову ненадолго отечески накроет широким рукавом, шуршащим атласной подкладкой.

Катя сжалась. Атласная подкладка мягко коснулась лица. Она почувствовала тепло его белой руки. Она задохнулась и, мучаясь отвращением, впилась ногтями в теплую, мягкую, душистую руку.

Он не удержался, отшатнулся, вскрикнул. Все произошло мгновенно, но весь четвертый параллельный увидел, как потерялся отец Агафангел, багровые пятна растеклись по его бело-розовому лицу, он поправил крест на груди, почти шепотом спросил:

— Ты больна? Тебе плохо?

Может быть, она верно больна, со вчерашнего дня у нее разламывается голова, ноги тяжелые, будто привязаны гири.

— Мне противно, что вы меня тронули,— сказала Катя.

Наступило молчание. Долгое, жуткое. Девочки не смели пошевелиться.

Тяжело ступая, словно на десять лет постарев, отец Агафангел прошел к учительскому столу, сел, вырвал из записной книжечки листок, что-то написал, со скорбным лицом, придерживая золоченый крест на груди, как бы ища в нем поддержки и силы пережить оскорбление.

— Выйди вон из класса, Бектышева, и отнеси записку начальнице.

У Кати отдавался в ушах стук своих башмаков, такая тишина провожала ее, будто на похоронах.

Коридоры пусты. Катя шла пустым коридором, неся начальнице записку. Остановилась. Позвала негромко:

— Бог! — Негромко, чужим, странным голосом:— Бог! — Прислушалась, в висках бьет набат.— Отец Агафангел учил... нет, он не отец, он поп... поп Агафангел учил, ты все видишь. Ты увидал, что он сгубил Фросю? Фрося на тебя уповала. Я слышала тогда с бабой-Кокой, монашка читает псалтырь: «На твое имя мы уповаем». Где ты, бог? Ну? Ну? Отвечай. Тебя нет.— Катя в ужасе смолкла. В висках бьет набат. В коридоре пусто, тихо. Лишь монотонный доносится из ближнего класса голос учителя. Пусто, тихо. Катя ждет. Тихо. И, белея от потрясения, от того, что ей так вдруг бесповоротно открылось, она выговаривает внятно: — Тебя нет. Поп Агафангел тобой пугает, тобой прикрывается. Тебя нет.

Приемная начальницы — тайное тайных. Гимназистки вступали сюда лишь в экстренных случаях, хотя моложавая пышная начальница гимназии с ямочками на щеках и ясными глазами слыла доступной и справедливой. Ту приласкает, не считаясь, из бедной или богатой семьи гимназистка, ту похвалит за отличные успехи в ученье. Ту накажет. Не зря, по заслугам.

— В чем виновата? — спросила начальница, догадываясь: по пустякам да еще во время урока никто не явится к ней.— Записка?

Как разом все в ней изменилось! Где ямочки на щеках? Где ясность глаз? Где певучий, приветливый голос?

— Ты посмела? У тебя повернулся язык оскорбить пастыря, выдающегося умом и талантом законоучителя? Ты посмела?

Неумолимость глядела на Катю из светлых заледенелых глаз. Пощады не жди. Дрожь охватила Катю. Она не могла унять дрожь. Нет, не смельчак Катя Бектышева, ее бунт был ей нелегок, очень был труден.

— Он обманул Фросю, а еще пастырь! А где бог? Что он смотрит, если он бог?

— Не сметь богохульствовать! — шлепнув ладонью по ручке кресла, почти визгливо повысила голос начальница. И помолчав, обдумав: — Скажешь бабушке, чтобы немедля явилась.

— Бабушки нет, уехала в Москву.

— Бабушки нет. Отца нет. Матери нет...

— Какое вам дело? Вас не касается. Какое вам дело!

— Мне до всего дело в стенах учебного заведения, вверенного моему попечению,— с неожиданным спокойствием, становясь оттого еще беспощадней, сказала начальница.— Екатерина Бектышева, ты исключена из гимназии. Когда бабушка вернется, пусть придет. А сейчас ты исключаешься. Не смей приближаться к порогу гимназии. Иди.

Зазвенел звонок к концу уроков, двери классов распахнулись настежь, коридоры наполнились шумом и топотом.

Катя спешила, не поднимая глаз. Никого не видеть, не слышать, не делиться ни с кем.

В вестибюле у вешалки Клава Пирожкова суетилась возле Нади Гириной, помогала одеваться, держа Надину сумку с книгами, и громко, взахлеб возмущалась:

— У нее и бабушка безбожница. И отец бросил. У нее вся семья... Она таковская, я давно раскусила.

Катя скорее шагнула за дверь.

Все в ней окаменело. Она шла равнодушно домой. Исключение из гимназии не беспокоило Катю. Больше она сюда не придет, даже книги оставила в классе. Лина захватит. Наверное, осталась после уроков разузнавать новости, жить не может без новостей.

Трудно шагать, еле движутся ноги, тяжелы, как тумбы, и вся Катя себе тяжела.

Дома одиноко. Бабушки нет. Фроси нет.

Не сняв шубы, Катя подошла почему-то к креслу бабы-Коки, села. Что делать? Дожидаться возвращения бабушки. Баба-Кока, возвращайтесь скорее!

Горят глаза. Больно глазам. Голову ломит. Что с ней: холодно и горячо, сухо во рту.

На столе газета «Русское слово». Вчерашняя. Почтальон принес ее еще вчера, а Катя положила на столик. Вернется баба-Кока, прочтет. Катя не читала газет. Политика была ей скучна. Она закрыла глаза. Кажется, заснула. Проснулась. Где баба-Кока? Да, ведь она в Москве, по делам...

Машинально, неизвестно зачем, Катя развернула газету. Все делала она сейчас машинально, неизвестно зачем.

На последней странице мелкими буквами напечатан столбик:

«...Сведения Главного штаба. От особого отдела Главного штаба о потерях в действующих армиях.

Убиты: Капитан...

Подполковник...

Прапорщик...»

Буквы подпрыгнули, выросли. Острые, как колья. Огромные, черные. Закачались:

«Прапорщик... Бектышев... Василий Платонович...»

Вася.

13

Мчатся красные тучи. Разве бывают красные тучи? Мчатся, мчатся. Огненные клубы пышут зноем в лицо. Жарко. Спасите!.. Горю... Теперь я знаю, какой ад. За что вы меня мучаете? Что я вам сделала? А! Вы мне платите за отца Агафангела.

Тучи унеслись, запылали костры... Еще жарче. Вася! Это ты, Вася? Милый! Они говорят, ты убит. Я знаю, ты жив. Тебя не убьют. Вася, уедем в Заборье, позовем бабу-Коку, вместе уедем, мы защитим тебя, там тебя не убьют. Не хочу, не хочу, чтобы тебя убивали!

Дайте воды! Зачем вы меня отослали в Сахару... солнце, как желтая дыня. Как жжется песок...

— Катенька, детка, очнись! — молила Ксения Васильевна.

Много ночей провела она без сна у Катиного изголовья, меняя холодные компрессы на ее горячечном лбу. Палата большая, восемнадцать коек. Стоны и бред доносятся из разных концов. Тифозная палата. Возвратный тиф оттого и называется возвратным, что возвращается. Коварная болезнь. Шло на поправку, после пяти недель Катя начала подниматься, вдруг снова жар, озноб, головные боли, беспамятство. Хуже, чем было. Вся пышет огнем, вся сгорает.

— Острый рецидив,— сказал доктор.

— Доктор, очень опасно?

— Не буду скрывать. Сердце ее мне не нравится. Боюсь осложнений на сердце.

«Неужели я теряю тебя? — в тоске думала Ксения Васильевна.— Катя, Катя! Не уходи, не оставляй меня, девочка».

Она не подозревала, как глубоко привязалась к этой длинноногой девчонке-фантазерке, смешливой и диковатой, наивной и умненькой.

Между тем догадки врача подтвердились — после возвратного тифа осложнение на сердце. Из тифозной палаты Катю перевели в другую, громадную, как сарай, тесно заставленную койками. Ксения Васильевна дневала и ночевала у Кати. Нянь и сиделок не хватало в больнице. Ксения Васильевна заделалась и сиделкой и няней. Меняла больным белье, ставила градусники, слабых кормила с ложки. Свою Катю кормила.

Температура упала, а сил нет. Совсем нет. Не поднять руки. Даже головы не повернуть к окну. А за окном весна. Какое весна! Там давно уже лето, нежаркое, дождливое лето. В день по многу раз набегали на небо одна за другой быстрые тучки. Набежит, завесит солнце, прольется мелким дождем, и мокрые листья берез под окошком повеют прохладой.

Снова напасть — плеврит. Да не простой, экссудативный. Снова компрессы, банки, шприцы. Снова на ниточке жизнь.

«Я проглядела. Дожди, а у меня окно не закрыто. Простудила ее. Старуха, из ума выжила!» — казнилась Ксения Васильевна.

Не отходила от Кати, боялась на час оставить одну.

Долго-долго не отступала болезнь. Медленно-медленно возвращалась жизнь к Кате. Тихая, грустная ле-

жала она. Ксению Васильевну вдруг одолевал приступ кашля, и она кашляла в платок, задыхаясь, пряча слезы.

Настал наконец день, когда Катя сказала:

— Хочется есть.

— Милочка моя, оживаешь,— обрадовалась Ксения Васильевна.

«Оживает!» — радовалась она, когда Катя попросила однажды:

— Баба-Кока, расскажите что-нибудь.

Рассказать было что. За Катину болезнь порядочно накопилось рассказов.

Катя металась в бреду, когда в феврале по городу шли манифестации с красными флагами. Флагами, музыкой, песнями. Царя свергли. Царь отрекся от престола. В России революция. Бескровная, мирная. Теперь осталось — расправиться с немцами и начать жить по-мирному.

Временное правительство объявило: война до победного конца! Свобода, порядок, победа над врагами отечества.

Ксения Васильевна с подъемом рассказывала все это Кате. Она не любила царя — меленький человечишка! — а лозунги Временного правительства о победе над немцами и порядке привлекали Ксению Васильевну, были ей по душе.

Катя слушала молча, тихо. Так слаба она была, даже удивляться нет силы.

Только в июле Ксения Васильевна повезла Катю домой. Они ехали на извозчике Московской улицей, как в день первого Катиного приезда в город, и, как тогда, навстречу сверкал позолотой церковных глав и белизной стен монастырь, «Первоклассный Девичий»...

— Баба-Кока, неужели вы хотите всегда жить в монастыре?

— Сначала надо тебя на ноги поставить, а там поглядим,— уклончиво ответила Ксения Васильевна.

Держась от слабости за стенку, Катя тихо вошла в дом, монастырскую келью. Вон там за столиком она увидела тогда в газете черные буквы, острые, как колья: «Прапорщик... Бектышев».

Теперь Катя знала: мама тоже умерла. Она догадывалась об этом еще раньше, когда Вася к ним приезжал, но гнала прочь страшную мысль. Нет, быть не может, гнала она мысль о маминой смерти. Теперь точно известно. Умерла ее странная, несчастная мать.

— Располагайся, месяц мой ясный,— с тревожной радостью хлопотала баба-Кока.— Приляг на диван. Да она качается, что вы скажете, ее ноги не держат! Мигом ложиться! Итак, открывается новая страница нашего жития-бытия.

— В чем же новое? — улыбнулась Катя.

Неестественной получилась улыбка. Она сама чувствовала, какой натянутой получилась улыбка, голос неверный.

— В этом хотя бы,— заявила баба-Кока, повязывая косынку и надевая передник. Засучила рукава.

Катя не видывала, чтобы баба-Кока занималась стряпней. Батюшки! С каким удовольствием принялась разделывать цыпленка, резать на мелкие ломтики морковь и разные овощи, готовить диетический суп. И при этом делиться:

— Времена несуразные! Царя прогнали, а порядка что-то не видно. Прислуги не найдешь, провизии нет. Деньги падают. Что думает новый министр финансов Терещенко? Своими миллионами распорядиться умеет, а государственную казну упустил. Вовсе обесценились деньги, «керенок» каких-то напечатали. На базаре крестьяне на «керенки» эти и глядеть не хотят: подавай им за цыпленка материю. Нынче, радость моя, провизию раздобыть куда труднее, чем решить уравнение с двумя неизвестными.

— Вот поправлюсь, буду, как раньше Фрося, из трапезной обеды носить,— сказала Катя.— Баба-Кока, ведь вы им платите деньги?

— Нынче им наша плата не надобна, не пустят нас в трапезную.

— Почему?

— Трапезная для сестер и монахинь, а мы с тобой миряне. Мы в монастыре посторонние, случайные личности.

— Как же раньше?

— Раньше ты отца Агафангела подлецом не звала.

Вот оно что! Несколько минут Катя лежала молча, не мигая, глядела в потолок. Мать игуменья наложила на них наказание, вот оно что! Встала перед глазами черная толпа монашек возле Фросиных саней. «Потаенные, хитрые!» — кричала Фрося.

— Баба-Кока, что вы считаете самым большим в человеке пороком?

— Лицемерие. От него на свете все зло,— без раздумий ответила Ксения Васильевна.

— Баба-Кока, можно я...

— Спрашивай, спрашивай! — обрадовалась Ксения Васильевна. Веселило ее, что возвращается прежнее — этот любопытный расширенный взгляд, неожиданные вопросы.

— Баба-Кока...— помедлив, с запинкой сказала Катя,— почему вы выбрали для житья монастырь?

— Гм...— Ксения Васильевна недоуменно, а может, презрительно пожала плечами.— Думаешь, твоя баба-Кока ни одной глупости за целую жизнь не сотворила?

— А им зачем это нужно?

— Как зачем?! Они пожизненно кельи продают. Умру, снова их собственность. Снова продавай, наживайся. А покупателей только старых находят, чтобы недолго на этом свете задерживались. У них все по расчету.

— А вам какой расчет?

— И я не без расчетца,— со свойственной ей откровенностью призналась Ксения Васильевна.— Тут тебе и прислужат. Тут тебе и питание готовое.

Катя помолчала.

— Нам без трапезной будет труднее. Баба-Кока, вы сердитесь на меня?

Ксения Васильевна обернулась от керосинки. В одной руке картофелина, в другой — широкий, остро отточенный кухонный нож. Пристально как-то, почти строго поглядела на Катю:

— Я, Катерина, тебя уважаю...

Кровь часто застучала у Кати в висках, румянцем бросилась на щеки.

— Тебе румянец к лицу,— заметила баба-Кока.— Полтора месяца каникул осталось, надо тебя до гимназии откормить хорошенько, чтобы щеки потолстели, подрумянились лучше.

— Я не пойду в гимназию, баба-Кока.

— Что так?

— Не пойду. Ненавижу отца Агафангела. Ненавижу начальницу. Не хочу учиться в гимназии.

— Вот это новость,— протянула Ксения Васильевна и принялась молча чистить картофель.

Смолоду Ксении Васильевне хозяйством заниматься приходилось не часто. Совсем не приходилось. Естественно, чужое дело само в руки не шло — то вырвется нож, то убежит молоко, то разобьется тарелка или сковорода подгорит — мучайся, чисти. Но Ксения Васильевна не роптала на судьбу, что к старости привела ее в кухню.

«Надо хозяйничать, не разгибая спины, или что там еще надо для Кати — все буду делать, не охну. И улыбаться буду».

Сияла кольца — до колец ли, когда на руках кожа потрескалась от мойки посуды?

Давно не вспоминает Ксения Васильевна легенды и поверья о самоцветах, что раньше так любила рассказывать. Или просто любила рассматривать камни в кольцах.

Если долго смотреть на алмаз, увидишь сначала сияние, будто все солнце отразилось в капле воды. И вдруг вспыхнет синий огонь и перельется в оранжевый, и вдруг какая-то грань засветится розовым, и запоют, заиграют все цвета радуги. Алмаз спасает жизнь, отгоняет тяжелые мысли...

Давно позабыла Ксения Васильевна разглядывать свои самоцветы. Многое забыто из прежнего.

Одна привычка оставалась прочно. Настоявшись в очередях за хлебом, осьмушкой сахара и полфунтом крупы, натоптавшись у керосинки, Ксения Васильевна под вечер варила в старинном кофейнике — теперь ни за какие деньги не купишь — душистый черный кофе и, выпив чашечку-две, с довольным вздохом брала книгу. И уж непременно всякий день газету, свое «Русское слово».

А Катя? Катя читала. В чтении состояла теперь вся ее жизнь. Лина уехала на каникулы домой в деревню. Фроси нет. Никого — баба-Кока и книги. Ей нравились толстые старые книги. Чтобы день или несколько дней плакать и радоваться, делить чьи-то горести и чьи-то надежды. Любить. Ах, как любила она Наташу Ростову и Андрея Болконского — ах, как любила! Она сама была Наташей Ростовой. Зачем Наташа изменила Андрею? Как могло это случиться? Нет, она не нашла счастья с Пьером Безуховым. Пьер благородный, но Катя навсегда оставалась верна Андрею Болконскому.

...А «Русские женщины»?

«Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя»...

Дни были долгие, полные ярких чувств и боли. Но отчего-то горе, испытанное над книгой, озаряло душу светом. Достоевский мучил. Она страдала. Уйти нельзя. Надо все пережить, все до конца. Десять жизней, двадцать, сто... И вдруг Марк Твен. Она хохотала до слез.

— Читай все,— разрешила баба-Кока,— у меня на полках стоящие книги, слезливых Чарских не водится.

Баба-Кока намекала, что Чарская — кумир гимназисток. Чарская была и Катиным кумиром, пока книжные полки бабы-Коки не открыли настоящую жизнь.

Интересно было узнавать эту настоящую жизнь.

Длинная, с огромными от худобы глазами, остриженная после болезни наголо, повязанная платочком, Катя до ночи сидела с книгой — если дождь, на крылечке под крышей, если солнечный день, в тени отцветшей сирени, куда зимой празднично слетались снегири, а в июле чирикали стаи непоседворобьев.

Монахини, изредка проходившие мимо, не замечали ее. Опустив головы в черных клобуках, перебирая быстрыми пальцами четки, они скользили бесшумно и призрачно. Мать игуменья запретила монашкам посещать келью Ксении Васильевны.

— Живем, как на острове,— посмеиваясь, говорила баба-Кока. Впрочем, у нее и раньше не водилось среди монашенок приятельниц.— Ханжи, лицемерки. Тебя, Катя, посвящать в монастырские скверны не буду. Что знаешь, и того хватит, чтобы на всю жизнь от их святости отвратить. Чистая душа была Фрося. Сломали.

О Фросе они вспоминали с грустью и горем. Ксения Васильевна забрала бы ее снова к себе, но мать игуменья властвовала в монастыре безгранично: в монастырские стены Фросе вход был закрыт.

Ксения Васильевна послала в Медяны письмо. Нет ответа. Второе письмо. Опять без ответа. Сгинула Фрося. Загубят ее.

Жизнь между тем становилась все неспокойней. В хлебных очередях передавали шепотом: солдаты из действующей армии бегут. За дезертирство Временное правительство ввело смертную казнь. Но все равно бродят вокруг города по лесам дезертиры. Власть главы Временного правительства Керенского не слаще царской. Видно, простому народу от Временного правительства доброго не приходится ждать.

И все чаще стало слышаться новое: большевики.

— Что за большевики? Чего им надо? Зачем воду мутят? И без них худо-прехудо,— говорила баба-Кока, начитавшись «Русского слова».

Катя взяла газету. Что о них пишет «Русское слово»?

Целый столбец печатался в газете под заглавием: «Большевики». Крупный такой заголовок, чтобы бросалось в глаза. Каждый день: боль-ше-ви-ки.

Кто они? За кого? Против кого? Чего добиваются?

Газета «Русское слово» писала: большевики смущают солдат, разлагают войска; большевики против народа и родины.

— Баба-Кока, это неверно.

— Откуда ты знаешь?

— Вася сказал.

— Э! Вася и не то проповедовал. Как о войне рассуждал? С победой или нет — кончай. Разве солдат такими призывами годится смущать? А то вот еще пишут, Ленин из-за границы явился. Главный у большевиков, а сам немецкий агент.

Да, о Ленине «Русское слово» писало почти в каждом номере. Что главный у большевиков и немецкий агент.

Вася не называл Ленина. Вася ни слова о нем не сказал. Но если Ленин большевик...

— Баба-Кока, вы верите Васе? Он говорил о большевиках — хорошие люди, большевики за народ.

— Поживем, увидим,— вздохнула Ксения Васильевна.

14

Хотя они и жили, как сказала баба-Кока, «на острове», вести о бурных событиях в мире проникали через монастырские стены. Все та же излюбленная бабой-Кокой газета «Русское слово» ежедневно сообщала наводящее страх. Нагнетала тревогу, пугала.

— Послушай, Катя, что твои большевики вытворяют! — негодовала Ксения Васильевна.— Что пишет «Русское слово»! Военный бунт в Петрограде. Бунтуют заводы. Большевики призывают: вся власть Советам! Нынешнее правительство, выходит, долой?

— А правительство что?

— Как ты думаешь — что? Если до бунта дошло, что прикажете делать правительству? Ужас!

— Стреляли? Я думала, только на войне убивают.

— Не пойму я, Катерина, тебя. Защищать революцию надо? А у них, большевиков, видишь ли, лозунг: долой министров-капиталистов! Сами рвутся под пули. И народ под пули ведут. Положеньице! Иди разберись.

Ксения Васильевна откинулась на спинку кресла. В глазах стояла растерянность, так ей чуждая раньше. Раньше она точно знала, что хорошо, а что плохо. Теперь все смешалось, перепуталось, и революция, которой Ксения Васильевна поначалу обрадовалась, одобряя свержение плохонького царя Николая Второго со всеми его продажными министрами и развращенным двором, теперь вроде вовсе перестала быть революцией. Ничего не менялось. Все оставалось по-старому: что при царе, что без царя. Вместо царских министров — другие, такие же.

Бунта дождались. Как при царе.

...Знойные июльские дни. В поле, должно быть, жнут рожь. В березовой роще за городом лиловые колокольчики нежно высятся среди тонкой травы. Уйти бы в березовую рощу, упасть в траву и дышать, и пусть ветер веет в лицо, и лазурное небо льет свет.

А в Петрограде убивают своих. Большевики агитируют: долой министров. Министры — долой большевиков. Кто прав?

Поскольку у Ксении Васильевны не было других собеседников, Катя теперь постоянно втягивалась в обсуждение политики.

«Русское слово» ежедневно разоблачало большевиков, но как ни поддавалась его внушениям баба-Кока, у Кати было свое мнение. Большевики — хорошие люди. Чем доказать? Только той Васиной задушевной беседой. Вася словно бы оставил ей завещание.

Однажды Ксения Васильевна в необыкновенном возбуждении вернулась из города, раскрасневшаяся, с крупными каплями пота на лбу и пустой сумкой, хотя не меньше трех часов выстояла в очереди. Полагалось на июльский талон по фунту крупы, а очередь вытянулась чуть не в версту — привезенного запаса хватило едва на пол-очереди, баба-Кока вернулась ни с чем.

Но не это разволновало ее.

Ксения Васильевна так и рухнула в кресло. Сумку кинула в сторону, стащила соломенную, с букетиком ромашек, широкополую шляпу, вытерла потный лоб не платком, как требует приличие,— прямо ладонью, и задыхающимся голосом:

— Видела бы, Катя, я ведь на митинг попала!

Наверное, даже в их небойком уездном городке, где ни единого крупного завода, а небольших заводиков — раз-два и обчелся, наверное, и здесь где-то большевики вели свою деятельность и агитацию против правительства министров-капиталистов, но Ксения Васильевна не подозревала об этом, потому так ее поразило увиденное.

Лавчонка, где ей было положено выкупить по июльским талонам на себя и Катю два фунта крупы, лепилась в ряду других лавок на базарной площади. Сюда в базарные дни съезжались из окрестных сел и деревень на подводах крестьяне, больше солдатки, а теперь, к концу третьего года войны, и отвоевавшие инвалиды с медалями. В базарных рядах всегда стояла толкотня, какая-то непонятная Ксении Васильевне торговля, когда крестьяне, и дамы в шляпах, и простые женщины в платочках что-то тайком совали друг дружке, осторожно оглядывались, хотя запрета на торговлю не было.

После-то Ксения Васильевна поняла: не только в магазинах — и на крестьянских возах провизии мало. Ухватить не поспеешь — мимо тебя другому достанется.

Деньги не в цене. Купля-продажа велась не на деньги. Городские жители несли на базар одежду и обувь, лишние и нелишние вещи. Деревня хватала все, а хлебом платила скупо, с расчетом.

На углу площади стоял газетный киоск. В этот день киоск что-то был долго закрыт. Много позже срока появился газетчик. С ним солдат. В потрепанной солдатской шинели, с широкой бородой и кустистыми бровями над маленькими серьезными глазками. Весь серьезный и строгий.

Газетчик нес в сумке обычный товар: «Русские ведомости», «Русское слово»... У солдата своя ноша, тоже газеты, но другие. Ксения Васильевна заметила: поменьше форматом, что-то новенькое.

Газетчик открыл киоск, принялся раскладывать на прилавке обычные газеты. А солдат, не заходя в киоск, вскинул над головой газетный лист из своей пачки и громко, на всю площадь, закричал:

— Граждане, товарищи! Слушайте, что в Петрограде было. Рабочие вышли на улицы сказать Временному правительству, что не желаем мы больше войны. Долой войну! Долой буржуйскую власть! Вся власть Советам рабочих, крестьянских, солдатских депутатов! Товарищи, граждане! Зачем нам министры-капиталисты? Они о своем богатстве заботятся. Зачем нам война? Хватит, навоевались. Рабочие Петрограда без оружия, мирно на демонстрацию шли, а правительство Керенского расстреляло их, безоружных. Так нас расстреливал кровавый царь Николашка...

Базарная площадь умолкла. Люди побросали куплю-продажу и бежали к киоску. Бежали от лавчонок и крестьянских возов. Обнесли газетный киоск, как забором, тесной толпой. В толпе Ксения Васильевна с пустой сумкой, соломенная шляпа с ромашками сбилась набок.

— Товарищи, граждане! Была у нас наша газета большевистская «Правда». Открывала нам правду про буржуазную власть. Обозлились буржуи, редакцию «Правды» злобно разгромили. На коленки нас хотите поставить? Не поставите. Шиш вам! Большевики не сдаются. Разорили нашу «Правду», а мы заместо нее «Листок Правды» выпустили. Вот он. Читайте. Передавайте другим. Граждане крестьяне, середняки и бедняки, здесь и про вас. О земле. Берите. Читайте. Узнавайте, как большевики защищают простой народ от миллионеров Гучковых, да князей Львовых, да Керенских...

Резкие свистки заверещали в разных концах площади. Откуда-то появились конники. Ксения Васильевна не поняла, кто они. С шашками наголо, как жандармы. Ведь жандармов нет. Временное правительство разоружило жандармов. Откуда же эти, с шашками? Ксения Васильевна видела, подскакали к киоску. Толпа шарахнулась. Конник занес шашку над бородатым солдатом. Солдат поднял свою пачку, с размаху швырнул всю в толпу, газетные листы полетели. Люди ловили, хватали, прятали.

Каким-то чудом и Ксении Васильевне достался газетный лист.

Вынула из-за корсажа помятый, наполовину изорванный.

— На, Катя, читай.

Катя разложила на столе газету, выпущенную в Петрограде 19 июля 1917 года, в четверг. Разгладила.

«ЛИСТОК ПРАВДЫ»

Не имея возможности выпустить сегодня очередной номер «Правды», мы выпускаем «Листок Правды».

Рабочие! Солдаты!

Демонстрация 3—4 июля закончилась.

Вы сказали правящим, каковы ваши цели...

Темные и преступные силы омрачили ваши выступления, вызвав пролитие крови. Вместе с вами и

со всей революционной Россией мы скорбим о павших в эти дни сынах народа...

Товарищи рабочие и солдаты! Мы призываем вас к спокойствию и выдержке!

...Вся жизнь действует за нас. Победа будет за нами.

15

— Баба-Кока, можно задать вам вопрос?

— Давай спрашивай.

Ксения Васильевна отдыхала в своем кресле после трудового дня над остывающей чашечкой кофе, но без книги: на улице вечерело, в узкие сводчатые окна свет падал слабо, полумрак окутывал комнату, а зажигать лампу рано, керосин давно продают по карточкам, в обрез. Приходилось экономить.

Катя сидела возле кресла на низенькой скамеечке, обхватив колени, и в упор глядела на бабу-Коку. Странная была у нее привычка: в трудные моменты не потупляла глаза, а, напротив, вовсю вытаращивала, хотя и обливалась краской смущения.

— Что мнешься? Спрашивай.

— Кто мой отец?

— Знаешь ведь.

Если бы Ксения Васильевна умела хитрить, прятаться, убегать от опасных вопросов и, скрывая правду, говорить полуправду, могла бы таким ответом отделаться. Но Ксения Васильевна не любила хитрить. Особенно с Катей.

— Тебе надо знать, не кто отец, а какой?

— Баба-Кока, вы с ним дружили?

Баба-Кока не сразу ответила. Видимо, взвешивала, сама не знала — да или нет?

— Дружбой не назовешь, а знакомство вели. Даже приятельство было. Как с семьей расстался, сколько тому... восьмой, верно, год, так и наше приятельство врозь. Неладно у него с личной жизнью. А передо мной неохота несчастливцем казаться. Слабовольный Платон Акиндинович, хотя и военный. Какой он военный! Не знаю, пальнул ли из боевой винтовки разок. В интендантстве служил... Катенька, тебе ведь другое надобно. Хочется услыхать об отце, что большой человек, характера крупного?

Она замолчала. И Катя молчала. Впервые заговорила об отце. Никого, даже Васю, ни разу не спросила о человеке, которого называла ли когда-нибудь папой? Если и называла, так зто было давно, что не помнит. Не помнит. Забыла.

— Героя хотела?

— Героя?! — гневно вскинулась Катя.— Хорош герой! Бросил маму.

— То дело двоих. Не нам судить, кто прав, кто виноват,— возразила Ксения Васильевна.

— Бросил нас.

— Вас не бросал. Мать не отдала.

— Вы не любили маму.

Ксения Васильевна не ответила, и это значило: да, не любила.

Внезапно протяжный колокольный звон вошел в келью и всю заполнил ее. Раньше с колокольным звоном на душе поднималось что-то певучее, печальное, важное. Сейчас колокола говорили Кате другое: унылость, безрадостность, ложь...

— Есть присловье: «По отцу и сыну честь»,— послушав звон, сказала Ксения Васильевна.— Однако не все пословицы — мудрость. Что до отцов: оставили детям славное наследство — спасибо. А нет? Сам добывай. Кто тебе мешает? Завоевывай и почет и славу... А главное, Катя, чтобы смысл в жизни был...

— Смысл жизни в чем?

— То и загадка: в чем?

Вопрос, заданный самой себе, повис без ответа. Ксения Васильевна в задумчивости глядела на Катю.

«Не странно ли, столько прожито лет, столько пережито счастья и горя, утех и утрат, а когда-нибудь ты задумывалась о смысле жизни, Ксения Васильевна? Цель высокая была у тебя? Любимое дело, такое, чтобы всю душу отдать? Нет. Жила в свое удовольствие, и ничего более. И ничего выше. И все увлечения твои были невечны. Минучие были и любви и привязанности. Что же зто? Ведь таких людей «небокоптителями» называют, Ксения Васильевна. Или вот еще писатель Тургенев о таких, как я, словечко изобрел «лишние люди». Язвительно сказано. Будто выстрелом в самую точку».

Так раздумывала Ксения Васильевна, серьезно и строго, в то же время иронически посмеиваясь над собою: «Пустилась ни с того ни с сего философствовать, старая».

Но ирония была для нее защитой, в действительности же Катины вопросы разбередили, подсказали что-то.

Катя, Катя — любовь к Кате, так нежданно и властно заполнившая все ее сердце,— вот что было единственным содержанием теперешней жизни Ксении Васильевны.

«И прожила бы небокоптителем,— думала Ксения Васильевна,— если бы не зта девчонка, в которой вроде ничего и особого нет, а жизнь стала из-за нее драгоценной, и цель есть, и смысл есть, и хочу жить, жить!»

А девчонка, не решаясь отвлекать бабу-Коку от раздумий, мотнула стриженой головой в ситцевом платке, пересела со скамеечки на свой обжитой, со вмятинами и выпиравшими кое-где пружинами диван и целиком ушла в книгу. Вернее сказать, впилась в роман Диккенса «Давид Копперфильд», где тоже действовала и играла исключительно важную и благородную роль полная причуд и странностей бабушка, где мальчик Дэви, поначалу такой несчастный, нашел большую дорогу, где события следовали одно за другим, стремительно мчались, одно другого неожиданней и интересней.

Катя еще менее Ксении Васильевны склонна была философствовать. Настолько была обыкновенной девочкой, что даже не задумывалась: «Зачем я живу?» Жизнь дана, и живу.

16

К гражданам России!

Временное правительство низложено...

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, зто дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

25 октября 1917 г.
10 ч. утра.

«РАБОЧИЙ И СОЛДАТ» № 9

Орган Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. № 9.
26 октября 1917 года.

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ!

Второй Всероссийский съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов открылся.

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов...

Солдаты, рабочие, служащие — в ваших руках судьба революции и судьба демократического мира!

Да здравствует революция!

«РАБОЧИЙ И СОЛДАТ» № 10.
27 октября 1917 г.

Постановление об образовании рабочего и крестьянского правительства.

Всероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов постановляет:

Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров.

Председатель Совета Владимир Ульянов (Ленин).

— Бог ты мой! — восклицала Ксения Васильевна.— Рабочие и крестьяне у власти. Катя, да разве рабочие справятся с властью? А председателем Ленин. О нем месяца три подряд что нам долбили?

— Баба-Кока, кто долбил?

— Ты большевичка, Катя. Где только заразилась, не знаю. Кто долбил? Вот кто! Вот кто глаза на действительность нам открывал.

Она подняла со стола пачку газет.

— Читай. Вслух, громко.

— «Русское слово», 25 октября 1917 г.,— громко прочитала Катя.— «Кошмарные дни. Кошмар большевистских выступлений продолжает душить страну. Мы живем в ожидании погромов, грабежей и убийств...»

— Другую читай.

— «Русское слово» 26 октября 1917 г. «На развалинах...»

— Стоп! — перебила Ксения Васильевна.— Точный диагноз: мы на развалинах. К чему мы идем? Какой нас ожидает финал?

Она умолкла и некоторое время сидела с гневным выражением лица, прямая, не двигаясь, держась за подлокотники кресла.

— Немцы завоюют Россию, сядет нами править Вильгельм, тем все и кончится,— разом как-то вся угасая, внезапно заключила она.

Колокольный звон вошел в окно со двора.

На дворе мутный, насквозь вымокший день. Уродливо топорщатся голые, будто узлами перевязанные сучья сирени. Холодные дождевые капли висят на ветвях.

А колокол гудит панихидно, тоскливо над сереньким днем.

— Молятся всё,— недобро промолвила Ксения Васильевна.

Приложила два указательных пальца к вискам. Начиналась мигрень. Раньше в таких случаях раздували угли в кофейной трубе, крепкий дух вкусно разливался по келье, черный напиток оживлял Ксении Васильевне голову. Но давно уже не вздувают угли в медном кофейнике, не булькает в носике, закипая, душистый кофе. Катя подала карандашик против мигрени, хранимый Ксенией Васильевной с давних времен. Переждала, пока баба-Кока потрет виски, посидит, прикрыв веки.

— Вы испугались революции, баба-Кока?

— Сроду пугливой не была,— не поднимая век, устало ответила Ксения Васильевна.— За тебя тревожусь. Тебе жить. Странное, мятежное время! Все неясно, тонет в тумане. Подружка твоя Акулина, или как она там себя переиначила, Лина, прямиком пошагает в новую жизнь, а ты, Катя?.. Да и сбудется ли она, эта их новая жизнь, которую обещает Председатель Владимир Ульянов-Ленин, а «Русское слово» зовет кошмаром, катастрофой, агонией?..

ДЕКРЕТ О МИРЕ

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября.., предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире...

Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам немедленно...

Доставать «Правду» было трудно, почти невозможно. Во всяком случае, старой женщине в черном драповом саке с бархатным воротничком, фетровой шляпе, под дождевым, отливающим мокрой лаковой чернотой зонтиком, с которого струями стекает вода,— доставать «Правду», бравшуюся с бою в эти первые дни Октября, Ксении Васильевне было бы совсем невозможно, если бы когда-то не пришлось участвовать на базарной площади в митинге. Она запомнила солдата, который, размахивая «Листком Правды», бросал в народ яростные слова о расстреле буржуазным Временным правительством мирных рабочих. Запомнила солдата и его рабочий листок.

И солдат заприметил пожилую особу буржуйского, не совсем обычного вида. Она кидалась к нему за «Правдой» даже из хлебной очереди. После ее не пускали в очередь.

— Ловчит! Не стояла, втирается. Не было тута ее, ступай, ступай, ишь, в шляпу вырядилась...

Она не бранилась в ответ. Только молча вскидывала голову, отчего вид у нее становился еще более буржуйский и гордый.

Однажды солдат заступился:

— Товарищи женский пол, тиха-а! Пролетарским словом подтверждаю: стояла гражданка в очереди, имеет законное право.

С тех пор Ксения Васильевна была обеспечена большевистской газетой. Увидев ее, растрепанную и раскрасневшуюся от толкотни, но не жалкую, не бедненькую, а чем-то достойную, солдат протягивал ей газету через головы.

— Эй, мадама старый режим, бери, просвещайся, выветривай из мозгов плесень.

«Декрет о мире. Если бы Вася дожил! Он ненавидел войну,— думала Катя.— Зачем мы воюем? Тысячи, тысячи убитых, калеки. Вася... Санькин отец... Зачем? Баба-Кока, зачем?»

Баба-Кока хмурилась. Гремела у керосинки кастрюлями.

Впрочем, Катя рядом с ней тоже гремела кастрюлями. Хватит быть белоручкой! Нет у нее чахотки. Доктора напрасно запугивали.

Катя здорова и не желает сидеть взаперти за монастырской стеной, желает жить, как все люди. Стоять в хвостах за хлебом и солью, добывать с бою, как баба-Кока, газеты, читать расклеенные на заборах новые законы, подписанные Лениным, и приказы уездного совдепа — видеть, слышать. И понять, и понять.



— Что касается мира, это они великолепно придумали! — сказала баба-Кока.

А давно ли агитировала: война до победного конца!

Поняла, согласилась. Мир! Это и будет наш хороший конец, наша победа.

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ

1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.

2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов...

— Милосердный боже! — ахнула Ксения Васильевна.

Никогда раньше она не взывала так часто к милосердию божию.

В этот день у них с Катей подгорела каша, дочерна, до половины кастрюли. Кашу съедят кое-как, хоть и прогоркла,— голод не тетка, съедят, а кастрюлю не отчистить, пропала.

Катя догадывалась: баба-Кока потому так разгоревалась о подгоревшей кастрюле, что на ее старинном, красного дерева столике газета «Правда» огромными буквами объявляла: «Д Е К Р Е Т О З Е М Л Е».

Баба-Кока подходила к столику, а в кресло не опускалась уютно и довольно, как прежде. Читала этот декрет стоя, чуть издали. Несколько раз. Словно не верила глазам или хотела заучить наизусть... Но ведь в первый же день рабоче-крестьянской революции, в первом же выпущенном Советской властью газетном листке они с Катей прочитали об отмене помещичьих и монастырских земель...

— Да, но не верилось, думалось: так просто, мечта...— недоуменно говорила баба-Кока.

На лице ее появилось выражение растерянности и выжидания. А газеты каждый день сообщали новое, поражающее, отчего Ксении Васильевне, как и Кате, хотелось идти туда, к людям, и кого-то умного, кто все понимает, спрашивать:

— Что это? Настоящее? Навсегда?

Каждый день Ксения Васильевна брала газету и с иронией, пряча под смешком настороженность, говорила Кате и себе:

— Ну, чем сегодня огорошат?

— *«Декрет о восьмичасовом рабочем дне...»*

— *«Декрет об уничтожении сословий».*

— *«Декрет...»*

Этот декрет не был еще опубликован, когда Ксения Васильевна однажды, одевшись особенно тщательно, сменив кружевную вставку на шерстяном темно-зеленом костюме, раскрыв дождевой зонт, отправилась в банк.

И вернулась. Довольно скоро.

Утомленной, какой-то неверной походкой, позабыв раскрыть зонт, опираясь на него, как на палку, хотя колючий ноябрьский дождь со снегом хлестал в лицо и безжалостно мочил ее фетровую шляпу и пальто.

— Чашечку бы настоящего черного кофе,— грустно сказала Ксения Васильевна, садясь на первый попавшийся стул и без спора давая Кате стащить с себя мокрые от луж башмаки.

— Что-нибудь новое? — спросила Катя.

— Круто большевики забирают. Неслыханно... Спасибо, печка истоплена, на улице, брр, мерзость, слякоть. Итак, Катя, банк не работает. Закрыли. Надолго? Насовсем? Мы с тобой без гроша. А слухов, а слухов! Говорят, нетрудовые доходы все реквизируются. У нас с тобой трудовых доходов нет. Поняла? — И тут она засмеялась. Как ни странно, она засмеялась каким-то сардоническим, если можно так выразиться, смехом: — Екатерина Платоновна, пролетело наследство, не пришлось стать помещицей!

— Мне все равно,— ответила Катя.

Верно, так оно и было, ей все равно. Практические вопросы не занимали ее. Возможно, оттого, что за свою жизнь Катя не знала нужды. И село Заборье так ушло далеко, старый дом заколочен, сыро, неприютно в саду, листья облетели.

— Так или иначе, вопрос пропитания сейчас для нас первейший и труднейший вопрос,— нахмурясь, сказала баба-Кока.

— Не только для нас,— возразила Катя.

И вдруг Ксения Васильевна задышала тяжело, потемнела.

— Если ты под моей крышей вырастешь бездушной и сухой, не видя и не понимая переживаний и чувств близкого человека, если тебе не хочется бежать на помощь, когда ему тяжело, если ты... если ты...

— Баба-Кока, не надо!

Ксения Васильевна утихла, провела рукой по лицу.

— Чашечку бы настоящего черного кофе!

17

— Отец Агафангел уволен! Отца Агафангела из гимназии выгнали. Долой буржуев, долой попов! Ура! Да здравствует Советская власть!

Так в один прекрасный день примчалась Лина Савельева. День был, верно, прекрасен. Стала зима. Нетоптаный снег сверкал мириадами бриллиантовых звезд на просторах монастырских полян. В кустарниках алые грудки снегирей цвели, как цветы.

Лина выкладывала новости. Ворох новостей!

— Во-первых... Катька, ты писательница, сочиняешь повести, сочинила бы про моего отца, как он, весь покалеченный, из окопов пришел, живого места нет, четыре года отвоевал, а без единой награды вернулся, вот какова справедливость! Гимнастерка от вшей шевелится. Мать так и повалилась на лавку. Истопили баню. Одежду пожгли. Батьку вымыли, выпарили. А дальше? Дальше самая суть. Отец башковитый, в окопах наслушался правды, пришел на село Советской власти подмогой, выбрали секретарем партячейки, никого выше нет. Кто был ничем, тот станет всем. А кто был всем, тот стал ничем.

Ксения Васильевна приблизилась к дивану, где сидели Катя и Лина, молча опустилась рядом на стул. Слушала, крутя кольцо на безымянном пальце.

— Дальше рассказывай... Акулина.

— Баба-Кока! — отчаянно крикнула Катя.

— Поп Акулиной окрестил. Да еще отец Агафангел когда назовет с подковыркой,— меряя дерзким взглядом Ксению Васильевну, ответила Лина. Перекинула на грудь толстую косу, расплетала и заплетала конец. И все глядела на Ксению Васильевну.

— Ее зовут Линой,— сказала Катя.

Молчание.

— Подковырки я сама не люблю, нечаянно вырвалось,— трудно заговорила Ксения Васильевна.— А понимаю не все. Сознаюсь, не все понимаю. Рассказывай, Лина.

И Лина, легкий человек, забыла нависшую тучку, не казнила взглядом Ксению Васильевну и затараторила бойко:

— Во-вторых... Угадайте! Катька, не силься, не угадаешь, хоть лопни. В нашей бывшей женской гимназии...

Тут Катя и Ксения Васильевна, не веря ушам, услыхали: нет больше в их городе женской гимназии. Вывеска скинута. А уж если вывеску свергли, значит, большевистская революция докатилась и до бывшей женской гимназии. На месте ее единая трудовая школа. Девчонки будут учиться вместе с мальчишками. Единая, трудовая, совместная!!

Дойдя до чрезвычайного пункта о совместном обучении девчонок с мальчишками, Лина с присущим ей темпераментом, позабыв о недетских уже годах, принялась подпрыгивать на пружинистом диване, всплескивать руками, хихикать, подмигивать.

К тому же в этой новой, только рождавшейся школе образован ученический комитет из учащихся, и членом комитета большинством голосов выбрана Лина Савельева. Члены комитета в курсе всей школьной жизни, всех реорганизаций.

Ре-ор-га-ни-за-ция! Слово-то какое! Небывалое. И Катя решила:

— Теперь пойду в школу.

— Катька, Катька, а зачем я и прибежала к тебе!

Оказывается, Лина и прибежала за тем, чтобы мобилизовать Катю в школу. Отца Агафангела вытурили, дорога открыта. Мы наш, мы новый мир построим.

— Она из формы выросла, а другой не достанешь,— неуверенно заметила Ксения Васильевна.

— Формы долой! Погоны долой, предрассудки, сословия, угнетателей, весь прогнивший царский режим!

Ксения Васильевна вздохнула. И сдержанно:

— Во-первых и во-вторых мы узнали... А в-третьих?

В-третьих было недоброе. В бывшей женской гимназии бушует классовая борьба, вот что оказывается!

— Уж это увольте! Это, сударыня, ты сверх меры хватила, вам, большевикам, классовая борьба всюду мерещится, хоть в школу ее не притягивайте, не агитируй, не верю! — возбужденно заговорила Ксения Васильевна.— Классовая борьба в гимназии! Придумают небылицы.

Между тем, если учителя не признают Советскую власть, объявили саботаж, не выходят на уроки, отказались учить, это что? Классовая борьба, вот это что! Учителя — саботажники, отсталые, с контрреволюционными взглядами. Начальница во главе. Да, начальница, пышная, полненькая, с ямочками на щеках, главный враг революции.

— Половина уроков пустые! Физики нет, математики нет! — выкладывала Лина, видимо, не очень скучая без физики и математики.— Митинги, митинги! Пустой урок — сейчас митинг. Позор учителям-саботажникам! Несаботажники—с нами. Их признаем, эти свои. Катя, придешь — увидишь, мы все на новый лад перестраиваем.

— Ох-ох! — вздохнула Ксения Васильевна.— Не знаю, Катя, уж идти ли тебе в эту вашу новую... трудовую...

Но назавтра поднялась ранним утром, тихонько вздула утюг, выгладила ее старое коричневое платьице, едва прикрывавшее Кате колени, приметала белый воротничок. «Как вы там ни свергайте старый режим, а девочку оденешь гимназисткой — и будто не все прежнее разрушилось, что-то осталось...»

В бывшей женской гимназии заливался звонок. Клава Пирожкова шагала вдоль коридора, трезвоня над головой колокольчиком. Раньше к урокам звонил старый бородатый швейцар в зеленом мундире. Теперь Клава Пирожкова пронзительно выкрикивала:

— По классам! По классам! Первый урок.

Выписанный малиновой краской на серой оберточной бумаге плакат призывал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Плакаты, объявления, газетные листы и рисунки залепили стены вестибюля и коридоров. Раньше коридоры были голы и пусты, теперь:

«Всем! Всем! Сегодня общешкольное собрание. Повестка дня:

1. О кухонных дежурствах.
2. О драматическом кружке.
3. О поведении учителя химии.

Все на собрание!!! Не опаздывать! Революции дорого время».

«В труде и знаниях — сила рабочего класса!» — объявлял пестрый плакат, составленный из цветных буковок разрезной азбуки.

Размашистыми крупными строчками кто-то весело взывал:

Демьян Бедный,
Мужик вредный,
Просит
Братьев-мужиков
Поддержать
Большевиков.

— По классам! Первый урок! — звала Клава Пирожкова.

Девочки не спешили по классам. Там и тут стояли в коридорах. Торопливо прошагал длинноногий учитель рисования, с красными пятнами на лице, вошел в пустой класс и, багровея от стыда и беспомощности, принялся расставлять на учительском столике никому не нужные глиняные вазы перед партами, на которых никто не сидел.

— Бектышева! — заметили Катю.

— Девочки, девочки! Катя Бектышева вернулась.

— А худая, длиннющая! Дылда!

— Девочки, у нее волосы колечками вьются.

— Не колечки, а стружка. После тифа волосы всегда стружкой растут. Девочки, она на Топси из «Хижины дяди Тома» похожа.

— Скажешь! Топси черная, негритянка. А она вон какая белая.

Подошла с колокольчиком Клава Пирожкова.

— Бектышева! Катя! Хорошенькая-то какая после болезни! Мне бы так побелеть. Катя, а отец Агафангел-то против Советской власти поперек. Заберут его. Чека заберет. Ты верно его разгадала. Я тогда еще всем говорила: умная Катя. Умная, умная! Катя, а Надька Гирина, буржуйская дочка... Отец во Францию сиганул, и она с папенькой да его капиталами, ясно!..

— Катя, идем! — позвала Лина.— Садись со мной, на мою парту по-прежнему. Девочки, Людмила Ивановна на горизонте.

Людмила Ивановна, высокая, худая, в пенсне с золотым ободком, сменила синее форменное платье на темную юбку и светлую кофточку, желая, должно быть, тем показать свой разрыв со старым режимом.

— Людмила Ивановна, к нам! У нас пустой урок.

Она села, как учительница, за учительский стол. Классные дамы раньше за учительские столы не садились. Может быть, Людмила Ивановна стала учительницей? Какой урок она будет вести? Физику? Математику? Русский?

— Девочки! — сказала Людмила Ивановна. Поправилась, слегка покраснела: — Товарищи учащиеся!

Повертела пуговицу на блузке.

— Товарищи учащиеся, девочки! Любой власти и строю нужны просвещенные люди. Не будем заниматься политикой. Политика для мужчин. («Муж-

чин» в классе пока не было, объединенная школа еще впереди.) Вы, будущие женщины, ваше богатство — изящество, хорошее поведение, скромность и чувства. Сегодня я вам почитаю...

Она раскрыла книгу, довольно потрепанную, в переплете шоколадного цвета с прожилками.

— Иван Сергеевич Тургенев. «...Итак, это дело решенное,— промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару.— Каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви».

18

День был морозный, ветреный. Мела поземка. Колючие струи снега неслись вкось монастырских троп и дорог. Страшно нос высунуть на улицу. В школу не хотелось идти. Тем более по расписанию два первых урока алгебра и геометрия, а преподавателя математики нет, саботирует. Людмила Ивановна придет читать вместо алгебры и геометрии Тургенева. Потом в большую перемену продовольственная комиссия будет раздавать по классам кислые щи из селедки и по ломтику ржаного хлеба наполовину с овсяной, грубого помола мукой. Хлеб с колючками, кляклый, а все равно съешь жадно, почти не жуя.

«К большой перемене пойду, а почитать можно и дома»,— решила Катя и взяла с бабы-Кокиной полки недочитанную вчера Людмилой Ивановной «Первую любовь».

Баба-Кока со своим письменным столиком из красного дерева, со множеством ящичков, потаенных и явных, была погружена в занятие, не очень для нее обычное. Баба-Кока оказалась по натуре новатором, постоянно осваивала какое-то новое дело. В это утро занималась шитьем. Швейная машинка фирмы «Зингер» годы бездействовала в высоком деревянном футляре с желтой, как в позолоте, ручкой. А теперь Ксения Васильевна водрузила машинку на свой письменный столик и перевертывала и перекраивала старые платья на новые и, хотя и без практики, довольно искусно. Да еще ухитрялась приладить к месту где поясок, где оборку или бантик, таким образом, Катины туалеты были даже нарядны.

— Всякий портной на свой покрой, а мой и совсем неплохой,— хвалилась Ксения Васильевна.

Не любила она унывать. А Катю баловала, нередко нарушая наипервейшие педагогические правила. Например, вместо школы с утра расположиться на диване с книгой Тургенева — дело ли это? Конечно, не дело. Другая бабушка внушала бы внучке: долг, обязанности прежде всего; работе — время, потехе — час. И так далее.

А Ксения Васильевна поглядела в окошко, увидела снежную мглу и качающиеся от ветра кусты и не стала ничего внушать Кате.

Кстати, кроме поземки, грозящей разыграться в пургу, Ксения Васильевна увидела в окошко черную фигуру монахини, которая по всем признакам направлялась к ее, Ксении Васильевны, крыльцу. Давно уже монашенки забыли к ней дорогу; понятно, Ксения Васильевна приостановила шитье и в удивлении ждала.

Так и есть, минутой спустя раздался негромкий стук в дверь.

— Войдите! — разрешила баба-Кока.

Монахиня вошла.

Вошла не простая монахиня. Не из тех, что при старом режиме делили время между моленьями в храмах и стеганьем в кельях натянутых в пяльцы от стены до стены атласных одеял для заказчиков. Нет, пришла монахиня из начальства, правая рука и советчица игуменьи, мать-казначея. Все монастырские приходы и расходы, денежные средства, церковная драгоценная утварь: золотые кресты, усыпанные алмазами и даже бриллиантами чаши, золоченые оклады евангелий, расшитые жемчугами епитрахили — все огромные монастырские богатства состояли в ее ведении, под ее неусыпным контролем.

Вот каким важным в монастыре человеком была явившаяся к Ксении Васильевне в утренний час пожилая, степенная мать-казначея. Покрестилась на икону непоспешным крестом. Поклонилась не низким поклоном. Привыкла в сане своем не поспешничать.

А Ксения Васильевна? Спокойно, ничуть не выдавая удивления и любопытства, равнодушно принимала монахиню. Указала на стул. Молча, без слова.

Пришлось матери-казначее, не дожидаясь вопросов, начать.

— Уважаемая сударыня Ксения Васильевна, нашей смиренной монастырской обители великая до вас нужда.

— Догадываюсь. Без нужды не оказали бы чести.

— Об той великой, трудной нужде покорно прошу вас наедине поделиться, а внучке вашей...

— От внучки моей у меня нет секретов.

— По несовершеннолетию ее...

— Повторяю, секретов между нами нет. Сиди, Катя.

Мать-казначея потупила глаза, перебирая четки, видимо, колеблясь, ища выход. Не нашла.

— Вас также большевики обидели, Ксения Васильевна.

— Не будем этот вопрос обсуждать,— сдержанно возразила Ксения Васильевна.

— Одному богу молимся, веру православную одну исповедуем...

— Давайте-ка, мать-казначея, поближе к вашей нужде.

— Ну тогда... ну, коли так... прикажите — паду на колени,— вдруг каким-то поднявшимся, надрывным голосом почти заголосила мать-казначея.— До конца жизни всея святой обителью нашей молить всевышнего будем за вас, разумность и милосердие ваше, сударыня Ксения Васильевна, протяните помощи руку, господь вознаградит и внучке вашей удачи в жизни пошлет.

— ...в награду за что?

Мать-казначея оглянулась на дверь, возбужденно затеребила четки.

— Сударыня Ксения Васильевна! Вы благородного роду, вам от старого режиму вредного не было, а нынешняя власть милостью не пожалует, не для вас она, большевистская власть... Слушаюсь, слушаюсь, молчу о том, о деле буду. Зачем и пришла. Сударыня, вы у нас в обители с внучкой мирскими живете, на вас подозрение не ляжет... с обыском не нагрянут чекисты... Притесняют обитель. Какие кельи побогаче, стоят отдельными домиками, туда городских вселили. Грозятся и главный келейный корпус отобрать, слухи идут... Да я не про то... Реквизировали нас, достояния монастырские, трудом и дарами добытые, наполовину отобрали, грабеж, злодейство среди бела дня! Сказывают верные люди, снова придут, выметут все подчистую.

— Что же вам от меня требуется? — сухо спросила Ксения Васильевна.

Но Катя догадывалась, бабе-Коке понятно, что им от нее требуется. И Кате понятно.

Вкрадчивый, сладкий, молящий и в то же время с властными нотками голос журчал:

— Сударыня Ксения Васильевна, припрячьте что по силе возможности. Не дайте святую обитель по миру пустить. Времечко-то, даст бог, переменится, перетерпеть бог велит. Припрячьте, Ксения Васильевна. Христом богом молим. Нынче ночью потихоньку к вам в подпол снесем да в яму и закопаем. Иконы-то в золотых окладах с алмазами, богатство-то! Божье, монастырское. Сделаем так, никто не унюхает, все шито-крыто, Ксения Васильевна, надежа наша...

Ксения Васильевна поднялась, бледная, с темным блеском нестареющих глаз.

— Вы решились ко мне прийти?

— Сударыня, милостивица Ксения Васильевна,— тоже вставая, но суетливо, потеряв степенность, заспешила мать-казначея.— Настоятельница передать наказали, слезно просим прощения, что с трапезной-то неловко тогда получилось, без ведома игуменьи, благодетельница Ксения Васильевна. Еще приказывали доложить: незадаром, Ксения Васильевна, вашей помощи ждем. Убережем доброе, вашей милости по заслугам отпустим, жить-то надо, внучку кормить...

— Идите вон!

Баба-Кока стояла возле своего столика из красного дерева, где скомканное валялось шитье. Высокая, недоступная.

Мать-казначея как будто перевернулась: разом смыло умильность, лицо вытянулось, бледнея до зелени; пиявками кололи глаза, с дрожащих губ срывалось что-то безумное.

— Да будет проклята твоя окаянная жизнь, распутница, отступница от бога, пусть род твой истребится и имя твое, и муки адовы падут на тебя и внучку твою-у-у-у... Проклятье на вас, вся святая обитель вас проклинает!

И в этот миг, ах, могла ли Катя вообразить, чтобы в этот именно миг, когда на ее и бабушкину головы рушились проклятия монахини, открылась дверь, вкатились понизу клубы морозного пара, и в морозе и инее явилась Фрося с котомкой за плечами и увязанным в платки и одеяла... свертком, сказала бы Катя, если бы не догадывалась...

Не здороваясь, не видя никого, кроме матери-казначеи, Фрося шагнула на нее.

— Ты, святая, ты и меня так кляла,— она кивнула на сверток,— за Васеньку. Все ваше черное племя, губительницы вы, а не святые. Слышала я, на что ты подбивала Ксению Васильевну, за дверью твой голос узнала. Теперь я про тебя, святая, Советской власти все твои умышления выложу. Не смолчу, я тебя всю открою, что вражина ты. И все вы, монашки, только что без ножа, а убивцы...

Мать-казначея вдруг громко икнула, и Фрося умолкла, так это было странно и нехорошо. А мать-казначея неудержимо икала и всхлипывала. Грузные плечи тряслись. С икотой и всхлипом ушла.

— Не хватило силенок до конца продержаться,— брезгливо поморщилась Ксения Васильевна. И Фросе: — Здравствуй, милая наша!

— Катенька, Ксения Васильевна, здравствуйте!

Иней на ресницах и платке у Фроси растаял, лицо было мокрое, с еще не остывшим от мороза румянцем, но такое худенькое, как бы все истончившееся, с глубокой грустинкой во взгляде.

— Здравствуйте!

И она тихо покачала головой. И видно было, как устала она, как забили ее невзгоды и беды.

— Ну-ка, быстрее знакомь, представляй своего сыночка,— говорила Ксения Васильевна оживленно и весело, чтобы не дать Фросе заплакать, и принялась разворачивать сверток, освобождая из одеяла и платков безбровое, курносое существо, которое, почувствовав себя на воле, зашевелило ручонками, открыло глаза и широко улыбнулось.

— Рад, что к хорошим людям попал,— шепотом, с нежностью промолвила Фрося.— Сынок уродился, полгода сравнялось, Вася...

— Вася? Он Вася! — удивилась и обрадовалась Катя.

— Катя, я его Васенькой в честь брата твоего нарекла. Ты отпиши Василию Платоновичу...

Фрося говорила, говорила, говорила, торопясь и дрожа от волнения, как в лихорадке:

— Выгнали меня из дому. Пропала бы я, да бабка Степанида приютила, бобылка Степанида, вы у ней, Ксения Васильевна, в то лето избу под дачу снимали. У ней и родила сыночка. Сами с ней зыбку смастерили, а на пеленки бабы тряпок да ношеных рубах нанесли. А в крестные матери ни одна не согласна. По нынешнему времени бога упразднили, можно и не крестить, а он поспешил, до Октябрьской родился. Поп с угрозой: «Ты зачем, такая-сякая, крестить не несешь своего?..» Хотел обозвать, да споткнулся, поп все-таки, в рясе, язык-то придерживать надо... Катенька, Ксения Васильевна! Нешто маленький мой виноват, что незаконно родился? А они его бранным словом... Ну, ладно. Я попу: «Не сыщу крестных отца с матерью. Никто крестить не идет». А он мне: «Что заслужила, то и несешь. Поделом». Да как настращает! «Гляди,— говорит,— помрет твой ребятенок, сгубишь некрещеную душу, обречешь на вечные муки в геенне огненной». Как я на ногах устояла от угрозы такой! А бабка Степанида смышлена, уговорила пастуха. Пастух у нас пришлый, от села независимый. Постояли бабка с пастухом у купели...— Она замолчала. Крупная слеза покатилась по щеке, она вытерла слезу рукавом.— Ксения Васильевна, мы к вам,— робко проговорила она.— Бабка Степанида померла. Хотела я вам про свою жизнь отписать, сяду за письмо, слезьми изойду, так и кину, не кончу. Боязно нам с Васенькой в пустой избе, да и ветхая, вот-вот потолок обвалится. Нынче по новым порядкам нас, чай, не погонят отсюда? Может, я Советской власти сгожусь, а? Ксения Васильевна?

— Сгодишься,— ответила Ксения Васильевна таким спокойно-уверенным тоном, как если бы выступала полномочным представителем самого Совнаркома.— Ты и твой мальчонка Советской власти не пасынки, а родные дети... Ну, давайте чаевничать. Для дорогих гостей у меня чайку и сахару хоть и небогато, а в запасе ведется. Я старуха экономная, научили большевики экономить. Катя, ставь самовар.

(Продолжение следует)

Василий Казанцев





✪

Струится быстрая вода,
Вздымается волной.
Горит высокая звезда
Над льющейся водой.
Шуршанье хвои, плеск осин.
Дыханье трав густых.
Не знает только он один,
Что нет его в живых.
Бежит окраиной леска.
Гремит жестокий бой.
В глазах — далекая река,
Избушка над рекой.
Готова дни и ночи ждать,
На берегу стоит.
В избушке той старушка мать,
Одна, в окно глядит.

✪

Сухой усыпанная хвоей,
В траве не видная почти,
Тропинка тянется, по коей
Мне, молчаливому, брести.
В густые чащи углубиться,
В пути извилистом устать.
Целебной влагой укрепиться.
С земли помолодевшим встать.
Глухие чащи — позабыть.
В просвет вершинный окунуться,
В мечтах надоблачных побыть.
К поляне солнечной вернуться.
Ее до смерти полюбить.

✪

Средь света и весны
В бездумном упоенье
Летит из-за стены
Чуть слышимое пенье.
То девочка поет,
Ребенок малолетний.
Поет — как будто пьет
Из речки в полдень летний.
Дрожит текучий блик,
И паутина липнет,
И льется звук... На миг
Передохнет — как всхлипнет.
И весь огромный дом,
Внимая молчаливо,
Как бы забылся сном.
Его томит счастливо
Не ломкий голосок,
Не детское старанье —
Восторга всхлип-глоток,
Короткое дыханье.

Тракторист

Бегут над дорогой вдали провода.
Стоит березняк полукругом.
И черная льется — без плеска — вода,
Чуть набок склоняясь, за плугом.
Просторное небо стоит в вышине...
И луч, налетающий косо,
Скользит, изгибаясь, по черной волне.
И ширится, ширится плесо.
Все дальше уходит лоснистая гладь.
Все поле собой затопила.
И солнце устало на небе сиять.
И светлая ночь подступила.
У края мерцающей встал борозды.
Незрячесть усталого взгляда...
От рыхлой земли, как от тихой воды,
В лицо его веет прохлада.

✪

Холодок ночной в низине,
Свежий след по кошенине,
Быстрый — косо — взгляд коня,
Как вы там, за далью, ныне —
В новом лете — без меня!
Кто теперь там косу точит,
В калужине ноги мочит,
Колким сеном хробостит,
Дом родной покинуть хочет,
В небо белое глядит!..

✪

Я их пилил. На снег валил.
Терзал зубцами стали.
Но — шелестят! Как будто пил
Вовеки не видали.
Я их рубил, колол, на сто
Частей, кусков дробил их.
Но светят млечно, и никто
Как будто не рубил их!
В огне их жег... С ветрами в лад
В прохладной вешней прели
Прекрасноствольные шумят,
Как будто не горели.
Свои в недальнем горьком дне
Не вспоминают муки.
С горы, смеясь, навстречу мне
Бегут, раскинув руки.

✪

Дыханье внезапное мая
Волной налетает густой.
Несет, над землей подымая.
На берег возносит крутой.
Зову, окликаю, тоскую.
Сквозь дальние годы смотрю.
Заря настигает другую.
Заря переходит в зарю.

И стоит позабыть тебя на миг,
чтоб тотчас облин твой вдали возник.
Зачем же он — почти неразличим —
лицом обертывается чужим!

Не жалуясь, но все-тани скорбя,
спохватываюсь я, что нет тебя
со мною по утрам и вечерам,
и это горше всех моих утрат...

Тан и живу — чуть-чуть не в полусне:
ты снова не даешь покоя мне...
Не это ль с сотворения земли
любовью звали и за нею шли!

Ирина Снегова



Полустанки

И побегут полустанни,
Только мельннет штунатурна,
Холм да — бетон в серебрянке —
Крашеные фигурки.

Братской могилки ограда,
Будто метнулась, и — нету,
Но уже вынесло кряду
Эту, и эту, и эту.

Смутны на зимней равнине,
Тени их поезду машут...
Кан вам там спится под ними,
Бедные мальчини наши!

Здесь хоть свистки да гуденье,
А на безлюдье, кан в жмурни,
Кружатся в белой метели
Крашеные фигурки.

Кормушка

Веселая кормушка
Качается в лесу,
Не нищенсная кружка —
Пирушна на весу.

Веселая кормушка,
Ей любо, ей не лень,
Ей, видно, тан и нужно
Качаться целый день,

Чтоб жданный и нежданный
Стучал в ее ладонь —
И громкий, красноштанный,
И тихий, нан огонь,

Чтоб взмыла и померкла,
Осыпавшись в снега,
Звенящим фейерверком
Синичья мелюзга.

Чтоб там, в еловых патлах,
Кан самосвал тяжел,
На пир зеленых дятлов
Зеленый дятел вел;

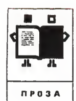
Чтоб стольно и лолстолько,
Чтоб писн, сорочий гром,
Чтоб розовая сойна
С лазоревым пером;

Чтоб поползень, с дельфиньей
Улыбкой, и снегирь...
Чтоб снег был очень синий
И очень белой ширь;

Кан будто день — награда,
Как будто снят понров,
Кан будто все нак надо
В сем лучшем из миров.

Верея

Верея, Верея,
Улица резная.
Вяжет вязь колея.
И — как сроду, знаю.
Сплошь в снегу Верея,
В чистом, без помарок...
Верея, будто я,
Вся — тебе в подарок.
Это миг или век,
Завершен иль начат!
Стук машин, санон бег!
Милуют иль плачут!
Верея, Верея,
В белом — нан венчалась...
Где! Когда!.. Жизнь моя
Вся перемешалась.
С колоколен ли стон,
Звон дымов из печек...
Синь овраг, розов снлон —
Сумерки не вечер.
Верея — крутизна
Над рекой Протвою,
Кан из детского сна,
Блеснет над головою,
В дальней черни леса —
Где-то да когда-то...
Да звезда, как слеза,
В зелени заката...
Вот и вся Верея,
Ах, накая жалость!..
Верея... Жизнь моя
Вся перемешалась.



Мария ПРИЛЕЖАЕВА

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА МАЯ

ПОВЕСТЬ

Часть вторая

В ДОРОГУ

19

Сельцо Иваньково сорок верст от города, двенадцать от разъезда. Дальний поезд мимо разъезда проходит без остановки. На товаро-пассажирский надежда плохая: вагоны забиты, люди стоят на площадках, виснут на подножках, лежат и сидят на крышах. Горожане едут в деревни менять одежду и всякую домашнюю утварь на хлеб.

В товаро-пассажирский не втиснешься, и пробовать нечего. Оставалось караулить в базарный день попутную подводу. Тоже непросто: на базар в страдную пору из деревень приезжают мало: покосы, жнитво, молотьба. Однако карауль, другого выхода нет.

Полгода назад Катя не подозревала о существовании сельца Иванькова. Какое полгода! Всего месяц и услыхала о нем, а теперь, что бы ни делала, чем ни была занята, из головы не уходит мысль об Иванькове.

Они отправятся туда с бабой-Кокой, когда подстерегут на базаре подводу. Приказ унаробраза подписан, Катина судьба решена.

Как ни удивительно, главную роль в ее судьбе сыграла Людмила Ивановна.

Многое изменилось в судьбе и самой Людмилы Ивановны с того дня, когда она пришла в класс читать Тургенева вместо урока учителя физики, который, как и некоторые его коллеги, недовольные Советской властью, объявил саботаж. Людмила Ивановна саботаж не объявляла. Не могла она бросить своих гимназисток, которые после революции назывались «товарищи учащиеся». Не могла разлюбить двухэтажное белое здание бывшей гимназии, а ныне единой трудовой школы II ступени, длинные коридоры, классы, звонки, шумную толкотню перемен и различные события, которыми всегда полна школьная жизнь, а сейчас уж тем паче.

Необыкновенное событие произошло в один прекрасный день: Людмилу Ивановну вызвали в отдел народного образования.

Она и раньше трепетала перед начальством — при встрече с пухлой начальницей гимназии вся обмирала — и тут пошла в гороно, трепеща, ожидая разноса неизвестно за что.

А там вместо разноса:

— Вы честно работаете в советской школе, товарищ, мы вам доверяем, а потому получайте командировку, чтобы глубже усвоить направление нашей политики.

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Продолжение. Начало см. № 2 за 1975 год.

И послали на трехмесячные курсы по переподготовке учителей. Наверное, не бывало на свете курсанта усердней Людмилы Ивановны! Она схватывала на занятиях каждое слово. До поздней ночи, не подняв головы, выучивала брошюры и лекционные записи и после трех месяцев неистовой, исступленной учебы вернулась в единую трудовую другим человеком. Вернулась учительницей литературы. Подготовленной, правда, наскоро, но воодушевленной, на крыльях. Бывшая классная дама, последнее лицо в гимназии, ниже ее разве швейцар да уборщицы, ей и за учительским столиком в классе не полагалось сидеть — сиди у стены, блюди дисциплину на чужих уроках. И вдруг...

Год за годом Людмила Ивановна довела класс до выпуска. В ее выпуске было шестеро мальчишек, появившихся в классе осенью восемнадцатого, когда, согласно декрету, женскую гимназию объединили с мужской и городским ремесленным училищем. Мальчишек Людмила Ивановна сторонилась, мальчишеская психология была ей чужда. Девочки ближе, даже нынешние девочки, вступавшие в новую, еще не вполне понятную Людмиле Ивановне жизнь.

Раньше просто: для большинства один путь — кончила гимназию, жди жениха. А нынче в вестибюле и классах плакаты и лозунги. Призывают ненавидеть богачей, с мировой буржуазией беспощадно бороться, дружными рядами идти в социализм. А один лозунг едва не аршинными буквами словно вколачивал гвозди: «Кто не работает, тот не ест».

Снова Людмилу Ивановну вызвали к начальству, теперь в унаробраз, что значит, если перевести на нормальный русский язык, уездный отдел народного образования.

Снова страх: зачем? Для чего?

Зав. унаробразом, женщина средних лет, в солдатской гимнастерке и красной косынке, чадя из самокрутки махоркой, занятая по горло — звонил телефон, входила секретарша с бумагами,— зав. унаробразом, бегло их пробежав, размашисто, без долгих раздумий подписывала, а между тем, хрипло покашливая от табачного дыма, излагала Людмиле Ивановне суть дела.

— На школьном фронте в нашем уезде кризис. Видите карту уезда? Черные точки видите? Недействующие школы. Стоят на замке. Нет учителей. Сельская ребятня без учебы. И это, когда товарищ Ленин на Третьем съезде комсомола призвал молодое поколение учиться! А мы? Белых гадов раздавили, интервентов отшвырнули почти отовсюду, конец войны видится, товарищ Ленин призывает к коммунизму и учиться, учиться, а у нас пол-уезда неграмотных. Позор! Делаем вывод: нужны учителя для села. Незамедлительно. Срочно. К концу уборки чтобы были на местах. Называйте, кто из девчат в вашем выпуске... Дур не надо. Давайте смышленых. Безусловно советских.

Людмилу Ивановну кинуло в жар и холод от такой сложной задачи, поставленной без обиняков, напрямик! Такой безумной ответственности! Запинаясь, она стала называть своих девочек, стараясь каждую обрисовать всесторонне, ужасно боясь ошибиться. Эта с характером, не полюбится, пожалуй, детишкам... У этой развитие не то.

— Развитие не то! А вы где были? — стукнула кулаком по столу зав. унаробразом.— Э-э, может, вы их от трудового фронта скрываете?

— Да разве я посмею, товарищ заведующая?

— Так неужто ни одной бесспорной не вырастили?

Людмила Ивановна среди первых назвала Катю Бектышеву.

Так на Катином горизонте явилось сельцо Иваньково, в сорока верстах от города, в глубинке уезда.

«Учили бесплатно? Обедами в школе кормили? Постный суп из селедки да половешка непомасленной чечевичной размазни, сыт не будешь, но и ног не протянешь, и за то спасибо по нынешнему тяжелому времени. Обязана отблагодарить народную власть? Долг народу отдаешь, не милость оказываешь». В таком духе поговорили с Катей в уездном отделе народного образования.

Правда, не встретив просьб и отказов, помягчели, напутствовали ласково. «Товарищ Бектышева, вы молодая смена, на вас опирается партия в деле просвещения народных масс, освобожденных от власти капитала и гнета царизма».

Единая трудовая позади. За годы учения Катя и баба-Кока изголодались, обносились донельзя, почти до нитки распродали имущество. Письменный столик бабы-Коки из красного дерева с потайными ящичками, манящие толстые книги в академически строгих и цветных переплетах, диван, пуховое одеяло, перина, даже икона в золоченом окладе — все за три с лишним года уплыло в обмен на картошку, крупу и караваи хлеба.

Только две вещи берегла баба-Кока пуще глаза: швейную машину и шкатулку с нарисованной по черному лаку несущейся тройкой, распустившей по ветру гривы.

В шкатулке хранились письма любимых. Последним был тот нестарый, почти молодой ученый, рассеянный, весь ушедший в науку, вместе с которым Ксения Васильевна увозила Фросю из Медян.

Все реже открывалась шкатулка. Реже перечитывала письма Ксения Васильевна. И весь тот день была молчалива.

Стала она вообще молчаливее. Убавилось прежней уверенности в Ксении Васильевне, и той спокойной важности нет. Она скучала о многих милых привычках, отнятых суровыми обстоятельствами жизни. О медном кофейнике, бархатном кресле с высокой спинкой, в котором любила отдохнуть. За день натопаешься в очередях, настоишься у керосинки, и как приятно утонуть в мягком кресле, привычно потянуться за книгой и, еще не начав чтение, еще с прикрытыми глазами, посидеть, отдыхая, а уже хорошо на душе! Хорошо, что от кафельной печки тянет теплом. Что не ломит поясницу, не слепнут глаза. Что есть Катя...

Ксения Васильевна не признавалась, как страшит ее сельцо Иваньково. Чужое, закинутое куда-то на край уезда. Темень осенних ночей. Зимние вьюги, вой ветра в трубе. Может быть, волчий вой... Нет! Она не отпустит Катю одну. Нет, нет! Но на сердце скребло. Слишком круто поворачивалась жизнь. С прошлым порывалась последняя нить — Ксения Васильевна оставляла свой кров. И что же оказывается? Эта сводчатая келья ей дорога. Особенно с тех пор, как приехала Катя, вернее, Ксения Васильевна сама ее привезла, еще не зная, что из этого выйдет...

Сюда привезла и несчастную Фросю.

Видно, пришла к Ксении Васильевне полная старость, воспоминания беспрестанно ведут ее в прошлое, а ведь это знак старости. Обрывки давних дней стоят в глазах, волнуют душу когда-то пережитые чувства.

Да, Фрося... Униженная, нищая, прибежала с ребенком:

— Ксения Васильевна, примите!

Пережитые унижения долго не отходили, не отпускали обиды. Баюкая Васеньку, тихонько, как старушка, раскачиваясь взад-вперед, Фрося долго позабыть не могла постылые Медяны.

— Ой, лихо мне было! Ой, Катенька, Ксения Васильевна, лихо! Дивлюсь, как не померла. Бить не били, разве невестка науськает братчика под пьяную руку, а срамили, бесчестили на все село. Бабы сойдутся под окошком и слушают, а мне позоренье ихнее хуже смерти. Кабы не маленький, утопилась бы в озере, там и тятя с мамой могилу нашли, и лежала бы с ними под илом...

Через несколько месяцев Фросе дали ордер в особняк купцов Гириных. Октябрьская революция реквизировала особняк. На то и Советская власть, чтобы из дворцов богатеев вон!

Понаставили перегородок в купеческих комнатах, поделили на клетки. Теснота в особняке! На общей кухне у плиты с утра до ночи споры и очереди сварить похлебку или вскипятить воды; в коридоре и на барских верандах играют, дерутся золотушные ребятишки, гам, шум. Но, хотя Фросе с Васенькой отвели в особняке всего лишь чулан с крохотным оконцем под потолком,— это был ее дом. Впервые у Фроси был свой дом, она в нем хозяйка, никто ее здесь тронуть не смел.

Ксении Васильевне не нравился Фросин дом. Теснота, за перегородкой галдеж, окошечко крохотное, высоко, неба не увидишь.

Уезжая в Иваньково, она решила переселить Фросю в свою келью — апартаменты по сравнению с чуланом!

Еще таилась у Ксении Васильевны осторожная мысль: если придется из деревни вернуться, где приютишься? Фрося пустит, как когда-то Ксения Васильевна пустила ее.

Но хитрая комбинация такая не получалась по советским законам. Давно келья не была собственностью Ксении Васильевны и вообще перестала быть кельей. Не было больше ни келий, ни келейного корпуса. Была взятая на учет горсоветом жилплощадь.

«Успенский Девичий Первоклассный монастырь» закончил почти трехсотлетнее свое существование.

К ликвидации монастыря Ксения Васильевна отнеслась без сожалений. А на горсовет рассердилась.

— У трудящейся гражданки Ефросинии Евстигнеевой есть угол,— сказали ей,— другие и угла не имеют, надо тех в первую очередь обеспечить жилплощадью.

Ксения Васильевна не согласилась с Советской властью в зтом вопросе. Где зто видано, чтобы угол считался устройством?

А слово «жилплощадь» прямо-таки возмущало ее.

— Все перекраивают, надо не надо. Есть людские названия: квартира, комната. И называли бы так! Нет, изобрели словечко «жилплощадь». Не уродство ли? Только бы новшества!

Были, впрочем, новшества, к которым Ксения Васильевна относилась с сочувствием. Например, детская консультация «Капля молока». Такое гуманное новшество с трогательным названием, конечно, одобряла Ксения Васильевна. А Фрося заливалась слезами.

— О моем Васеньке кто бы позаботился так! Нищими стали в Медянах. Хозяйство у бабки Степаниды порушилось, корова пала, и дошли до сумы. Кусками только и жили. Бабка Степанида пойдет христарадничать и нас возьмет просить под окошком, с маленьким-то на руках больше жалеют. Ксения Васильевна, Катя, а стыдно!..

— Что было, то прошло,— строго останавливала Ксения Васильевна.— Довольно себя жалеть, нажалелась, за дело приниматься пора.

В горсовете подыскали для Фроси подходящее дело: определили работать в «Капле молока» стряпухой.

20

Жнитво кончилось. Копали картошку. На гумнах молотили свежую рожь. Обозы, правда, недлинные — уезд не сильно был хлебороден,— свозили в назначенные места зерно по продналогу. Подводы тесно заставили базарную площадь. Пока мужики управлялись со сдачей зерна, лошади хрупали сено, отмахиваясь хвостами от кусачих осенних мух. Город пропах деревенскими запахами, обещавшими хлеб. Но норма по карточкам оставалась ничтожной — четверть фунта на человека.

...В хлебных местах, по всему Поволжью, с первого дня весны и до осени не выпадало дождей. За все лето ни тучки на выцветшем небе. Почва закаменела. Трещины глубиной в аршин изрезали твердую, как гранит, неживую, белесую землю. Листья увяли, травы высохли. На сотни верст выжженные солнцем поля. Голод. Безнадежный, неслыханный. Смерть.

В счастливых губерниях, не пораженных засухой, деревни понемногу оправлялись после пятилетней войны и разверстки, выметавшей хлеб и все продукты подчистую для фронта и города. Разверстку отменили — оживали деревни.

Как весело видеть выезжающие из сел обозы с красным флажком на переднем возу, подводы, нагруженные тугими мешками с рожью; весело слышать сухой шорох зерна, струящегося в сусеки амбаров,— излишек, оставленный по закону на житье, на довольство: как весело было бы!.. Но перед глазами, казня и мучая, стоит образ Поволжья. Но на вокзалах снимают с поездов обтянутые кожей скелеты изможденных людей, тронувшихся из вымороченых мест за куском хлеба неизвестно куда... Но в газетах, как набат: «На помощь, товарищи! Миллионы едят глину вместо хлеба. Погибают каждый день, каждый час. А впереди еще осень, зима и весна. Товарищи, на помощь, на помощь!»

...В конце сентября Кате дали знать: завтра чуть свет будет оказия.

Все лето ждала, а пришел день — и налетел такой страх, руки дрожат, вещи валятся из рук. Вот так трусиха!

Каждый день прибегала Фрося провожать. Суетилась без толку, собирала вещи, примеряла, как увяжется в узел постель. Глаза распухли от слез. Ксения Васильевна, чтобы заглушить беспокойство, томившее, чем дальше, все больше, отчитывала Фросю:

— Заливается! Словно в Америку провожает. Уйми слезы. Не на век расстаемся, увидимся. «Капля молока» Васеньке не даст умереть, и ты кое-как в стряпухах прокормишься. А у нас с Катей другого выхода нет...

Ксения Васильевна не договорила, что она, старая Катина бабушка, устала от нужды, очередей, добывания правдами и неправдами десятка картофелин и фунта крупы. У них с Катей ничего нет, решительно ничего, все распродали, выменяли, и как дальше бороться, как жить? Хоть ложись и умирай.

Вслух Ксения Васильевна не произносила такие невеселые речи: жалела Катю. Худенькая, как прутик, Катя замкнулась. Значит, нелегко на душе. О чем она думает?

«Я еду поневоле в деревню. Баба-Кока в городе не выдержит больше. Но я не хочу только спасаться. Я еду в деревню, потому что должна платить долг. И хочу испытать, сильная я или нет. На что я способна? А вдруг что-то большое, яркое ждет меня? Но что? Все мечты. Жизнь — бедные будни. Мне

надо зарабатывать на хлеб. Я должна кормить бабу-Коку, пришла моя очередь. Я должна и поэтому еду в сельцо Иваньково...»

Так рассуждала Катя, реально и трезво, без романтических грез.

Утром к крыльцу подъехала телега, запряженная жеребцом, тяжелым, широкозадым, рыжей масти, с белой метиной на лбу и черной бахромой над копытами.

Ксения Васильевна и Катя ожидали, готовые в путь. И Фрося с Васенькой здесь.

На этот раз в самом деле проводы, никуда не денешься. И Фрося лихорадочно прижимала сынишку к груди, а Катя понимала, как грустно Фросе их провожать.

Послышались быстрые шаги по ступенькам, и решительным шагом вошел человек лет тридцати пяти, сероглазый, русоволосый, простецкой, ничем не выдающейся внешности. Синяя косоворотка на нем вся слинявшая, пиджак мышиного цвета засален и вытерт, зато брюки галифе военного образца и начищенные сапоги, резко пахнущие дегтем, придавали ему молодцеватый вид.

— Здравствуйте, хозяюшки! Сюда ли попал?

— Если вам нужна учительница Екатерина Платоновна Бектышева, значит, сюда,— ответила Ксения Васильевна.

— Она и нужна. Будем знакомы: иваньковский председсовета Петр Игнатьич Смородин. Войну с четырнадцатого года прошел, с германцами воевал, опять же с беляками в гражданскую. Год тому отозвали на трудовой фронт. Мирную жизнь налаживать надо, сама не наладится. Стало быть, так. Будем знакомы.

Он протянул Ксении Васильевне руку. Кате и Фросе бегло кивнул.

— Садитесь,— предложила Ксения Васильевна.

— И то сяду,— согласился он, опускаясь на единственный в комнате стул.— Совещание было в укоме по вопросам налога, а в отделе образования заодно бумагу с печатью вручили. Учительница в сельцо к нам назначена. Ждали-ждали, дождались. Раздобыл учительницу, от души отлегло. Иваньковская ребятня две зимы проболталась без школы. По революционному времени вроде бы и неловко в темноте прозябать, а что будешь делать? Наш-то добровольцем на гражданку ушел. По годам и уклониться бы можно, а совесть прятаться не велит. Школка Иваньковская при царском режиме церковноприходской была, поп командовал, наш Тихон Андреич за себя постоять не больно умел, в полном у попа подчинении. А тут будто подменили, откуда храбрость взялась! Вот как революционные идеи человека могут возвысить. Стало быть, Катерина Платоновна...

— Собственно, я...— хотела перебить баба-Кока.

— Стало быть, без лишних слов, вы хоть и старорежимные против учителя нашего, и он был в годах, а вы и вовсе ему в мамаши годитесь, однако грамотности, по всему видно, не занимать, а нам чего и надо... Одна запятая...

Председсовета оглядел келью, узкие окна с широченными подоконниками, сводчатый шатер потолка.

Медленно погладил усы.

— Запятая, гм... да... Договориться надо на первой встрече, чтобы после конфликта не вышло. Монастырский дух нам нежелателен. Божественное прочь, наотрез. Такие наши условия, Катерина Платоновна.

— Послушайте, вы ошибаетесь...

— Очень даже прекрасно, если ошибся. Условились, стало быть, так: жизня наша в корне переменилась на новое. Главное дело, с Советской властью держать нерушимый контакт. Я вам затем объясняю, что в ваших летах пережитки прошлого, Катерина Платоновна...

Тут Катя встала. Она неслышно сидела в уголке. На месте ее уютного дивана теперь за отсутствием мебели водружен круглый чурбашек, накрытый пестрой тряпицей,— на этом чурбашке она и сидела, пока председсовета высказывался. Она встала для самой себя неожиданно. Что-то подняло ее. Баба-Кока увидела: бледна, губы вздрагивают, кулаки сжаты для смелости.

— Я Катерина Платоновна.

Председатель опешил. Оцепенение нашло на него. Не веря глазам, глядел на тоненькую девчонку, сердито насупленную, с двумя упавшими на плечи косичками. Короткие толстые косички на концах завивались в колечки.

— Я Катерина Платоновна.

Он молчал.

— Если я вам не гожусь, давайте бумагу, разорву — и кончен разговор.

Председатель молчал.

— Давайте вашу бумагу.

— Не моя бумага. Бумага не простая, с печатью.

— Пусть с печатью. Если я вам не гожусь...

— Гм. Наверно, и семнадцати нет?

— Скоро исполнится.

Председатель медленно гладил большим пальцем влево и вправо усы и мысленно обсуждал ситуацию: «Влип. Одна стара, вся в пережитках, но пережитки возьмем под контроль, справимся, зато образованность за версту видно. Другая... О чем говорить! Пигалица, длинноногая цапля, что еще в ней? Удружили в наробразе, спихнули с рук, им и горюшка мало».

— Ты хоть грамоту-то знаешь? — угрюмя брови, спросил он.

— Школу второй ступени окончила.

— Ну, а с ребятишками можешь... как это... если сказать по-научному, про педагогику чуток понимаешь?

Катя не ответила, а Ксения Васильевна, слушавшая его вопросы, то бледнея, то зло вспыхивая, вдруг превратилась в прежнюю гордую, даже надменную даму.

— Вам, представителю Советской власти, следует знать, что учительнице не тыкают, если хотят, чтобы ученики ее уважали. И еще доложу, едем мы к вам с нелегким сердцем, а вы чем бы встретить приветливо...

— И вы к нам в сельцо? — оживился он.

— Я бабушка Екатерины Платоновны и, конечно, ее не покину, тем более в таких трудных обстоятельствах.

— Каких-таких обстоятельствах?! Надумают еще обстоятельства! — Он вскочил.— Посидели, обычай справили, время трогаться. Сорок верст — дорога немалая. Имущество ваше все тут?

Он легко подхватил корзину и узел с постелью, задержался, еще раз испытующе взглянул на девчонку с очень уж строгим взглядом из-под сердитых бровей и двумя короткими толстыми косичками на плечах. Из-за этих косичек она казалась совершенной, совершенной девчонкой. Вздохнул. Ладно, хоть бабушка с ней.

Уложил вещи в задок телеги. Подбил сено. Вынесли стул — подсадить Ксению Васильевну. Катя без стула забралась.

— Но-о, Лыцарь! — тронул Петр Игнатьевич.

Катя и баба-Кока, прощаясь, замахали платками. Фрося за руку с Васенькой печально стояла на крыльце.

Слезы застилали Кате глаза, она видела всех, как сквозь туман.

21

Где-то горели леса. Сухой ветер налетал рывками, неся едкий запах гари. Сизая мгла завесила небо. Изредка сквозь мглу неясно выступал блекло-желтый круг солнца и снова тонул в серой пелене. Жаром дышало небо. Даже в лесу было душно. Облака сизого дыма, прилетавшего с ветром, висли между деревьями, цепляясь за ветки. Тревога сосет сердце от этой дымной мглы, угарного ветра и зноя. А ведь осень, конец сентября.

— От засухи горим,— сказал председатель.

Пошевелил вожжами. Жеребец легко шел укатанной дорогой среди сжатых полей. Позади телеги клубилась белая туча пыли.

— Нам сейчас засуха не гибель, с весны дожди прошли да и летом в норме выпали,— сказал председатель.— А в Поволжье беда. Страх, какая беда! — Он обернулся к примолкшим спутницам.— Народу повымерло, ужасть! Стариков косой косит. И среднее население. А дальше еще похуже, от зимы милости не жди, мужика лето кормит. Ребятишек больно уж жалко. В газете почитаешь, волосы дыбом...

— У вас дети есть? — спросила Ксения Васильевна.

— Троица. Старший нынче в школу пойдет, науки изучать у Катерины Платоновны.

Он с любопытством покосился на Катю. Тут бы ей и вступить в разговор и войти в отношения, во всяком случае, как-то себя с положительной стороны показать, а она отвела глаза и сдержанно ответила:

— Наверное, не ваш один придет в школу.

— Гм! — неопределенно хмыкнул председатель. И подумал: «Не ловчит».

Он одобрял, что она не ловчит. Вообще председателю нравилось, что везет в Иваньковскую школу бабушку с внучкой. Не просто учительницу, положительную, в возрасте, как ожидал, как в других школах, а именно внучку с бабушкой. Причем бабушка, неспешная и важная, с высоко поднятой головой и темными невылинявшими глазами, особенно пришлась ему по душе. Жаль, что учительницей едет не она, а девчонка. Но он надеялся, что такая культурная, по всему видно, разумная бабка не даст девчонке сплоховать. Словом, предсельсовета считал себя в выигрыше.

— Но-о, Лыцарь! — подхлестнул вожжой жеребца. И так как пассажирки помалкивали, что Петру Игнатьевичу было понятно — перелом судьбы, переживания, живые же люди! — беседу вел он. Не с каждым он так откровенно при первом знакомстве делился заботами своей нелегкой председательской жизни. Но Ксения Васильевна расположила его. Слушает хорошо. Участливо, а без жалости. С большим интересом слушает!

Что касается учительницы, ее коротенькие косички на плечах мешали Петру Игнатьевичу отнестись к ней всерьез. После, может, привыкнет, а пока, беседуя, обращался исключительно к Ксении Васильевне.

— Командировали, значит, из армии на трудовой фронт, как нужда подсказала. Спасибо не на чужбину — на родину. Иваньковскую землю деды и прадеды пахали, здесь каждая межа и овражек знакомы, и пришло, значит, время налаживать жизнь. А она вся в разрухе. Хлеба недосыта, о прочем и говорить не приходится. Оборвалась деревня, голая, босая. Да разве об одежонке горюем! Инвентарь износился, вот нужда так нужда. Без плуга-то ступай попаши. Опять же колесам позарез нужен деготь для смазки. А его нет. Вы не судите, что у меня сапоги солнцем сияют. Авторитет требует. Председателю без авторитета нельзя. Ну, урвешь чуток дегтю от



своей же телеги... А главное, что декретом ВЦИК 21 марта 1921 года Советская власть перевела деревню на налог. Чтобы народ обеспечить и государство поднять. Так товарищ Ленин на Десятом партийном съезде высказывался. Да что объяснять, небось, в газетах читали, знаете... Кто не знает! Заграница, и та подивилась. Дивись не дивись, а жизнь свое берет н доказывает. Стало быть, до сей поры мы к задачам войны приноравливалнсь. А теперь надо приноравливаться к задачам мирного времени. Верно Ленин подметил? На все сто процентов! На то он н Ленин, вождь революционного класса. Есть у товарища Владимира Ильича поперечники, речисты, только языками супротив дела спешат. Настоящий большевнк не за теми, за товарнщем Лениным следует... Теперь что же выходит? Опять же новая на деревню нагрузка в смысле изменения полнтики. Приноравливайся, Петр Игнатьич Смородин! Крутн головой, как по справедлнвости на крестьянские дворы налог разложить. Не один Смороднн мозгамн раскидывает. Партнйная ячейка и сельсовет целиком в это дело ушли, а ты все от заботы ночами не спишь... Опять же круговую ответственность закон отменил. Это как понимать? Так и понимай, что каждый крестьянин за себя отвечает, а ты, ежели ты Советская власть на селе, гляди в оба, чтоб государству сполна обеспечить налог, утечки чтоб не было. А не в каждом до конца созрела сознательность. Эх, молодо наше государство, делов-то, делов-то! Только бы покрепче на ноги стать, а тут напасть — половина губерний пропадает от голода. Задумаешься. Головой вроде все усвоил, а на практике не все как по маслу.

— Петр Игнатьевнч! — сказала Ксения Васильевна.— На вас, я поняла, лежит большое государственное дело, и мы с Катей... Катериной Платоновной хотели бы помочь, но не умеем, горожанкн, далеки от деревни. Но мы обещаем, за школу не беспокойтесь, да, Катя?

...А по сторонам дороги, то близко, то отступя к горизонту, светясь сквозь мглистую дымку оранжевым светом, стояли леса. В торжественной осенней красе стояли леса. Черные жирные полосы пара перемежаются бархатной зеленью озими. Белеют высушенные солнцем, высеченные дождником стерни. Пестрое стадо мирно пасется на выгоне. И жарко горят, огненнымн кострамн пылают под окнами встречных деревенек рябины...

Русская деревенская осень! Даже когда дали завешены дымной мглой далекнх пожаров, как полна ты очарования и прелестн!

Телегу и на ровной дороге трясло, на ухабах н вовсе подкидывало. Катя с беспокойством видела: баба-Кока устала, а в лице умиротворенность, и, кажется, даже морщины разгладнлись.

— Но-о, Лыцарь!

До сельца Иванькова добралнсь поздней ночью. Смутно виднелись темные нзбы. Улнца была широка, и деревня казалась пустынной, будто покинутой. Ни огонька.

К ночи мгла рассеялась нли пожары осталнсь в стороне — в черном бездонном небе светнлись звезды. Отчетливо опрокинулся ковш Большой Медведицы. Серебряной пылью рассыпался Млечный Путь. Царственное небо выснлось над ночным сельцом Иванькою. И тншина.

Впрочем, нет. Где-то во дворе брехнула собака. Как по сигналу, нз десятков дворов хрнплым н заливчатым лаем отозвалнсь разбуженные колесами псы. Ночь ожнла. Но нигде не засветилось окошко. Избы по-прежнему стояли темно и безмолвно.

Посредине села в темноте белела церковь. Против церкви, чуть поодаль, также среди улицы, дом под железной крышей. Петр Игнатьевнч остановил жеребца возле этого дома. Одиноко, по-сиротски глядел он, без двора на задах для скотины, как у всех изб; без кустов сирени или акацни в палисаднике, только у крыльца как-то нелепо н странно, высоко вверх вытянулась длинная тонкая береза с голым стволом и пучком ветвей на макушке.

Школа. Одна-одинешенька посреди широкой улицы, вдалеке от жилья.

Петр Игнатьевич отпер замок на дверн, взял с телеги пожитки.

— Входите.

Они вошли в сени. Не видно ни зги. Петр Игнатьевич чиркнул спичкой. На секунду осветились бревенчатые стены, щербатый некрашеный пол. Спичка погасла. Темнота стала черней.

— Шагайте, не робейте, не спотыкнетесь. Давайте-ка руку.

Петр Игнатьевич взял за руку Ксению Васильевну, она Катю, и так на ощупь, шаря ногами половицы, они вошлн в какое-то другое помещение.

— Кухня,— сказал Петр Игнатьевич,— а по ту сторону сеней класс, завтра осмотрите. Тут в кухне русская печка. Натопишь — жарища. Нынче наверняка-то не ждали, не топлено. Из кухни в комнату ход.

Он ввел их в продолговатую комнату. Здесь было светлее от звезд. В три окна вдоль стены глядело звездное небо. Стены и здесь бревенчатые. Один угол занимала голландская печка.

— Стало быть, так, здесь будете жить,— сказал Петр Игнатьевич.— Кровать одна. Учительнмцу одну ждали, узка, однако, будет для двоих. Нынче ночь перебьетесь, а завтра дам команду, топчан смастерят, железной кровати другой по всей деревне не сыщешь, н эту у попа реквизировали. На топчане тоже неплохо, сенник свежим сеном набьете, как хорошо! Поужннать запаслнсь? Вода на кухне. Дай-ка, проверю, есть ли вода.

Он быстро вышел, что-то повалилось, загремело за стенкой; он тотчас вернулся.

— Цельное ведро. Вода у нас колодезная, считай, ключевая. Авдотья — толковая деваха, хвалю — запаслась. Вот так. Чем богаты. Крыс в школе нет, не пужайтесь. И мышам поживнться нечем. Так что прощевайте, спокойного сна.

Он ушел, стуча сапогамн.

— Но-о, Лыцарь! — послышалось с улицы.

— Катя! — позвала Ксення Васнльевна.— Давай устраиваться, Катя. Господи, что же это?..

У нее сорвался голос. Катя в потемках шагнула, ощупью нашла бабу-Коку, уткнулась в плечо.

— Баба-Кока, что это, что это? Темно, холодно, жутко. Всё чужое. А еслн бы вас не было? Еслн бы я одна?.. Не умею жнть, не могу, не умею. Баба-Кока, зачем мы прнехали сюда? В какое-то чужое, далекое место! Бросилн нас, ннкому до нас нет дела. Почему Клава Пнрожкова осталась в городе, устроилась секретаршей с пайком? У нних даже свет электрическнй есть. А Лнна заведует красным уголком, но ведь в своем селе, дома, а мы?.. А Надька Гнрнна с отцом во Францнн...

Она испуганно н жалобно плакала. Баба-Кока гладила ее растрепанные, спутанные ветром волосы н не отвечала, потому что боялась, голос снова сорвется. Как бы н ей не заплакать.

Вдруг под окошком раздалось громовое:

— Тпрр-у-у! Дурак стоеросовый, стой!

В комнату, стуча сапогамн, вбежал председатель. Налетел на дверной косяк, чертыхнулся:

— Черт! Спичкн забыл вам оставить. У нас со спичками плохо, полкоробка как-нибудь выделю, зря-то не жгите, жалейте. А, да что говорить, ежели

голова на плечах, соображаете сами... А еще...— Он покашлял, помялся.—...А еще, позвал бы к себе ночевать, да положить негде, избенка тесна, пятеро нас, сами вповалку спим. Вы думаете, сельсоветом да крестьянским обществом управлять прынцев из дворцов приглашают? Как же! Нужна Советская власть богачам! Советская власть есть диктатура пролетариата плюс крестьянская беднота. Бедней моей избы во всем Иванькове нет. Добавьте пролетарскую идейность — это я самый и есть! Значит, прочитана для ознакомления лекция. А вы духом не падайте. Приобыкнете, еще и полюбится. Завтра школьная сторожиха Авдотья к вам прибежит. Обижена девка судьбой, немая, убогая, а безотказная, за ласковое слово расшибется в лепешку. Ну, ночуйте как уж нибудь, с грехом пополам. Утро вечера мудренее.

И под окном бодро раскатилось на все ночное Иваньково:

— Лыцарь, но-о!

Некоторое время баба-Кока и Катя молчали.

— Где ты там? — позвала Ксения Васильевна.

— Не буду плакать,— ответила Катя.

— Францию вспомнила! — упрекнула в потемках Ксения Васильевна.

— Баба-Кока, не браните меня. Не браните, забудьте.

— Чего уж там! Давай на ночевку устраиваться; узел с постелью развязывай. Хлебца по кусочку на ужин съедим. Спички зря тратить не будем. Хныкать не будем. Крыша над головой есть? У Робинзона поначалу и крыши не было. Утро вечера мудренее. С новосельем, учительница!

22

Направляя Катю в Иваньковскую школу, в уездном отделе народного образования, кроме напутственных слов, вооружили тоненькой брошюркой под названием «Религия — опиум для народа». Других пособий не было.

— Расхватали. Потянулась учительская масса к новому слову, добились перелома! — с гордостью сообщили Кате в унаробразе.— На данный момент центральной задачей поставлено партией перед профсоюзом, комсомолом и работниками просвещения — ликвидация неграмотности. Товарищ Бектышева, держите курс на выполнение центральной задачи. И всесторонне развивайте юное поколение крестьянского класса.

С таким напутствием отправили Катю в неизвестное плавание.

Кажется, ясно? Учи грамоте и развивай всесторонне. Но как? Вот этого и не объяснили в унаробразе. Непрерывно шли совещания, заседания, обсуждения планов, программ, и чего-то еще, и чего-то еще, а попросту рассказать новичку, как подступиться к уроку, не хватило догадки.

Как? Она перерыла школьный шкаф с учебниками. Бедный шкаф! Облезлый, без запора — приходилось всовывать меж дверцами закладку из газеты, чтобы не распахивались настежь. На пыльных полках два десятка задачников, букварей и книг для чтения Ушинского, несколько грифельных досок и тощая стопка тетрадей, выданных Петру Игнатьевичу в уоно по разверстке. Больше не будет, не ждите.

В тот сентябрьский день конца месяца, какой назначен был сельсоветом для начала занятий, Катя и баба-Кока проснулись, естественно, рано. Впрочем, сколько времени, неизвестно. Часов нет, еще в прошлом году обменяли на три фунта пшена.

Должно быть, солнце взошло недавно: на востоке рдела полоска зари, разливаясь выше нежно-розовым светом; голубизна неба была еще блеклой. Утро едва начиналось.

— Что ж, приспособимся узнавать время по солнцу,— неунывающе сказала баба-Кока.

Катя вышла на кухню. Там из окошка видно крыльцо. Так и есть, у крыльца, возле длинной, тонкой березки с золотой в луче солнца листвой на макушке, собралась толпа ребятишек. Один, два, три... пятнадцать, двадцать. Больше двадцати, бог ты мой! Солнце чуть встало, а они все уже тут.

Катя разглядывала их, прячась за оконный косяк. Девочки в платках, немногие в ситцевых платьях, а больше в холщовых юбках и кофтах, с узенькой вышивкой красным и черным крестом. Мальчишки в холщовых портах, без ремней. Вместо ремня бечевка. А то просто навыпуск рубаха.

Надо отодвинуть в сенях дверной засов, не держать же их у крыльца.

— Здравствуйте, Катерина Платоновна!

Разноголосо, нестройно:

— Здравствуйте, Катерина Платоновна.

Полные любопытства, они ожидали, что будет. За два года привыкли, школа стоит под замком, отпиравшимся только для сельских сходов или в каких-то особенных случаях.

Впервые школа открылась для них. Они вступали в класс тихо, робея. И садились, где скажет учительница.

Три ряда черных, облезлых парт. Класс большой, темный. Не располагающий к жизнерадостным мыслям.

Но у Кати продумано все. Обсуждено с бабой-Кокой каждое слово, даже запланированы шутки.

— Младшие сядут здесь, ближе к окнам. Здесь светлее, садитесь. Старшим ряд первый от входа. Средние в среднем ряду. Складно: средние в среднем?

Немудрящая шутка. Видно, они и не поняли. Без улыбки занимают места. Сидят. Как неживые. А ведь живые. По глазам видно, живые.

Уф! Начало положено. Смелей, Катерина Платоновна! Вглядись, какие славные рожицы, пытливо-внимательные! Не мигая, изучают учительницу. Как идет, как стоит. Красива ли? В каком платье?

Платье шито-перешито бабой-Кокой из старого, а ничего, держится: темно-лиловое, с серым газовым шарфиком. Сущий пустяк этот шарфик на шее, а в нем самая необыкновенность и есть. И какие умницы они с бабой-Кокой: догадались изменить Кате прическу. Расплели косички. Волосы на затылке перевязали черным шнурком (ленточки нет) — пучок не пучок, гривка не гривка — во всяком случае, больше подходит учительнице, чем две коротких косицы.

Хотелось Кате перед встречей с ребятами поглядеться в зеркало, но зеркала тоже нет. Даже осколка зеркала нет.

Верьте не верьте, пришлось глядеться в ведро с водой, а это уж почти что из сказки об Аленушке или другой героине фольклора.

— Хороша! — одобрила баба-Кока.

Милые ребята! Неизвестно, как пойдет дальше, а начало обнадеживало Катю: дисциплина в Иваньковской школе идеальная. Может быть, потому такими милыми ей и показались ребята?

Ужасно трудно: три класса в одной комнате. Сообрази, как их одновременно учить.

— Вы будете решать задачу номер сто тридцать два,— велела Катерина Платоновна старшим, разда-



вая задачники по одному на двоих.— Будете решать задачу в уме. Поняли?

Средним она дала старые газеты, собранные когда-то учителем Тихоном Андреевичем, слежавшиеся в шкафу до желтизны. Эта оригинальная идея пришла бабе-Коке.

— Голь на выдумки хитра,— заявила Ксения Васильевна и подсказала Кате газеты.

Это значит, средние будут отрывать от газет белые поля. Осторожно, осторожно. Заготовят полоски. Зачем? Как зачем! Вместо тетрадей.

Тетради лежали в шкафу. Чистенькие, в клетку и косую линейку. Аккуратная стопка. Довольно тощая стопка, едва ли хватит на ученика по тетрадке, но в целом — сокровище! У Кати дух захватывало при виде тетрадей. Как хочется взять в руки, открыть, разгладить по сгибу и писать на этой чистой, прекрасной бумаге!

О чем? Катя не знала. Что-то бродило в душе. Конечно, она не решится, никогда не станет писать дурацкие повести, как без конца сочиняла в далеком отрочестве. Она не писательница. У нее нет таланта. Что же томит и тревожит ее? Печаль? Но о чем? Мечта? О чем я мечтаю? Чего хочу? Если бы знать!

Вон в бледном небе летит белое облако с розовыми кружевными краями. Что в этом облаке? Говорят, если долго глядеть, увидишь доброго волшебника в короне на седой голове. Или женщина в развевающейся одежде движется, скользит, ускользает. Или выплывет из синевы океана тяжелый и вместе легкий блуждающий айсберг.

Но сколько ни глядела Катя на облако, ни волшебника, ни айсберга не видела. Что же с ней? Почему она тоже летит? Кого-то любит. Над кем-то плачет. К кому-то тянутся руки...

Катя опомнилась. Куда ее понесло при виде тетрадей в школьном шкафу? Чуть не соблазнилась украсть ученическую тетрадку...

Младшие ждали. Первый день в школе. Учительница их оставила, листает у шкафа тетрадь. Наверное, так надо. Они ждали.

Учительница вернулась к ним с какой-то смущенной и виноватой улыбкой. Качнула головой, словно прогоняя ненужную и напрасную мысль. Качнулась перевязанная шнурком у затылка волнистая метелка волос.

— Ребята, вы хотите научиться грамоте?

— Хоти-им! — несмело протянулось в ответ.

— Я научу вас читать и писать. Вы прочитаете много книг. Есть книги, где показана вся жизнь, вся! Вы узнаете умных и великих людей. И плохих узнаете. В жизни не только благородные люди, есть и плохие. Надо научиться узнавать людей. Книги научат вас любить и ненавидеть, чувствовать. Чувствовать! — выразительно повторила она.— Вы увидите разные

земли и страны. И смешные книги бывают, обхохочешься! Но сначала надо потрудиться, одолеть грамоту и многое еще. Согласны?

— Со-о-глас-ны-ы.

— Таким образом,— приступила Катя к уроку,— сегодня будем овладевать буквой «И». Почему буквой «И»? Ее легче писать. Начнем с легкого. Следите внимательно.

Она взяла мел и подошла к доске, укрепленной на двух здоровенных деревянных ногах и третьей складной, позади. Ребята следили за учительницей восхищенными взглядами, словно в предчувствии чуда.

— Пишу палочку,— говорила Катя ясным и нежным голосом, потому что сердце ее заливала нежность к малышам — русоголовые, с выгоревшими добела бровками, круглыми носами в рыжих веснушках. Вон один — навалился грудью на парту, рот раскрыл, передних зубов нет. До чего смешон!— Тебя как зовут?

— Алёха.

— А фамилия?

— Смородин.

Батюшки мои. Алёха Смородин! Петра Игнатьевича старший. Беззубый. Волосы на макушке веерочком. Мужичок с ноготок. Юное поколение крестьянского класса.

— Будешь прилежно учиться, Алёха?

— А то!

— Итак, пишем палочку. Ведем сверху вниз. Внизу закругляем. Тянем тоненько вверх. Еще палочка. И еще закругляем. И что же? Перед нами буква «И»,— радостно объяснила Катя.— Теперь пишите сами букву «И» на грифельных досках.

Младшие заскрипели грифелями. Довольная своим методом обучения, Катя пошла вдоль парт понаблюдать, как идет у малышей дело. Ахнула. Вот так каракули!

— Стирайте сейчас же. Плохо написали. Пишите снова, еще!

Снова каракули. Некрасивее, неуклюжее представить нельзя. Удивительные ментёхи ее беззубые младшие! Бестолковые, может быть, просто тупые?

— Как ты держишь грифель? Нельзя держать в кулаке! Разве пишут кулаком? Так надо держать. Смотрите все. Вот так.

Она рассердилась. Они испугались, притихли, боялись дышать. Ей стало стыдно. Сама виновата: не сообразила научить сначала держать грифель. Ведь они первый день в школе. Однако хлопот с ними! Наверное, минут пятнадцать, а может быть, больше она учила их держать грифель.

Об остальных учениках она позабыла, все внимание ушло на младших, хоть бы с младшими справиться.

К счастью, дисциплина в Иваньковской школе отличная. Все занимаются своими делами. Серьезно, истово. По сторонам не глазеют.

Ох, трудно овладеть буквой «И»! Ох, трудно держать как следует грифель маленькими, непривычными пальцами! Билась, билась Катя, а младшие так и не освоили букву. Палочки валились набок, нажима не получалось, получалось уродство.

Только одна девочка с бледным, тоненьким личиком, светлыми, как спелый лен, волосами, аккуратно заправленными за уши, без слова протянула грифельную доску показать ровные, даже красивые строчки.

— Молодец! — обрадовалась Катя, ласково погладив ее льняные волосики.— Как зовут?

— Тайка.

Наверное, пора отпустить младших на перемену, тем более что средние кончили заготавливать белые полоски из газет, а старшие решили в уме задачку.

— Упражняйтесь,— велела Катя младшим, не решаясь отпустить их на перемену, не зная, как они себя поведут на свободе.

Средние терпеливо ждали, когда учительница подойдет, но она притворилась, что не замечает их ожидания, и направилась к старшим. Пора проверить задачу.

Она вызвала ученика, не узнав имени, не разглядев даже как следует.

— Иди к доске ты.

Двое других подтащили доску ближе к старшим, их первому от входа ряду.

Ученик писал на доске цифры, сложение, умножение и прочее, бойко постукивая мелом о доску. Видно, он был доволен, что вызвали, и готовился смело объяснить решение задачи. Катя присела на край парты. «Хорошо, хорошо,— радостно пело сердце.— Ничего, что малыши не овладели буквой «И», в конце концов овладеют. Зато старшие-то как здорово соображают!»

— Землевладелец продал пятьсот десятин земли,— заключая задачку, стукнул мелом о доску ученик.

«Отжившее. Вздор! Какой-то землевладелец, где они, землевладельцы? Устарелый задачник. Надо сказать Петру Игнатьевичу: неужели нельзя раздобыть новый, советский?» — подумала Катя.

Она увидела протянутую руку. Кто-то из старших поднялся, стараясь привлечь внимание учительницы.

— Что ты? — спросила Катя, не чуя беды. Напротив, радуясь сообразительности и бойкости старших.

— Он неверно решил,— сказал мальчик.— Землевладелец продал четыреста десятин.

— Как четыреста! Что такое ты говоришь!

Катя почувствовала, сердце ёкнуло, заколотилось, в глазах зарябило, все задрожало внутри — так она растерялась. Она машинально следила, как ученик стукает мелом о доску, но не вникала в смысл действий. Доверилась ученику. Что он там нарешал? Неужели не пятьсот, а четыреста? Проклятый землевладелец! Неужели продал четыреста? Катя не понимала задачку. Что делать? Она погибала.

— Он решил верно. Землевладелец продал пятьсот десятин,— сказала не своим, казенным голосом.

Старшие принялись торопливо листать задачник, один на двоих, сверяясь на последней странице с ответом. А мальчик, первым поднявший руку, ткнул палец в страницу и, удивляясь и смущаясь, сказал:

— Здесь, в ответе, написано четыреста.

Тишина наступила в классе. Младшие, средние, старшие — все безмолвно уставили глаза на учительницу, ожидая развязки. Ужас, ужас! Что делать? Скорей найти выход, никто не поможет, спасайся сама.

— В задачнике неправильный ответ,— сказала Катя, не видя, не различая младших, средних и старших своих учеников.

Все лица слились в одно, расплывчатое, зыбкое и осуждающее. Грудь давило отчаяние. Но что случилось? Почему ошиблась? Ведь вчера она сама решила задачку.

Вдруг точно молнией ударило: она задала им не ту задачу. Она задала номер 132-й, а вчера, готовясь к уроку, решила и вызубрила другую, номер 131-й. А там вовсе не землевладелец. Там «Один путешественник отправился в путь»...

Несчастная! Перепутала, назвала не тот номер задачи. Перепутала землевладельца, продающего десятины, с путешественником! Смотрела, что пишется на доске, и не видела. Размечталась... И крах, полный крах!

— Урок окончен,— сказала Катя.— На сегодня занятия окончены. Идите домой.

23

— Баба-Кока, ау!

Так начинались воскресные утра. Можно вволю понежиться на сеннике. Сенник слежался, потерял первоначальную пышность, но стал даже мягче, уютнее. Однако в будни не разлежишься. В будние дни Катя вскакивала с рассветом: ученики чуть не затемно дожидаются в классе! Они с бабой-Кокой и входную дверь не запирали, чтобы не морозить ребят на улице. Ох, прилежны иваньковские школьники! Прямо какие-то выдуманные. Разве сравнишь с учительницей Катериной Платоновной, когда она сама, совсем недавно, ходила в школу второй ступени главным образом затем, чтобы рисовать плакаты и участвовать в драматическом и литературном кружках! Да еще за миской похлебки.

Иваньковские школьники в будние дни учительнице лишнего поспать не дадут.

Зато воскресенья — ее! Катя выглянула из-под одеяла. Знакомая комната. Уже привычная комната, обжитая, шагов десять в длину. У одной стены Катин топчан упирается изножьем в изразцовую печь; у другой железная кровать бабы-Коки. Между топчаном и кроватью Катин стол с учебниками и невысокое сооружение вроде тумбы, сколоченной из свежего теса,— кажется, еще дышит свежим запахом зимнего леса.

Тумбу сколотил отец Тайки, той светленькой девочки с зачесанными за уши льняными волосиками, которая на первом же уроке показала себя лучшей ученицей из младших. На тумбу баба-Кока поставила швейную машину и шьет иваньковским девушкам платья и кофты. Зарабатывает кринку молока или горшочек топленого масла, гордясь, что кормит себя да отчасти и Катю.

«Ау!» — хотела позвать Катя. Но не позвала.

Баба-Кока успела одеться, сделала свою обычную прическу в виде венца надо лбом, для чего подкладывается под волосы специальный валик, чтобы поднять волосы выше, и сидела на табурете у печки. Что такое? Почему с утра топит печь? Обычно они у горящей печи сумерничают, пока раскаленные угли не начнут, угасая, темнеть.

— Баба-Кока, почему вы топите утром?

Ксения Васильевна подошла, села в ногах на топчан. Странно — на пальце кольцо. Она давно не носила кольцо. Как чудесно переливается густым цветом багряный рубин! Живет. То потемнел, то просиял чистым, радостно-красным.

— Не топлю, сжигаю разное ненужное,— как-то грустно сказала Ксения Васильевна.— Нахлынуло прошлое. Накатило неизвестно с чего. А годы проходят, о смерти подумать пора.

— Что вы, баба-Кока! — воскликнула Катя, рывком садясь на постели.— Что вы говорите такое!

Слезы задрожали в голосе, лицо искривилось; она стала дурнушкой, жалкой девчонкой, с нечесаными волосами, рассыпанными по плечам.

Баба-Кока ласково погладила голое плечо Кати, прикрыла одеялом.

— Ну, ну. Не будем об этом. Я смерти не боюсь. Заболеть страшно. Хватит паралич, вот это страх! И об этом не думаю. И о смерти не думаю. Из гордости не желаю думать о смерти. Не понимаешь? Как это из гордости? Да так... Не собираюсь умирать — вот и все. До девяноста доживу. Правнуков хочу повидать, твоих деток, птенец. А когда встретишь любимого... когда встретишь, вся жизнь озарится поновому. Знаешь, что это — любовь? Радость, жалость, страдания, жизнь!.. Когда полюбишь, подарю тебе это кольцо.

Она сняла кольцо. Держала на ладони и вглядывалась в огромный кроваво-красный рубин. Пристально. С грустью.

— Последняя память о человеке, его одного я и любила. А отослала сама: уходи.

— Почему?

— Не отослала. Увели его от меня. Девочка такая, как ты. Худенькая, глазищи огромные. Пришла тайком. Ручонки сложила на груди, вся дрожит. «Мы любим папу». Ненавидела я эту девчонку глазастую... А кончилось тем, что вынесла себе приговор: «Уходи, милый. Прощай, а перстень этот...»

Солнечный луч протянулся в окно, рубин вспыхнул.

— Мой талисман,— сказала Ксения Васильевна.— Я под декабрьскую вьюгу родилась. Кто в декабре родился, для того рубин талисман. Потому он мне и подарил это кольцо. Потому я его и храню. Когда срок придет, передам тебе, и хоть ты не декабрьская, береги. В память обо мне. Это кольцо мне самых драгоценных сокровищ дороже. Пусть бы вовсе нужда нас доехала, ни на что не обменяю, за десять пудов муки не отдам,— неожиданно повернула на прозу Ксения Васильевна.

И с досадой махнула рукой. Что ты будешь делать! Как занозы засели в сердце недавние мытарства, не прогонишь из памяти.

А пора бы прогнать.

В газете «Беднота» про иные деревенские школы писалось: учителя бедствуют, ни жалованья, ни хлеба, ни дров. Про одну учительницу писали, что ходит ночами на крестьянское поле, картошку крадет, тайком накопает ведерко... Срам! Не учительнице срам, а крестьянам, тем, что нарушают советский закон.

В сельце Иванькове другое. Иваньковская учительница хлебом и прочими продуктами обеспечена...

В тот первый день Катиного учительства, злополучный, на всю жизнь памятный день, когда, сгорая от стыда, спотыкаясь под недоуменными взглядами тридцати трех учеников, сбитых с толку ее, Катиным, невежеством, она, прервав урок, раньше учеников вышла из класса — спрятаться, скрыться,— в сенях почти налетела на председсельсовета Петра Игнатьевича.

— Что скоро отучила, Катерина Платоновна? —без задней мысли спросил председатель.

А ей послышалась насмешка.

— Я знаю, когда надо кончать урок! — дерзко отрезала Катя.

В сенях, отделявших класс от половины учительницы, было темно. Он не разглядел ее пылающих щек. О! Как она после жалела, как терзала себя, что именно в эту минуту обрезала его, вообразив в нем начальственный тон! Он шел к ним довольный и радостный, спешил обеспечить их от имени Советской власти и крестьянского общества, а она...

— Молода, а с норовом,— удивился председсельсовета.

Это Катя-то с норовом! Катя, которая все детство не смела сказать матери «нет». Катя, которую любимый брат Вася жалеющим голосом называл послушной. «Послушные не открывают Америк».

Ошибается председсовета. Или что-то новое в Кате, самой ей неясное?

Стуча сапогами, смазанными дегтем, Петр Игнатьевич вошел в комнату, снял буденовку и громко, во всю мочь, как на сходке:

— Здравия желаю, Ксения Васильевна!

Хотелось Петру Игнатьевичу в сердцах ругнуть учительницу, чтобы не задирала нос с первого дня, еще не заслуживши почета. Но сдержался. Помнил: председсовета во всех случаях — образец поведения, *советского*, не какого-нибудь. Только тем показал Петр Игнатьевич недовольство девчонкой-

учительницей, что не к ней обратился по делу, а к бабушке.

— Принимайте продукцию, Ксения Васильевна. Секретарь Сила Мартыныч, всю бухгалтерию в Совете ведет, обошел дворы, нешибко у нас их много в Иванькове, слегка поболе полсотни, а в каждую избу зайти время, однако, потребуется. Не пожалел трех вечеров, обошел. На все сто провел агитацию. Собрали провианта на прокорм учительницы плюс члена семьи, проще говоря, вас, Ксения Васильевна. Муки без малого полный мешок. Картошки два мешка. Капусты двадцать кочанов. Две бутылки конопляного масла да баранья нога. Последние два продукта считайте сверх обязательной нормы. Бабы наши жалостливы. Сочувствуют. А еще стараемся народ в пролетарском направлении воспитывать. Стало быть, так. Телега у крыльца. Сила Мартыныч там. Кажите, куда мешки с мукой и картофелем ложить.

Баба-Кока разволновалась, раскраснелась, выронила на колени шитье.

— Петр Игнатьевич, спасаете вы нас. Я с первого взгляда человека в вас угадала, вот правильно угадала. Катя, ты слышишь, какая щедрость! Спасибо, спасибо, дорогой Петр Игнатьевич!

— Спасибо советской политике говорите. Не нами закон об учительском прокорме придуман. Газету читаем. Проводим линию, указанную на данный момент. О хлебе не заботься. Учи,— обратился он все-таки к Кате, строго глядя поверх ее головы.

...Вот о чем надо бы вспомнить Ксении Васильевне, а не городские мены на базаре и очереди с ночи до утра за полфунтом хлеба на двоих. То позади. Иваньковское крестьянское общество под руководством предсельсовета Петра Игнатьевича Смородина сняло заботу о хлебе.

Впрочем, Катя и Ксения Васильевна не забывали это и никогда не забудут.

Ксения Васильевна ушла в кухню хозяйничать и оттуда позвала громко, изумленно:

— Катя, иди-ка сюда!

Катя босиком прошлепала в кухню.

В окно широко видна улица. Октябрь, а на улице белый зимний день. Еще вчера кострами пылали на кустах и деревьях желтые неопавшие листья. Что стало за ночь! До окон навалило снежные горы. Навесило шапки с козырьками на крышах. Осины и ивы вдоль изб бессильно свесили ветви под грузом рыхлого снега, без времени. Деревья еще не подготовились встретить зиму. Ветви клонились и никли.

И удивительное видение — для него баба-Кока и кликнула Катю.

Из кухонного окошка видно крыльцо. Длинная, тонкая березка возле крыльца круто изогнулась дугой, почти касаясь земли макушкой в гроздьях тяжелого снега. Белая арка перекинулась над входом в Катину школу.

24

«Милая, милая Фрося!

Петр Игнатьевич едет в уезд на совещание, посылаю тебе с ним немного бараньего сала, крупы и муки, такими стали мы богачами! Воображаю, как ты обрадуешься и испечешь нашему Васе оладушки.

Фрося! У меня новая жизнь. Не представляла, что так захватит, всю душу возьмет какая-то деревенская школка. Невзрачная, с одним большим классом. Холодный, темный класс, но когда нахлынут ребята, сразу повеселеет и даже согреется. Оказывается, я люблю ребят. Очень люблю! Плохих детей в моей школе нет. Лживых, недобрых? Нет, нет!

Мне нравится управлять ими, будто оркестром. Они слушают каждое мое слово, хочется даже торжественнее выразиться: «внимают» каждому слову. Иногда, чтобы проверить свою власть, я строго приказываю: «Тихо. Ни звука».

И что же? Тихо, ни звука.

Я часто рассказываю им что-нибудь интересное. Пригодилась книжная полка бабы-Коки. Помнишь, сколько у нас было книг? Как я скучаю без книг! Безумно скучаю...

В классе многого не успеешь рассказать, надо учить читать и писать, а на рассказывание я зову ребят вечером. Сбегают домой пообедать, приготовят уроки и снова в школу. Не каждый вечер, но часто. Вечерами мы собираемся в кухне. У нас просторная кухня и русская печь с деревянной лежанкой. Авдотья натопит печь, жарко, как в бане. Авдотья — школьная сторожиха, немая; одна рука короче другой, в деревне ее зовут «убогонькой», но она оптимистка, из-за всякого пустяка хохочет, вернее, мычит, это и значит, смеется, а школу обожает, без конца моет, метет.

В кухне у нас длинный стол и вдоль стен широченные лавки, как в крестьянских избах. Ребята рассядутся кто где по лавкам, на лежанке, на полу. И я рассказываю. Что? «Шпион», «Последний из могикан» Фенимора Купера. Рассказываю неделю подряд. Забуду подробности, добавляю свои. Ах, Фрося, видела бы ты, как слушают ребята! Еще бы! То мы в могучих лесах Южной Америки, там лианы обвивают стволы и сучья великанов-деревьев, обезьяны качаются на лианах, как на качелях...

Но, ясно, ребята особенно замирают, когда я подхожу к приключениям. Уж тут я не скуплюсь, расписываю во всех деталях подвиги и благородство индейцев. И обрываю на самом драматическом месте. Многоточие. Пауза.

— Довольно, дети, до завтра.

Они молят:

— Еще, еще!

Но я неумолима.

— Нет, до завтра.

Так я властвую над ними.

Какие чудесные у нас вечера! Только как-то баба-Кока сказала:

— Фенимор Купер хорошо, но одного Купера мало.

Баба-Кока всегда права. Конечно, ведь есть «Детство и отрочество», «Капитанская дочка», «Дубровский»...

Ты думаешь, по вечерам у нас горит лампа? Лампа на всю школу одна, висит в классе на железном крюке, и наша тетя Дуня зажигает ее, когда Петр Игнатьевич устраивает в школе крестьянский сход.

А мы сидим при лучине. Ты все это знаешь, а нам ново.

Фрося, удивляюсь я бабе-Коке, восхищаюсь. Она была избалована жизнью в Москве, в красивой квартире. Бывала в Париже, Италии, в Сорренто и Риме. Думаешь, ворчит из-за лучины? Нисколько.

А учить ребят все-таки трудно. И посоветоваться не с кем. Соседний учитель, старик, в пяти верстах от Иванькова. Сходила бы к нему, да стесняюсь. Скажет: «Что за учительница, сама неуч!»

Баба-Кока с педагогикой тоже мало знакома. Но у бабы-Коки есть здравый смысл. Поэтому иногда она мне помогает.

Например, как бы ты стала учить младших читать? Я показала им букву «М».

— Мы,—читают они,—мы-а, мы-а, мама. Ры-а, мы-а, ра-ма.

Долго мы так читали, но однажды баба-Кока проходила сенями мимо класса, услышала и после мне:

— Что это они мычат у тебя? Не вели им тянуть: «мы», «ры». Пусть сразу складывают, ведь буквы-то знают?

Подсказала, и, представь, в два дня мои младшие научились не тянуть, а сразу складывать. И читают как следует.

Сама не пойму, как это я их научила.

Прекрасная советница — моя баба-Кока! К ней даже Петр Игнатьевич приходит советоваться или поговорить на разные темы. У нас в комнате голландская печка, мы с бабой-Кокой любим топить ее в сумерки.

В это время Петр Игнатьевич иногда и зайдет. Присядет у печки на корточки, курит самокрутку, пускает дым в печь. Его интересует история. Слышала бы ты, как они спорят с бабой-Кокой! Для бабы-Коки Петр Первый — великий преобразователь России, а ему что Петр Первый, что Грозный — он всех царей отвергает.

Он бабе-Коке признался: «Я, Ксения Васильевна, вначале к вам не с полным доверием подошел, поскольку вы из чуждого класса, но наш великий вождь Владимир Ильич Ленин учит, что каждому овладеть надо всеми богатствами знаний, чтобы настоящим стать коммунистом...»

Последнее время мы с бабой-Кокой заметили, Петр Игнатьевич изменился. Озабоченный. Даже хмурый.

Заметили, но спросить не решались. Он сам бабе-Коке открылся.

Городская заготовительная контора по сбору сельхозналога заявила, что у нашего сельца Иваньково перед государством большая задолженность. Будто у нас на сколько-то десятин больше пашни. За эти десятины надо сдавать дополнительно налог. А десятин-то нет! После революции землемеры землю измеривали, и все было правильно, а теперь вдруг объявились лишние десятины. Я не очень все это понимаю... Петр Игнатьевич ругает бюрократов и чиновников из заготовительной конторы.

Вот поехал выяснять...

Фрося, когда я была школьницей, мы сердились на учителей, у которых были «любимчики», а «любимчиков» презирали, дразнили подлизами и т. д.

А знаешь, теперь у меня самой есть любимчики. Нет, нельзя так назвать. Все дети милы. Но есть такие, кто мне нравится больше.

Например, Федя Мамаев. Однажды у меня случился позорный прорыв на уроке — запуталась с решением задачки. А Федя Мамаев поправил меня. И с тех пор он очень мне нравится! Правдивый, способный.

Люблю еще Алёху Смородина. Всегда полон фантазий, голова непрестанно работает, будто там заводной моторчик.

Тайка — полная противоположность. Ласковая, тихая...

Немного смущает меня, что мои «любимцы», Алёха и Тайка, как раз дети нашего иваньковского начальства. Но ведь я-то знаю, что это не имеет для меня никакого значения. И, конечно, я не показываю вида, что Федю, Алёху и Тайку люблю больше других.

Милая, милая Фрося, хочу знать, как ты живешь, как растет Васенька. И как я тронута, что ты назвала его в честь моего Васи!

Мы с бабой-Кокой целуем Васеньку и тебя, милая Фрося!

До свидания.

Катя.

Ноябрь 1921 года».

25

Ребята разошлись после уроков, а Тайка Астахова робко скрипнула дверью в комнату учительницы и, став у порога, потупив глаза, проговорила чуть слышно:

— Катерина Платоновна, Ксения Васильевна, тятенька вас нынче в гости зовет.

— С чего это? — удивилась Ксения Васильевна.

— Тятенька с мамой приказали просить, чтоб уважили...

— Причина серьезная... Что ж, Катерина, уважим? Собирайся, идем.

Тайка молча семенила впереди, поскрипывая на снегу еще не разношенными белыми валеночками, бордовые розы на ее шерстяном полушалке нарядно цвели. Снег звонко хрустел. Вполнеба малиново горела заря. Белая сорока с черными каймами на крыльях и хвосте провожала Тайку с гостями от палисада к палисаду.

Сельцо Иваньково вытянулось в одну улицу вдоль реки Голубицы. К лету берега Голубицы одевали ковры незабудок, оттого и название у реки голубое.

У Силы Мартыныча была изба-пятистенка, с наличниками дивной красоты и узорчатыми перилами крыльца, как кружевными. Изба стояла крайней в сельце. Дальше чистое поле, снежный вольный простор, а еще дальше, где небо клонилось к земле, темная гряда леса отделяла иваньковские владения от соседних.

— «Иваньковский сельсовет», — вслух прочитала вывеску Ксения Васильевна.— Вот так раз! В сельсовет нас привела.

Тайка со смущенной улыбкой, меленькими шажками поднялась на крыльцо, а навстречу появился коренастый, щекастый, бородатый Сила Мартыныч, мужчина лет сорока.

— Жалуйте, гости дорогие, милости просим. Сельсовет, этта значит, при нас. Или скажем напротив, Сила Мартыныч при сельсовете, так-то вернее. Жалуйте,— пригласил он широким жестом.

Сени просторные, влево три ступеньки спускались к хлевам для скотины, направо две двери.

— Тута сельсовет,— указал на одну Сила Мартыныч.— А тута мы.

И ввел гостей в свою половину. Чисто. Прибрано. Полы белые. Русская печь вкусно дышит мясными щами. В красном углу стол, заставленный блюдами и мисками с кушаньями. Икон не видно. На стене портрет Ленина.

Хозяйка, с тонким и тихим, как у Тайки, лицом, поклонилась молча. А хозяин был шумлив и приветлив.

— Время зря волынить не станем. За столом складнее беседовать. Ксенье Васильевне переднее место. Мы хоша к учительнице нашей Катерине Платоновне со всем уважением, а малу и стару понятно, правит-то бабушка.

— Вот и ошибаетесь, Сила Мартынович. В школьные дела Катерины Платоновны я нисколько не вмешиваюсь.

— Пусть так,— тотчас охотно сдался Сила Мартыныч.— Умный человек с одного слова скажется. Хозяйка, что стоишь? Угощай, потчуй. Студенец, пирожок с ливером, баранья печеночка, капустка квашеная... А за здоровье прекрасной нашей учительницы и ее бабушки браги выпьем. Мы, иваньковцы, от прапрадедов брагу знаем варить.

Он выпил стакан, и Ксения Васильевна выпила, а Катя чуть пригубила. Сила Мартыныч одобрительно кивнул.

— Крестьянский класс за новое грудью, а что ценно в старом, это тоже храним. Девка — барышня по-

городскому — тем хороша, ежели в скромности себя соблюдает. Так при дедах велось, рушить не станем. Вам, Катерина Платоновна, благодарность. Это уж я о другом. Про родительскую вам благодарность, Катерина Платоновна! Одна у нас Тайка. Было двое сынов. Из люльки не выросли, кончились... Дочка растет. Жизни милей. Я для своей Таиски по нынешним временам дорогу бо-ольшую вижу. Выучить желаю, до самого верху. При царском режиме за учение в гимназии полсотни за год плати. Да квартира городская да харчи. Не под силу. А ныче... при образовании вывести можно, даже и девку, в начальство самое высшее, была бы удаль да смелость отцовская... Вот как у нас!

— Может, довольно вам браги? Крепкая,— заметила Ксения Васильевна.

— Увидела! Все как есть насквозь видит! — восхитился Сила Мартыныч.

— Скажите, а как вы до революции были? — неожиданно спросила Ксения Васильевна, обводя взглядом чистую, светлую избу.

Он поставил стакан. Насмешкой сверкнули глаза.

— Скажи, как мода на анкету в нас въелась! Ладно в волости или уезде, и по соседству каждый друг о дружке допытывается... Кулаком не был,— спокойно ответил он.— По советским законам кулак есть эксплуататор наемной батрацкой массы. Правильно рассуждаю? — почему-то обратился он к Кате.

— Правильно,— несмело подтвердила она.

— В нашем сельце Иванькове кулаков не водилось. Для нас-то хужее. Будь в сельце кулаки, землицы бы у них поурезали, бедняцко-середняцкому населению прибыль. И помещичьей земли близко нет. С чем до революции жили, с тем и остались. Одну поповскую усадьбу порушили, да там на цельное-то обчество всего ничего. В нашем Иванькове земельное равенство, да. Покамест разверстка действовала, урожай подчистую мели — охота пахать у крестьянства упала. Нынешним летом и вовсе засуха пол-России сожгла. Нас, иваньковцев, миловал бог, да еще товарищ Ленин новую экономическую политику мудро удумал. Налог государству отдай, а что осталось — твое. У мужика пахать руки просятся. Крестьянину полушает, и рабочему полушает. Правильно разбираю политику?

— Мне кажется, правильно,— подтвердила Ксения Васильевна.

И Кате, естественно, рассуждения Силы Мартыныча казались понятны и правильны. А главное, понравилось ей, как любит он дочку, тихую Тайку, с надеждами и нежностью любит! Вот сидит, большой, плечистый, подстриженные скобой волосы кудрявятся, настоящий русский богатырь! В одной руке стакан с брагой, другой обнимает щуплые плечики Тайки, бережно троиет светлые, прямые, как соломинки, волосы.

— У вас красиво, а герань как прекрасно цветет! — любуясь махровыми шапками цветов в глиняных горшках на подоконниках, сказала Катя.

Сила Мартыныч с довольной усмешкой медленно огладил пышную бороду.

— Отгрохал домину аккурат под самый четырнадцатый. Своими руками, вот энтими, плотницкими, избу ставил. Гляньте, мозоли каменные, до смерти не сойдут. Сам, да жена, да сестра, старая девка, да холостой брательник, пять годов ставили избу. Квас с редькой — весь харч, про говядину, как и пахнет, забыли. Обещался брата холостого женить, когда избу осилим. Затем и пятистенку старались, ему половина, мне половина. А тута война. Не успел ожениться, с первых дней взяли. И сгинул. И могилы не знаем. Сестра животом маялась, скрючило всю, и ей в новом дому пожить не пришлось... Ксения Васильевна, пироги с ливером, Катерина Платоновна...



Тут дверь отворилась, и вошла женщина, нестарая и недурная бы собою, но темная старушечья шалька, надвинутая на брови, ввалившиеся от худобы щеки и угрюмый взгляд старили ее и дурнили.

— Здравствуйте. Не вовремя я, гости у вас. Кринку принесла, спасибо.

Поставила порожнюю кринку на деревянную лежанку у печки и повернулась уйти.

— Постой, постой! — вскричал Сила Мартыныч.— Нин Иванна, постой. Прежнего учителя нашего жена,— коротко бросил в сторону Кати и Ксении Васильевны.— Садись гостевать, Нин Иванна.

— Спасибо, некогда мне. Ребятишки не кормлены.

— Тогда постой. Жена, собери ребятишкам гостинца.

Но Нина Ивановна уже вышла из избы, и Сила Мартыныч, схватив два куска пирога и накрыв ломтем студня, вышел следом за ней в сени. За дверью послышались голоса, его, низкий, твердый, и ее, бурный, срывающийся.

— Учитель на войне без вести сгинул,— тихо вымолвила Тайка.

— Сгинул или нет, то нам неизвестно,— возразила мать.— Соседка наша. Мы ее еще в девках, Нинкой, знали. Учитель зятем в дом к ним вошел. Осталась — ни мужа, ни сродственников. Ни коровы, ни лошади. Обнищали. Когда поможем, чем можем. Молока корчажку снесешь.

Сила Мартыныч вернулся. Сел к столу, сердито ухватил бороду в ладонь.

— Морока с бабами! Она так располагает: ежели ты сельсовет, корми ее, обувай, одевай. А где у нас средства? Что в наших есть средствах — даем.

Он выпустил бороду, налил еще стакан браги и, ближе придвигаясь к Ксении Васильевне, заговорил другим, почти искательным тоном:

— Дельце у нас к вам, Ксения Васильевна.

— Я так и предполагала, что дельце, только почему ко мне, а не к Катерине Платоновне?

— Катерина Платоновна молода, и школа на ней. Мы видим, Катерина Платоновна вся в школу ушла.

— Какое же дельце?

— Такое, что и вымолвить сразу-то не решусь.

— А вы решайтесь. Вы ведь не из робких, как я догадываюсь.

— Ну, ежели догадались, выложу напрямик. Засела в голову мыслишка одна. Надумал культурой вашей попользоваться. Тайку, сверх школы, желаю разным наукам учить, всем языкам заграничным, вот какая задумка.

Он умолк, почти смущенно вглядываясь в спокойное лицо Ксении Васильевны, которая по привычке постукивала пальцами по столу, и на безымянном горел темно-красный рубин.

— Задумка неплоха, да только слишком вы много хватили. Всех языков я и сама не знаю.

— Так ничего и не знаете?

— Немецкий кое-как. Французский тоже подзабывать стала. Однако попробовать можно, поучу вашу Таю французскому. Девочка способная, прилежная.

Тайка закраснелась, стыдливо потупилась, и мать опустила глаза, пряча радостный смех, а Сила Мартыныч опрокинул еще стакан золотистой пенистой браги, вытер бороду и деловито:

— За платой не постоим, будьте в спокойствии.

— О плате не будем пока говорить,— отказалась Ксения Васильевна.— А одолжения прошу.

— Да мы с радостью! Что запросите, все раздобудем. Из-под земли выкопаем.

— Нам с Катериной Платоновной нужна газета. Скучаем без газеты. Живем, как в лесу.

— Газету-у! — воскликнул он, изумляясь и радуясь исполнимости желания Ксении Васильевны.— У меня эти газеты в шкапу кипами копятся. Айда в сельсовет, без промедления снабдим.

И он привел их в сельсовет. Отворил дверь в смежную комнату, и, пожалуйста,— сельсовет. Люди входили сюда из сеней. Но Ксению Васильевну с Катей, естественно, Сила Мартыныч провел из дома.

Такая же изба, большая, чистая, только без пунцовых шапок гераней на окнах; посредине покрытый кумачовым сатином стол; у стены сколоченный Силой Мартынычем шкаф для казенных бумаг и документов. Разумеется, фотография Ленина. Ленин был изображен здесь с Михаилом Ивановичем Калининым.

— Помещение нашей сельской Советской власти,— гордо объявил Сила Мартыныч.— Астахова личная собственность добровольно отдана государству по причине малой семьи. А как дальше пойдет, будет видно. Разбогатеем — отдельный для власти выстроим дом.

На деревянном щитке были гвоздиками прибиты развернутые листы газеты «Беднота».

Ксения Васильевна пробежала заглавия статей и заметок. В правом углу начальной страницы: «Принимается на газету подписка по всей территории РСФСР только от учреждений и организаций».

Жаль! Хотелось Ксении Васильевне выписать газету на свой адрес, лично себе! Есть особенное удовольствие, ставшее за годы привычкой, получать утром свежий номер газеты, еще пахнущий типографской краской, никем еще не открытый, читать газету первой. Без спешки, со вкусом.

— Не тужите. Как из почты привезут, буду с Тайкой присылать,— успокоил Сила Мартыныч.— А покамест получайте запас. Читайте, знакомьтесь. Нынче политика вперед семиверстными шагами бежит, чуток пропустил — не догонишь.

Он достал из шкафа кипу старых номеров «Бедноты», нагрузил Катю и вышел на крыльцо проводить, в одной рубахе, с разгоревшимся от браги лицом, довольный удачной сделкой с Ксенией Васильевной.

И Ксения Васильевна возвращалась из гостей довольная приемом Силы Мартыновича.

— Умен. Активен. Повезло Петру Игнатьевичу с помощником. Нашего Петра Игнатьевича слишком ввысь порою заносит. А этот на земле прочно стоит. А имя? Ты заметила? Будто для него специально придумано — Сила.

26

Кате не исполнилось шести лет в ту весну, когда к земле приближалась комета Галлея. Вёснами они жили не в Заборье, а в городе: у Васи в реальном еще шли переводные экзамены, он часами горбился над учебниками, но урывал время сооружать с товарищами подзорную трубу собственной конструкции. Девятнадцатого мая будут наблюдать приближение кометы.

Огромное раскаленное чудище с хвостом в миллионы километров надвигалось на Землю.

О комете говорили все, постоянно, повсюду. Катя слушала страшные рассказы на бульваре, куда Татьяна водила ее утром гулять. Нянюшки катали по дорожкам коляски с младенцами или сидели на скамейках и обсуждали неотвратимость беды. Комета летит прямо к Земле, столкнется... и свету конец. Землю разорвет в куски или сожжет дотла во всемирном пожаре. А если комета пронесется мимо, хвост ее плотным покрывалом обовьет Землю и уду-

шит людей, зверей, птиц, растения — все удушит угарными газами.

Так и так наступает конец. Скоро. Через несколько дней.

Катя глядела на ярко-желтые дорожки бульвара и зеленые газоны в золотых одуванчиках, слушала шум весенних ветвей, птичий гомон и в отчаянии замирала: скоро конец. Формочки для песка и лопатка валились из рук.

— Вася, комета столкнется с нашей Землей?

— Н-не знаю. Может столкнуться.

Ни один человек не утешил ее.

— Сегодня к ночи, сегодня! — без умолку твердили на бульваре в тот день.

Вечером у Васи собрались товарищи-реалисты, то возбужденные, шумные, то вдруг умолкавшие: водружали на балконе подзорную трубу. Мама тоже устроилась на балконе в качалке, с папиросой, и в тревожной задумчивости наблюдала суету и волнение мальчиков.

Кате не дали поглядеть в трубу.

— Ты еще маленькая, ничего не поймешь, — нетерпеливо выпроваживал Вася.

— Покойной ночи, иди спать, — велела мама.

Кате хотелось кинуться к ней, уткнуться в колени, прижаться.

— Иди, пора спать.

Татьяна увела Катю, помогла раздеться.

— Может, последняя ноченька, и не свидимся больше.

Поцеловала и ушла в парадное делиться переживаниями с соседскими прислугами. Все оставили Катю. Она съежилась под одеялом в дрожащий комок. И ждала. Вот с грохотом взорвется небо. Волга выплеснется из берегов. Рухнут дома, и древние зубчатые стены и городская башня повалятся. Забушует пламенный вихрь... Она уснула.

А утром майское небо лучезарно светилось, зеленели деревья, птицы свистели и щебетали, кажется, громче и веселей, чем всегда. Комета не столкнулась с Землей, пролетела мимо и неслась где-то далеко-далеко во Вселенной.

После кометы Галлея Вася никем не мог быть, кроме как астрономом. Астрономия сводила Васю с ума. Он выпрашивал у мамы денег и выписывал специальный журнал и специальные книги. Изучал звездные карты.

Подзорная труба не удалась реалистам. Вася вымолил у мамы полевой бинокль — читать звездное небо. Мечтал открыть новую звезду.

А потом остыл к астрономии. Новое увлечение завладело Васей. Книги Гарина-Михайловского привели к другому призванию. Инженер-путеец! Строить железные дороги — вот его дело! Нашей отсталой России не стать европейской страной без железных дорог...

Катя между тем подросла, скоро двенадцать, ей интересно все взрослое. Так она натолкнулась у Васи на популярную астрономию Фламмариона.

Она читала Фламмариона, задыхаясь от волнения. Запоем. Тайны Вселенной поразили ее. Что такое Вселенная? Нет начала и не будет конца, что это? Что это? Что такое вечность движения? Мы, наша крохотная по сравнению со Вселенной Земля, и неисчислимые звезды, и неисчислимые звездные спутники — несемся в черной бездне. Куда? Ужас ее охватил. Ее бедный маленький мозг не в силах постигнуть тайн мироздания. Жалкая гимназистка третьего класса, она была в полном смятении. Непостижимое обрушилось на нее. Придавило ее.

Душевная потрясенность Кати была взрывом, может быть, подобным солнечному протуберанцу. И, подобно протуберанцу, не сразу, постепенно опала, утихла.

Обыкновенная земная жизнь не давала о себе позабыть. В ученическом дневнике благодаря Фламмариону появился длинный ряд двоек, и, конечно, мать не скупилась на язвительные внушения вроде:

— Надо быть уж совсем ограниченной, чтобы с гимназической программой не справляться. Иди в модистки, если не способна учиться.

Постепенно Катю перестали мучить мысли о вечности Вселенной и мгновенности человеческой жизни.

Зато она узнала о звездах. О Млечном Пути, опоясавшем темный свод неба. Зато умела находить Большую Медведицу и Малую, увенчанную ослепительной Полярной звездой. И бриллиантовую россыпь Стожар. И вообще научилась, почти как Вася когда-то, читать звездное небо, особенно в такой ясный морозный вечер, как сегодня в Иванькове.

Сегодня рассказывания при лучине не будет. Вместо кухни Катя собрала ребят на улице с целью отправиться на экскурсию в звезды...

Она здорово вошла в роль учительницы: постоянно ей хотелось выкладывать ученикам запасы своих отрывистых, случайных познаний. Любопытство ребят ее подзадоривало.

Кроме того, к разговору о звездах подтолкнули рассуждения Алехи. Алеха сочинял картины и сказки.

— Солнце одно на все небо да Луна. Для Земли. А звездочки махонькие, то фонарики на ночь зажигаются, чтоб Земле посветить, когда Солнце спать уйдет и Луна притомится. Солнце летом жарче горит, пока ржи да овсы поспевают, а как поспеют, оно и остудится и зиму на Землю нашлет.

Катя не хотела вызывать в своих милых учениках тот отчаянный холод, какой испытала в отроческие годы сама от непостижимости мира. Но нужно знать. Нельзя жить слепыми.

— Вы можете сосчитать все снежинки в иваньковском поле? Или летом все колосья?

— Ну да? — раздалось удивленно.

Ребята почуяли что-то занятное, теснее сгрудились возле учительницы.

— Звезд столько, сколько снежинок на всех иваньковских зимних полях! И еще столько. И еще. И еще. Не счесть.

— Ну да-а?

— У многих звезд, какие мы можем видеть, есть названия. Вот глядите, для начала: Большая Медведица...

И они стали искать и разглядывать семь мерцающих звезд в бездонно высоком, чистом декабрьском небе. Они стояли, задравши головы, и одни находили созвездие, другие — нет, а некоторые, оказывается, знали Большую Медведицу, и шумно радовались, и хотели, чтобы учительница их похвалила.

Но дальше путешествие по звездам прервалось, в этот вечер Катя не успела поделиться с учениками всеми своими астрономическими знаниями. Катя увидела предсельсовета. Он незаметно приблизился, недолго послушал ее звездную лекцию и коротко бросил:

— Катерина Платоновна, дело есть.

Ребята остались на улице, а она последовала за ним в школу, недоумевая, отчего он так строг и чем недоволен.

В классе Авдотья зажгла семилинейную керосиновую лампу, что означало объявленный сход. Несколько мужиков уже сидело за партами, над которыми плавал грязновато-серый махорочный дым.

— Звезды звездами, может статься, время настанет, и до звезд доберемся, а нынче другая нужда. Не до звезд, — сказал Петр Игнатьевич, входя в комнату учительницы.

Он смотрел хмуро и словно бы осуждал Катю за ее отвлеченный, не первой важности урок.

— Катерина Платоновна, идем на собрание, будешь нужна,— велел Кате. Бабе-Коке ласковее: — И вы, Ксения Васильевна, ежели желание есть.

Класс был полон народа, глухо гудел. Мужики сидели за партами и на корточках на полу. Бабы столпились у печки. Кто на лавках, принесенных из кухни, кто стоя.

Едкий запах махорки, сырой овчины и пота висел в воздухе, лампа от духоты горела тускло, лица казались серыми.

За учительским столиком Сила Мартыныч с озабоченным видом перебирал, листая и перекладывая, небольшую стопку газет.

— Сила Мартыныч, ты нынче учительнице секретарствовать место отдай,— распорядился председатель.

У того недоуменно вскинулись брови.

Но, медленно погладив бороду, он спокойно спросил:

— Что за причина?

— Причина немудрая, в исполкоме интересуются, как наша учительница привыкает к обчественной жизни. А она по молодости на народ и показаться не смеет, заперлась с ребятишками в классе. Катерина Платоновна, народа не беги. Садись, будешь писать протокол.

Сила Мартыныч без слова, выставляя широкую грудь и как-то заметнее, чем всегда, прямя плечи, твердыми шагами отошел к двери, встал впереди людей, отвернул полу шубейки, вытащил из кармана кисет с табаком.

А Петр Игнатьевич откинул пятерней со лба волосы и тем же суровым голосом начал:

— Товарищи иваньковские односельчане! Мы живем, не бедуем. От нашего урожаю до весны без голодухи дотянем. А есть губернии... мрут люди. Тысячами. А надежды-то нет. Время-то зимнее. При царском режиме на власть мужик не надейся, а все-таки хорошие люди и тогда находились, к примеру, писатель Лев Николаевич Толстой все силы на борьбу с голодом бросил, ну, не осилил в полном масштабе, а все-таки... Товарищи граждане, я вам лекцию не стану читать, лучше из «Бедноты» почитаю. «Бедноту», товарищи граждане, нашу крестьянскую боевую газету, сам Владимир Ильич Ленин декретом учредил, чтобы каждодневно печаталась для идейного просвещения крестьянского класса.

Катя забыла писать, не успевала схватить его быструю речь и глядела во все глаза на его осунувшееся лицо с запавшими, словно от болезни или горя, глазами.

— «Беднота» № 961,— читал председатель:

«...люди питаются одной только травой, мхом, опилками и древесной корой. Люди ослабли, падают. Товарищи более счастливых местностей, организуйте сборы для помощи голодающим братьям!»

— «Беднота № 974,— читал председатель:

«Особая Комиссия ВЦИК под руководством М. И. Калинина создана на борьбу с голодом.

Детей переселять в колонии урожайных губерний».

— «Беднота» № 1 002:

«Небывалое бедствие — голод. Идут из деревень люди, на вокзалах, на улицах городов лежат сотни. Питаются падалью. Нужна срочная помощь».

— «Беднота» № 1 007:

«Речь тов. Калинина ко всей России:

Необходима помощь и помощь. Не только помощь государства, но помощь всего народа, всех Советских республик».

— «Беднота» № 1 028:

«Истощенные, землистого цвета личики. Живые покойники, дети, с огромными, вздутыми животами. Тонкими, как спички, ножками, иссиня-бледные».

— «Беднота» № 1 032:

«Товарищи хлебородных местностей и губерний, кровью спаянные братья крестьяне, мы к вам обращаемся. Дайте нам хлеба. Мы умираем голодной смертью на заре освобождения человечества от угнетения, рабства и тьмы».

— «Беднота» № 1 043:

«Речь Калинина на сессии ВЦИК.

Голодом захвачено 21.073.000 людей, из них 7—8 миллионов детей».

— Хватит, может? — резко прервал председатель.— В общем и целом положение ясное, и предложение одно. Наша большевистская партия к нам, к крестьянству, с просьбой. Помогите. Не чужим, своему брату, пахарю...

Молчание. Говорят, бывает мертвое молчание. Наверное, такое мертвое молчание воцарилось в Катином классе.

Наконец, одна, с лицом в мелких морщинках, усталым взглядом,— не старуха, а вся бесцветная, тусклая:

— Сами сколько лет голодали! Только б оправиться чуть. Налог с крестьянского класса берут — даем. А что осталось, дак на каждый пудишко своей нужды-то, нужды!

И со всех парт, ребячеких парт, где сидели сейчас мужики в полушубках и курили махорку, вперебой загудели голоса:

— Разверстку давай! Давали. Налог давай! Даем. Опять же мало, опять давай. А власти что? Вовсе, что ли, без нас никуда? Все мужик да мужик. Все с мужика!

— Товарищи односельчане! — грозно, моляще и отчаянно сказал председатель.— Где наша пролетарская сущность? Классовое наше чутье где? Люди мрут. Восемь миллионов детей пухнут с голоду, как товарищ Калинин сказал. Есть у нас совесть?

И вдруг Катя увидела — и краска хлынула ей в лицо, и в груди защемило,— вдруг увидела Катя: баба-Кока, сидевшая среди баб возле печки на лавке, поднялась и направилась к двери. Мужики в дверях расступились. Ксения Васильевна была высока, прическа венцом выделяла ее среди иваньковских женщин, те покрывались платками, а она ходила простоволосая, не седая, с поднятой головой. Зато Катя втянула голову в плечи, дрожа: сейчас предсельсовета прогремит на весь сход: «Эх вы, чуждый класс!»

— Товарищи односельчане, иваньковцы! — сказал Петр Игнатьевич. — Расписывать свои нуждишки не стану. Сами знаете. Жертвую голодающим три пуда муки. Пиши, Катерина Платоновна. Три пуда.

Тут как раз вернулась Ксения Васильевна. Она была спокойна и немного грустна.

— Уважаемый председатель сельсовета. У нас с Катериной Платоновной имущества тоже немного. Было, да прожили. Одно колечко осталось.

Она протянула ладонь с кольцом, рубин вспыхнул темной краской.

— Кольцо золотое, и камень недешев. Примите от нас с Катериной Платоновной в помощь голодающим.

И отдала Петру Игнатьевичу свой драгоценный и памятный перстень.

Сила Мартыныч шагнул вперед из толпы.

— Жертвую голодающим братьям пять пуд ржи. Раскошеливайся, крестьянский народ, кто сколько в силах, давай!

— Пиши в протокол, Катерина Платоновна,— велел председатель.

27

Миновала неделя, другая, а Ксения Васильевна не приступала к обещанным урокам французского. Между тем отцова фантазия превратилась у Тайки в мечту. Тем более что, как ни была она молчалива, проболталась, и скоро все знали Тайкин секрет и каждый день добивались:

— Когда же?

— Что за Франция? Где? Какие там люди? Либо черные, либо как мы? — допрашивал Алёха Смородин.

Все — младшие, средние, старшие — требовали от Тайки ответа, и она с мольбой глядела на учительницыну бабушку, а та вроде бы не замечала Тайкиных отчаянных взглядов. Однако договор с Силой Мартынычем Ксения Васильевна помнила.

— Знаешь, Катя, думала я, думала и вот что надумала. С Тайкой заниматься французским не буду.

— Что такое? Какая причина?

— Педагогика, Катенька.

— При чем тут педагогика?

— Именно при том. Сила Мартынович тщеславен, дочку выделить хочет. Во всем сельце Иванькове Таисия Астахова особенняя. Поняла?

— Баба-Кока! Что вы, что вы? Ведь обещали, и вдруг нате вам...

— Выход есть, да боюсь этот ваш... унаро... и не выговоришь... унаро-браз, а мне дикобраз представляется, не хмурься... шучу. Как начальство посмотрит, одобрит ли?

— Какой же выход, скажите.

— Если учить не одну Тайку — всех, кто пожелает.

— Баба-Кока, гениальная мысль!

— Голову тебе за нее не намылят? Пригвоздят буржуазные пережитки. Капиталистическая держава. Антанта. Мало ли что!.. И в учебных программах про французский не сказано.

Впрочем, сказано или нет, неизвестно. Учебные программы до Иваньковской школы пока не дошли. Ни учебники, ни тетради, кроме той скудной стопки в классном шкафу, ни иные пособия. Иваньковская школа жила на свой страх и риск. И дополнительные занятия по французскому языку Ксения Васильевна и Катя начинали на свой страх и риск.

Знали бы в уездном отделе народного образования, с каким энтузиазмом все тридцать три Катиных ученика встретили «гениальную» мысль Ксении Васильевны!

Видимо, в ней тайно жил врожденный педагог. Ребята разинули рты, слушая ее рассказы о Франции, виденной своими глазами. Не о Булонском лесе, в аллеях которого разъезжают верхом изящные амазонки и кавалеры, не о парижских бульварах, Эйфелевой башне, соборе Нотр-Дам. Нет, о плоских, влажных лугах Нормандии, где тучные коровы с подглазьями, похожими на громадные очки, пасутся в одиночку за низенькими заборчиками, где поселки веселят глаз красными черепичными крышами, а море в часы отлива далеко уходит от берегов, оставляя на илистом дне ракушки с устрицами, которые крестьяне собирают в корзины и везут в Париж продавать господам.

Рассказ был вступлением, своего рода подходом к главной цели: научиться говорить по-французски. Писать не на чем, читать — нет учебников. Будем беседовать.

Для начала иваньковские ученики узнали два слова, два прекрасных французских слова, надежных и верных, с ними не пропадешь, если бы вдруг на сказочном ковре-самолете перенесся во Францию.

— Бонжур, камарад! Здравствуй, товарищ!

Не думайте, что во Франции каждый встречный — товарищ, но среди рабочих уж наверняка отыщется советскому человеку камарад. И не один.

Ребята узнали на первом занятии и другие слова, а особенно запомнили эти. Орали во все горло, расходясь по домам:

— Бонжур, камарад! Здравствуй, товарищ!

Авдотья бросила подметать класс, вышла с метлой на крыльцо поглядеть вслед ученикам, довольно мыча, и было видно, как мило ей все происходящее в школе.

— Ну что, Катя? — спросила Ксения Васильевна.

— Баба-Кока, отлично!

— Выдумываешь?

— Честное слово, клянусь!

Они условились: Катя весь урок простоит за дверью в сенях, чтобы потом обсудить каждую мелочь, все промахи. Ведь было однажды, что баба-Кока случайно услышала, как тянут Катины младшие нараспев: «Мы-а, мы-а», — словно дьячки на всенощной. Подсказала учительнице: нé так учишь.

Катя в уроке Ксении Васильевны не заметила промахов. Идеальный урок! Она восхищалась, пока Ксения Васильевна не остановила:

— Довольно, пожалуй. Хвали, да знай меру. — И с нечаянной грустью: — А пропустила я что-то важное в жизни.

Еще недавно Катя могла не понять. Теперь поняла.

— У вас широкая натура, баба-Кока! Вы всегда любили кого-то, а вам мало одной любви, вам все люди интересны, вам хочется что-то делать и значить. Я тоже хочу: делать и значить.

— Верно, Катя. У тебя новая жизнь. И у меня рядом с тобой все по-новому. И никогда мы больше не будем прятаться от жизни за монастырской оградой.

Они проговорили бы долго, но Ксения Васильевна вспомнила:

— А пора тебе, Катя, идти. Иди-ка.

Наступил ранний декабрьский вечер. Просторная иваньковская улица вела в поле, а дальше дорога, утыканная вешками, в лес. Солнце опустилось за лес, и над темной грядой разлилась полоса нежно-изумрудного цвета, а над ней еще полоса, малиновая, отчертила синеющий купол, в котором, отражая закат, толпились сиреневые, голубые, зеленые облака. Небо пылало. В одну секунду облако с золотыми краями, подернувшись пеплом, утекало, как дым, и на месте его вспыхивал фантастический желтый цветок. И вдруг алая стрела пронзала густеющую синеву, и выплывали розовые лодки, летели розовые лебеди...

— Что же это? Что же это? — шептала Катя, пораженная сказочным, нереальным каким-то закатом, неистовым празднеством цвета. Волшебство длилось, пока она шла вдоль села на самый край к Нине Ивановне.

Изба вдовы учителя по соседству с Силой Мартынычем была так же изукрашена кружевными наличниками. (Все Иваньково славилось искусством деревянной резьбы.) Но бедность и неухоженность встретили Катю уже на ступеньках крыльца. Видно, хозяйка нечаянно плеснет, неся от колодца на коромысле ведра, вода намерзает раз от разу, руки не доходят скалывать лед.

После пламенеющих красок закатного неба Катя на минуту ослепла, войдя в темную избу. А когда пригляделась, узнала знакомую обстановку. Половину избы занимала русская печь с чугунами на шестке и обычной утварью в углу — ухватами, глиняным рукомойником, деревянной лоханью.

Две русые головенки свешивались с печи, напо-

миная знаменитую картину «Военный совет в Филях», там тоже свешивается с печки любопытная головенка, правда, одна.

Нина Ивановна катала на столе вальком на скалке белье.

— Здравствуйте. Проходите.

Пережадала, пока Катя пройдет на лавку, молча возобновила работу.

И Катя молчала. Как неуютно! Скрытная, хмурая женщина! Катя не решалась сказать, что привело ее к вдове учителя.

Наконец Нина Ивановна оставила валек. Села на лавку на другую сторону стола против Кати и неласково:

— Ждала, раньше придете. Три месяца учите.

Сердце сжалось у Кати. Конечно, она должна была прийти раньше. Бездушная! На чье ты место приехала?

— Простите, Нина Ивановна.

— Меня по батюшке один Сила Мартыныч величает и то при гостях,— усмехнулась Нина Ивановна.— В девках Нинкой звали, нынче под старость теткой Ниной зовут.

— Какая же старость! Вы усталая очень. Вам трудно одной.

— Нелегко.

— Сила Мартынович помогает? — несмело полуспрашивала Катя, чтобы что-то сказать, и помня, как они с бабой-Кокой были у него в гостях и Нина Ивановна принесла пустую кринку и сразу ушла, а он побежал за ней вдогонку с ломтями пирога.— Сила Мартыныч — хороший человек?

— Для вас, видать, хорош,— усмехнулась Нина Ивановна. Спохватилась: — А для меня и вовсе. За что мне на него обижаться? Меня сама жизнь обидела. Хуже злой мачехи моя жизнь! Скрылась бы на край света, они не пускают.

Она кивнула на печку, откуда свешивались две русые головенки и две пары серых глаз пытливо и серьезно глядели на Катю.

— Про мужа моего Сила Мартыныч ничего вам не сказывал? — настороженно, показалось Кате, спросила Нина Ивановна.

— Нам, еще когда сюда ехали, председатель сельсовета говорил, что ваш муж добровольцем ушел на войну.

— Добровольцем, э-эх! — вздохом вырвалось у Нины Ивановны.— Всё Москва. Послали от уезда в столицу на курсы внешкольного образования. Зачем оно ему, внешкольное? Знай свою школу. Ан, нет. А в Москве агитация. Тогда, летом девятнадцатого, Деникин наступал. Сам Ленин агитирует: все на борьбу с Деникиным! Зажигает людей. И мой загорелся. Зачем бы ему? У него глаза слабые, белобилетник... Шлет мне в письме: «Настали грозные дни, решается судьба революции». Знаем, слыхали, не глухие в Иванькове, да ведь без тебя бы решили, тебе тридцать восьмой, неужто помоложе мужиков на войну не найдется? Ушел. И не свиделись больше. Из Москвы, прямо с курсов ушел на Деникина... А потом-то!..— вскрикнула Нина Ивановна, упала на стол головой и забилась, завыла по-бабьи, истошно.

— Нина Ивановна, милая, успокойтесь,— пугаясь и жалея ее, лепетала Катя.

Та умолкла, подняла голову, огляделась странным, потухшим взглядом.

— Нина Ивановна, у вас страшное горе, ничем не утешить, только одно, что он герой, ваш муж, вы им гордитесь, и мы гордимся...

Она произносила слова, какие обычно говорят в подобных случаях, и сама понимала, что повторяет сто раз уже слышанное Ниной Ивановной и оттого не действующее. И оттого, наверное, Нина Ивановна холодно оборвала ее утешения:

— Вы за делом пришли или так?

Катя вспыхнула. Вдова учителя не принимала ее сострадений. Вдове учителя досталась жестокая доля, но даже мама, скрытная, одинокая Катина мама, обожавшая Васю, не говорила ему: «Уклонись от войны».

А вдова учителя... Но не буду, не буду судить!

Закат догорел. В избе совсем потемнело. Кате смутно виделось через стол измученное лицо с черными провалами глаз.

— Ежели дело...— повторила Нина Ивановна.

— Я... мы с бабой-Кокой хотели вас навестить, и я думала... и моя бабушка Ксения Васильевна... хотели... может быть, у Тихона Андреевича остались книги?

— Книжником был,— угрюмо отозвалась она.

Нащупала в стенном шкафчике спички, засветила коптилку и, прикрывая ладонью крохотную дымящую струйку огня, вывела Катю в холодные сени и отгороженный от сеней дощатой перегородкой чулан.

И там Катя увидела чудо: книжную полку, тесно набитую книгами. Без переплетов, на дешевой бумаге, без иллюстраций, с мелким, убористым шрифтом — приложения к журналу «Нива». Сочинения Мамина-Сибиряка, Короленко, Толстого, Кнута Гамсуна... Кто такой Кнут Гамсун?

Катя взяла тоненькую книжку в бумажной обертке: «Пан», «Виктория».

Катя жадно набирала книги. Хватала подряд. Руки дрожали от жадности. Вдруг Нина Ивановна оборвет: «Хватит, лишку заграбастала, хватит!»

Кнут Гамсун, Ибсен, Достоевский... А это для учеников: «Дети подземелья» Короленко...

Радость, радость!

Нина Ивановна без слов стояла рядом, прикрывая огонек коптилки ладонью. За ее спиной чулан тонул в темноте. Катя бегло увидела деревянный ларь и прислоненные к стене грабли и вилы, кучу сена в углу.

— До свидания. Спасибо, большое спасибо! — простилась Катя и понесла домой нежданно свалившееся сокровище, о котором не смела мечтать; шла, не чуя ног, в предвкушении блаженства и счастья многих-многих вечеров.

Жизнь озарялась новым светом. Ничего больше Катя пока не желала от жизни.

28

Часов нет. Катя не знала сколько было времени, когда ночью дочитала «Пана» Гамсуна. Странная, чарующая повесть. Странная любовь. Чарующая и жестокая. Зачем они мучают друг друга, Эдварда и лейтенант Глан? Безумно ведут поединок. Вот она кинулась в его объятья и целует, не таясь людей, глаза у нее горят, а у него сердце словно полно темным вином. Он ее любит, каждый кустик вереска любит для нее в летнем лесу, где ночью распускаются крупные белые цветы, потому что ведь на севере Норвегии летом нет ночи.

А потом сумасшедшая гордость овладевает Эдвардой, откуда-то из глубины дико поднимается в ней, и вместо нежных слов она бросает оскорбления в лицо лейтенанту Глану. И они ненавидят друг друга. И любят. И опять ненавидят. Казнятся своей мучительной любовью. Зачем? Катя не знала о такой люб-

ви. Исстрадалась над книгой. Прочитала и принялась читать снова с первой страницы. И снова страдала. Еще сильнее, потому что уже любила и жалела этих несчастных людей, которые не умели стать счастливыми.

Полгода в руках ее не было книги. И вдруг такая мука и такое блаженство!

Коптилка чадила, Катя задула коптилку. В окно светилось звездное небо. Семь мерцающих бриллиантов Большой Медведицы слали зеленоватые лучи в Катину прокопченную комнату. Кружилась голова. Катя отворила фортку, вдохнула морозного воздуха. Горестную и страстную жизнь она прожила в эту ночь, дыша гарью коптилки, наслаждаясь и плача.

Назавтра она проспала. Баба-Кока пожалела, не разбудила.

Светлое небо, без следа вчерашних курчавых облаков, кипящих разноцветием радуги, говорило, что на дворе позднее утро.

Катя услышала на кухне голоса. Бабы-Коки и чей-то мужской. Должно быть, зашел Петр Игнатьевич. Как неловко! Ребята, наверное, давно дожидаются в классе, а учительница спит себе.

Она оделась, вышла на кухню. И в изумлении остановилась. Незнакомый молодой человек сидел за их обеденным непокрытым столом.

— А вот и учительница, Катерина Платоновна! — оживленно представила баба-Кока.— Зовите попросту Катей. Да, Катя? Вы, правда, постарше. Годика двадцать три? А нам недавно семнадцать. Катя, знакомься, гость из Москвы. Арсений. По батюшке как?

— Не надо по отчеству, я не привык.

Арсений поднялся и, не протягивая руки, наклонил голову. Темная прядь опустилась на лоб у виска. Худое лицо, озаренное лихорадочным блеском глаз, запавших от худобы. Скулы резко выдавались углами. Он был прям, высок и красив. Сердце громко застучало у Кати, так непонятно и неожиданно появился у них этот красивый молодой человек, возможно, похожий на лейтенанта Глана.

— Катя, до чего же ты прокоптилась,— рассмеялась баба-Кока.— Читала полночи. Проснусь, гляжу: читает. Иди отмывайся скорее, нос-то черный совсем!

Она могла бы не подчеркивать вслух Катин прокопченный нос и не смеяться, чему она смеется. Но Ксения Васильевна не догадывалась, что рассердила Катю.

— Ученики ждут давно, задай им самостоятельное что-нибудь,— весело сказала она, когда Катя умылась из рукомойника за перегородкой у печки, докрасна растерев холщовым полотенцем лицо.— Не каждый день у нас гость из Москвы, да и суббота сегодня, не грех разок и повольничать,— такой легкомысленный совет дала Кате Ксения Васильевна.

Катя отнесла в класс добытую вчера у Нины Ивановны книжечку «Дети подземелья». Хотелось самой прочитать ее детям, но надо чем-то занять их сейчас, раз уж так получилось.

— Федя Мамаев, ты будешь читать вслух, а вы все внимательно слушайте и запоминайте,— велела она младшим, средним и старшим.

И оставила своих образцово послушных учеников под надзор Феди Мамаева и, когда вернулась к московскому гостю, услышала прерывистый, и частый стук сердца, оно встревоженно колотилось в груди и ухало вниз. Давно, в Заборье, так замирало и падало сердце, когда на качелях взлетишь высоко, ветер свистит в ушах, и земля то уходит из-под ног, то мчится навстречу.

— Послушай, как он у нас появился,— оживленно говорила Ксения Васильевна.— Расскажите, Арсений, сначала поешьте, а потом расскажите, ну прямо сказочный сюжет из Царя Берендея.

На шестке, между двумя кирпичами, как обычно утром, разведен был костерик из березовых чурок, и Ксения Васильевна уже вскипятила чугунок кипятку, заварила морковного чаю, поджарила на сковородке свиных шкварок.

— Ешьте, не стесняйтесь, Арсений! — с веселым радушием угощала Ксения Васильевна.

Видно, он изголодался до крайности и, как ни краснел от смущения, с жадностью ел душистые, фыркающие горячими брызгами шкварки, не промолвив слова, пока не подобрал дочиста растопленное сало со сковороды хлебной коркой. И тогда, сытый, согретый, заговорил, блестя глазами:

— Вы, конечно, догадываетесь, зачем я здесь очутился? Приехал менять. Дома мама, сестренка, глядеть на них — жалость, ну и поехал. Сошел на случайном разъезде. Поезд остановился, и я сошел. Надо где-нибудь. До рассвета далеко. Почти ночь. Серенько, сумрачно. Рассвета дожидаться не стал, иду, не зная куда. Засветлело, выкатился огромный рубиновый круг. Солнце. Падай на колени, так царственно! А какая у вас в селе просторная улица, как широко! Над избами из труб дымки. И женщины с коромыслами идут к колодцам. А снег сначала подсиненный, а потом солнце рассыпало искры, и снег весь засверкал. Желтые полушубки на женщинах, у некоторых цветные платки. Кустодиев! Живой Кустодиев! И вдруг... посреди села школа. И вдруг вижу, арка у крыльца. Березка в инее, изогнулась белой дугой. Никакая фантазия не сочинит. Только природа способна сотворить такое чудо! Я понял: сюда, под эту арку, мне и надо войти, и здесь я встречу... И встретил вас. Катю и вас.

Он умолк и с улыбкой глядел на Ксению Васильевну. У него добрая улыбка. Представьте, что-то ребяческое открылось в лице, что-то милое, доброе.

— Ксения Васильевна,— продолжал он приподнято,— если бы надо угадать, кем вы были, пока судьба не забросила в этот далекий угол, я, не колеблясь, ответил бы — актрисой! И вот оставили сцену и славу и живете здесь, полная достоинства и воспоминаний.

— Каково?! — краснея от удовольствия, сказала Ксения Васильевна.— Значит, что-то еще сохранилось в старухе. Но никакой во мне нет актрисы. Мечтала, да не сбылось. Дара божьего не отпущено. А вы фантазер.

Арсений перевел взгляд на Катю с той же улыбкой и какой-то сквозь улыбку серьезной пытливостью.

— Что обо мне нафантазируете? — спросила Катя.

— Вы нестеровская девушка. Тихий свет в лице, кроткий, неземной, задумчивый взгляд. Будто обрекла себя на скит.

— Нет, уж от скитов увольте! — возразила Ксения Васильевна.— Это уж несуразности вы понесли, нам не скиты, а жизнь подавай. Кстати, Арсений, а вы кто такой?

Он смутился, неуверенно ответил:

— Художник...— И поправился: — В будущем. Сейчас студент ВХУТЕМАСа.

— Мудрёно,— покачала головой Ксения Васильевна.— Переведите на русский.

— Полностью: Высшие художественно-технические мастерские, в Москве, на Мясницкой. У нас во ВХУТЕМАСе несколько факультетов. Я на живописном. Самые разные направления, непрерывные споры, борьба. Импрессионисты, кубисты... Но, я признаюсь, меня тянет к реалистической школе, хотя это и не очень модно сейчас.

— Что не гонитесь за модой, хвалю,— милостиво одобрила Ксения Васильевна.

Кате тоже понравилось, что он не очень уверенно говорит о себе. Ведь мог бы хвалиться вовсю. Ведь они здесь, в Иванькове, понятия не имеют о кубистах, импрессионистах и вхутемасовских спорах.

— А вот и Авдотьюшка наша! — объявила Ксения Васильевна.

Авдотья вошла, замычала что-то, понятное только Ксении Васильевне. Они свободно между собою изъяснялись. Авдотья постоянно старалась услужить Ксении Васильевне: натаскает дров, наколет лучины, а баба-Кока разрешала школьной сторожихе пошить на своей швейной машине.

— Московский художник к нам приехал,— сказала Ксения Васильевна.— Дома голодные сестренка и мать. Собрали разную одежку, немного новой материи, им в Москве материю по талонам дают, в обрез, а кой-что достается все же. Авдотьюшка, поводи его по дворам, муки наменять. Если маслом или салом кто расщедрится, тоже нелишне.

Арсений вскочил, просительно приложив руки к груди.

— Пожалуйста! У меня еще соли пять фунтов.

— Мы-ы, гум-гым,— с охотой согласилась Авдотья.

Они взяли привезенные Арсением узлы.

— Ни пуха ни пера! — пожелала Ксения Васильевна, а Катя молча ушла в класс.

«Нестеровская девушка. Тихий свет, тихий взор. Не знаю, кто Нестеров. Как я невежественна! Ничего не знаю. И кустодиевских картин не видала. Вдруг он догадается, как я невежественна?» — думала Катя, прохаживаясь по классу и слушая и не слыша громкое чтение Феди Мамаева.

Вчера, позабыв обо всем над романом Эдварды и Глана, она не подготовилась к урокам и не знала, чем, кроме Короленко, занять учеников.

Время бесконечно тянулось. Долго, скучно. Если бы всегда она чувствовала себя так на уроках, ожидая скорее конца, какой пыткой была бы ее работа в школе!

Но сердце у нее металось и билось, и кровь то прихлынет к щекам, то упадет. Ученики с удивлением наблюдали за ней. Учительница сегодня была на себя не похожа, временами совсем забывала о них, и тогда они начинали «жать масло» и даже свалили с парты на пол Алёху Смородина. Но и это она не заметила. Или не обратила внимания.

Арсений с Авдотьей вернулись в сумерки.

— Полная удача! — ликовал Арсений.— Поздравляйте, выменял все до нитки с помощью тети Авдотьюшки. Спасибо, Авдотьюшка! Мамочка и не мечтает, сколько я всего раздобыл! — радовался он, сваливая с плеч на скамью мешок пуда на два муки, котомку с крупой и что-то еще, что Ксения Васильевна принялась с любопытством разглядывать, оценивать, взвешивать на руке под одобрительное мычание Авдотьи.

Все было празднично сегодня. Баба-Кока закатила на обед похлебку из баранины и оладьи с подсолнечным маслом. Возбужденный морозом, удачной меной, гостеприимством Ксении Васильевны и немым интересом и удивлением Кати, Арсений разговорился. Он уже не стеснялся и свободно чувствовал себя в Иваньковской школе, вернее в школьной кухне, за чисто отскобленным, непокрытым столом, где они после обеда пили морковный чай при свете лучины, что тоже забавляло Арсения. А главное, они так благодарно слушали его рассказы, Ксения Васильевна и Катя, особенно Катя, с ее тихим, все разгоравшимся светом в глазах. Он читал стихи.

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер,
На ногах не стоит человек...



Катя слушала с тревогой и затаенным дыханием. Катя не знала, что в Москве есть театр Мейерхольда. Что за театр? Политический, буффонадный, последнее слово революционного искусства! И Арсению, представьте, иногда удается бесплатно доставать контрамарки. Подрисует что-нибудь для театра. Хотя Мейерхольд отвергает декорации, вместо декораций простейшие геометрические фигуры, эффект поразительный! Но иногда и для Мейерхольда понадобится нарисовать кое-что.

А дальше Катя и Ксения Васильевна узнали, что в Москве есть еще театр импровизаций. А это что? Это вовсе уже небывалое. Представьте, выходит на сцену актер и... фантазирует роль. Вам нужно сыграть страсть! Захватить зрителей, потрясти! Как бы вы сыграли любовь? Не подсказанную, свою, ту, что чувствуете?

Катя, пораженная свалившимися на нее новостями, не отрывала глаз от Арсения, удивлялась, восхищалась и... трудно пересказать, что она чувствовала. Он пришел из другого мира. Почему-то она ощущала себя сейчас маленькой, жалкой. Нет, она не хочет быть жалкой! Его появление всю ее перевернуло. Она не знает, что с ней.

Отгоревший конец лучины отвалился в лоханку с водой и, шипя, погас. Ксения Васильевна зажгла от догорающей лучины новую, сменила в светце. Огонек то вскидывался, то упадал, так бывало всегда, но сегодня игра огня и теней казалась Кате таинственной, фантастичной.

Ксения Васильевна выслушала рассказ Арсения, недоверчиво покачала головой.

— Чудите вы с театром, голубчики. В прежние времена актер назубок выучит роль, а без суфлерской будки сама великая Ермолова на сцену не выйдет. Как это? Изображай, что бог на душу положит. А если ничего не положит?

— Или еще,— улыбнувшись ее замечаниям и пропустив мимо ушей, продолжал Арсений, все больше воодушевляясь,— иной раз наша братия, вхутемасовцы, нагрянем к поэтам, в их клуб на Тверской «Стойло Пегаса». А там что! Имажинисты, кубисты, футуристы, ничевоки... Ксения Васильевна! Я потому рассказываю, что, вижу, вам и Кате любопытно, мне потому и делиться хочется... Конечно, бегло рассказываю, поверхностно. А вот слушайте, один поэт: «Иду. В траве звенит мой посох. В лицо махает шаль зари». Я за одну эту фразу памятник поэту поставил бы!

Давно был поздний вечер. От лучины в кухне стало жарко и дымно, щипало глаза. Ксения Васильевна устала. Поднялась, опустив плечи, непривычно ссутулившись.

— Устала. Художник меня нынче до света поднял. Слышу, кто-то топчется в кухне. Авдотья впустила. Пришла в класс печку топить, а он в дверь — заиндевелый, промерзший. Из Москвы... Ах, Москва! Соскучилась я по тебе, разбередил душу художник... Вот и чеховские мотивы явились, а они нам ни к чему. Не уйдет от нас Москва, Катерина. И в «Стойле Пегаса» побываем, если продержится. Новости ведь не всегда долговечны. Мудрено что-то: «...в лицо махает шаль зари». Ну, ладно. Да, Катюша, покажись-ка, верно ли нестеровская девушка? — Она ласково запустила руку в Катину волнистую гриву, чуть запрокинула голову, поглядела в глаза.— Нет, художник, она сама по себе. В ней и тишина есть и буря. И ничуть ты у меня, Катя, не робкая. И в обители скрываться от мира больше мы с тобой не хотим. Ну, пойдем, что ли, Катя? Спать пора, ночь.

— Ксения Васильевна, мы еще поговорим, разрешите! Катя, я еще хотел вам рассказать... Разрешите, Ксения Васильевна! — взмолился Арсений.

— Коли так, разговаривайте. Не часто к нам из Москвы гость. Впервые.

Ксения Васильевна ушла.

— Прелесть твоя бабушка! — с чувством сказал Арсений, когда Ксения Васильевна ушла.— А ты, Катя...— Он перешел с ней на «ты» и взял ее руку.— Кажется, я давно знал, что встречу тебя. Кажется, даже эту белую арку перед крыльцом видел во сне. Катя, почему ты молчишь? Расскажи о себе.

— У меня обыкновенная жизнь, такая обыкновенная, что и сказать нечего,— ответила Катя.— А у вас...

Он произнес твердо, чеканно:

— У меня одна цель. Одна, навсегда. Искусство. Никто не уведет меня от искусства.

— Кому уводить? Зачем?

— Ах, все полно противоречий, конфликтов! Миллионы голодных, люди полсуток стоят в очередях, добыл две воблы — и весь твой недельный паек, а на Петровке пооткрывались частные магазины, лавчонки, нэпманские жирные дамы в драгоценностях — откуда взялось? Хочешь, нанимайся писать с них портреты.

— Не хотите?

— Разве только сатиру.

Лучина догорела и свалилась в лохань.

— Не будем зажигать, посидим в темноте,— сказал Арсений.

Но в кухне было светло от луны. Яркая, медножелтая, она таинственно висела в высоком небе, окруженная морозным сиянием.

Арсений за руку подвел Катю к окну. В лунном свете лицо ее было бледно. Затененные ресницами большие глаза не мигали. Страх и робкая нежность глядели из Катиных глаз.

— Я тебя нарисовал бы такую. Всю осиянную...

29

Луна поднялась высоко. Обогнула полнеба. Лучи ее лились теперь не в кухонное, а в три маленькие оконца Катиной комнаты. Светлые пятна четко рисовались на стене. Сползали ниже. Легли на пол. Угасли.

Туча накрыла луну и звезды.

Закричали петухи. Школа стояла посреди широкой улицы, вдали от изб, но петухи так громко голосили и перекликались во дворах, что долетало до Кати.

Она лежала с открытыми глазами. Скоро утро.

Странное творилось с ней. Вчерашний день звенел и сверкал. Какой-то ликующий вихрь налетел, и Катя видела тоненькие деревца с тревожными, несущимися по ветру ветвями.

Нет, это ей представляется увиденная когда-то картина. Она ясно видит те узкие, тонкие деревца с летящими макушками, слышит шум листьев.

Она не запомнила, кто нарисовал ту картину. Теперь будет запоминать художников. А! Не в том дело. Катя помнила вчерашний поцелуй у кухонного окна под лунным лучом, будто сейчас на губах. Томящее, влекущее, страшное.. Зачем она вырвалась и убежала? Ведь она хотела, чтобы он ее целовал. Она радовалась и любила его. Она любила его с первого взгляда.

Какой он? Странно, образ его словно задернут дымкой, но она знала, ничто теперь ей не важно, ничто не нужно, ничего нет. Только он! Только он!

Вот что с ней. Вот что такое любовь!

Любовь — это печальная радость. Разве бывает печальная радость? Я счастлива. Но почему же я сча-

стлива, восторг на душе, а грудь давит тяжесть? Нет, я ничего не боюсь. Я люблю его.

В нескольких шагах, у противоположной стены заскрипела кровать бабы-Коки. Проржавевшая кровать скрипит при каждом движении, будто постанывает. Катя услышала: баба-Кока протяжно вздохнула.

— Спишь? — услышала Катя.

Затаилась. Не хотелось отзываться. Отчего-то встреча с Арсением немного отдалила от нее бабу-Коку. Что-то между ними легло. Поцелуй у окна? Память о той острой, несмелой, радостной нежности?

— Спишь, Катя? — снова услышала она.— Ну, спи.— Баба-Кока повернулась к стене, проржавевшая кровать стонала и скрипела, пока она укладывалась удобнее на сеннике.— Ну, спи.

Катя глядела в темноту широко открытыми глазами. Он живет другой жизнью. Катя не знала, что жизнь может быть такой яркой и пестрой. Катя — Золушка возле его талантливой жизни. Она Золушка, но к Золушкам приходит счастье. К ней пришло счастье.

За окном начиналось серое, затянутое плотными тучами утро. В кухне что-то стукнуло, будто упало. Арсений спал на деревянной лежанке у печки, должно быть, это он неловко спрыгнул. Слышно: шагает. Зачем он так рано поднялся?

В потемках чуть занимавшегося утра Катя нашла платье, чулки, тихо оделась, чтобы не разбудить бабу-Коку. На цыпочках скользнула в кухню, чувствуя сама свою легкость, словно в ней совсем не было весу. Чувствуя вчерашнее сладкое и пугающее замирание сердца.

Арсений стоял, наклонившись над лавкой, спиной к ней. Возился со своими пожитками. Мешок с мукой он перевязал бечевкой. Вчера Авдотья дала Арсению эту бечевку, прочно свитую из пеньки, как вьют у них в Иванькове пастуший кнут. Когда мешок перевяжешь посредине бечевкой, легче нести. Котомка с крупой и другими продуктами была тоже увязана. Его куртка из рыжего жеребячьего меха брошена возле котомки, она так идет ему, эта куртка!

Катя прислонилась к двери. Ужасная слабость подкосила ее.

Он быстро обернулся, словно почувствовал на себе Катин взгляд. Кате показался испуг в его лице. На мгновение. Такое короткое, что, может быть, и не было никакого испуга.

Он шагнул к ней, взял ее руки и, крепко сжимая, говорил мягко и ласково, как говорят маленькой девочке, когда хотят в чем-то утешить:

— Славная, славная Катя...

— Вам надо поесть перед дорогой,— помертвевшими губами вымолвила Катя. «Неужели он мог уйти, не простившись?» — Эта мысль ударила ее. Пол покачнулся.— Вам надо перед дорогой...

— Спасибо, разве только что-нибудь скоренько, боюсь опоздать, поезда ходят неточно, и с билетами не знаю как.

Она поставила на стол кринку молока, нарезала хлеба. Он ел торопливо и, кивая на дверь в комнату, остерегал шепотом:

— Не разбудить бы Ксению Васильевну. Передай, что я глубоко кланяюсь ей.

Катя надела пальто из мягкого плюша — остаток роскоши, бывший сак бабы-Коки,— влезла в валенки. Арсений, в куртке из жеребячьего меха и шапке-ушанке, вскинул мешок на плечо, взял котомку. В этой куртке он похож на Амундсена. Да, наверное, Амундсен был таким, высоким, мужественным... Или лейтенант Глан. Может быть, лейтенант Глан. Но она не Эдварда. Она не сказала ему ни одного жестокого слова.

— Прощай, милый дом,— с чувством говорил Арсений,— никогда не забуду тебя, твою Катю и бабушку, твою белую арку у входа.

Арка посерела, как все в это серое утро. Ветер стряхнул иней и трепал голые ветви.

Острый ветер кидал в лицо скользкую снежную пыль.

Косыми длинными струями неслась поперек дороги поземка.

— Будто и не было вчерашнего дня, рубинового солнца и снежных искр,— сказал Арсений, опуская уши шапки.— Нет, был, был! — воскликнул он, взглянув на Катю.

Наверное, она была сейчас дурна. Унылость портила ее и дурнила. Она не умела казаться веселой, когда ей плохо. Другие умеют, а она нет. На лице у нее так прямо и написано: «Мне плохо, безнадежно, все погасло».

— Никогда не забудется этот день! — благодарно сказал Арсений.— А теперь простимся, Катя. Я быстро пойду.

— Я тоже пойду быстро.

Встречный мужик — Катя не знала его, возможно, отец кого-нибудь из учеников — снял шапку, здороваясь.

— Тебя уважают,— заметил Арсений.— Ты чудесная, вся — долг, вся — для людей, тебя уважают!

Он говорил ей «ты». И ей безумно захотелось сказать ему «ты». Она набиралась сил, чтобы сказать: «Я тебя люблю. Я все готова для тебя».

Но слова застревали в горле. Горло сжималось так больно, словно на шее у нее затянули петлю. Она молчала.

Они миновали сельцо, миновали крайнюю, с затейливыми наличниками избу Силы Мартыныча.

В открытом поле ветер накинулся злее и круче. Теперь уже все поле дымилось поземкой, рябило в глазах от бегущих поперек и вкось дороги снежных, юрких, извилистых змеек.

— Надо же, чтобы именно сегодня эта вьюга! — с досадой сказал Арсений.— А, ничего,— ободрил он себя.— До разъезда верст десять — двенадцать, не знаешь?

— Кажется, десять.

— Зачем ты идешь, устанешь,— проговорил он. И, снова взглянув ей в лицо, с поспешной лаской: — Милая! Спасибо тебе. Был сказочный вечер. Приеду домой, расскажу сестренке и маме и тут же тебе напишу.

— Да? — неожиданно всхлипнула Катя.

Она тронула рукав его жеребячьей куртки. Она хотела сама поцеловать его, сама, здесь, среди вьюжного поля, когда губы с трудом шевелились от мороза и ветра, а на бровях наросли белые полоски снега.

«Я тебя люблю».

Но позади, почти за спиной, раздался тот особенный звук, знакомый только деревне, хрупанье селезенки, когда лошадь трусит. И скрип саней. И бодрый голос с хрипотцой:

— Катерина Платоновна-а!

Сила Мартыныч догонял их в розвальнях, запряженных гнедой кобылой с заиндевелой мордой и плешинами снега на толстых боках.

— Катерина Платоновна, куда в непогодь?

Сила Мартыныч, поравнявшись с ними, остановил гнедую.

Им пришлось потесниться от саней, почти по колено в снег.

— Гостя, видать, провожаете? — усмехнулся он, пристально и непонятно как-то вглядываясь в Арсения.— Знакомы. Вчерась баба моя наменяла ситцу у вашего гостя. До разъезда шагаете? Далеконько

по вьюге. Чужого не взял бы, а Катерины Платоновны гостя как не уважить? Садитесь. Мне на разъезд. Подвезу.

— Неужели? — заорал Арсений.— Вот так удача! Неслыханно!

Бросил в розвальни мешок и котомку и сам бросился с размаху, плашмя, в сено, ловко перекинув ноги через грядку саней.

— Что же вы? Не простимшись? — удивленно, с укором сказал Сила Мартыныч.

— Всю дорогу прощались. Прощай, Катя! Ксении Васильевне привет! — радостно закричал Арсений, не опомнясь от такой уж совершенно нежданной удачи.

Он хотел вскарабкаться повыше на сено, прикрывавшее какой-то груз, но Сила Мартыныч остановил его:

— Сбочку прикорните, меньше продует.

Щелкнул вожжами, гнедая рывком дернула розвальни и резво побежала, хрупая селезенкой и откидывая из-под копыт снежные комья.

Катя стояла без слез, без мыслей, не понимая. Все произошло слишком быстро. Вынырнула из вьюги лошадиная морда и исчезла.

Сани удалялись. Дальше, дальше. Вот уже смутно видно сквозь пургу темное пятно.

А вот и не видно.

Катя закоченела. Назад идти тяжелее, ветер в лицо.

Небо, поле, снежная мгла — все смешалось, клубилось, светило...

...Он кинулся в сани, счастливый, что повезло. Ему повезло...

Он даже скрывать не хотел своей радости. Что скрывать? Разве он ее обманул? Разве он что-нибудь обещал? Разве он ей сказал: люблю?

На улице Катя не встретила никого. Слава богу, из-за вьюги все сидят по домам. К тому же сегодня воскресенье.

Она еле тащила ноги. Еле тащила, каждая по пуду. Не обморозить бы нос. Ресницы потяжелели и слипались от снега.

На крыльце намело сугроб. Она с трудом отворила входную дверь и из сеней пошла не направо, в кухню и комнату, а налево, в класс. Надо немного побыть одной. «Никого не хочу видеть. Ни с кем не хочу говорить».

Холодно в классе. По воскресеньям Авдотья не топит; холодно, мрачно, но Кате надо побыть немного одной.

Она села за свой учительский столик, положила локти на стол, голова бессильно упала на локти. Всю эту ночь она не спала ни минуты. А прошлую ночь читала «Пана». Мучительная, чарующая повесть.

Глаза закрылись. Она уснула внезапно, как провалилась в яму.

Проснулась Катя через несколько часов в страшной тоске. Класс выстыл, дыхание слетало изо рта белым паром. Катю трясло от холода. За окнами, в мутной мгле несло все вкось и вкось мелким колючим снегом.

Вдруг ужас пронзил Катю. Что-то зловещее, черное непоправимо обрушилось на нее.

Медленно, очень медленно, боясь идти, она пошла в кухню. В кухне, всегда теплой и уютной, сегодня нетоплено. Кринка из-под молока неубранная стоит на столе.

Катя постояла у двери в комнату. Отворила. Да, случилось то, что она уже знала и чувствовала, когда проснулась в невыносимой тоске.

Баба-Кока лежала на кровати, лицом к стене, накрытая с головой одеялом, в той позе, как утром ее оставила Катя, выйдя на цыпочках, чтобы не разбудить.

30

Бесшумно синели сумерки на дворе. Уроки на сегодняшний день кончены. Ученики разошлись по домам. В комнате топилась голландская печь. Жарко потрескивали березовые поленья, стреляли угольками. Катя сидела у печки одна. На полу, обхватив колени, как раньше часто сидела в прошлые сумерки. Только теперь одна...

Правда, ее мало оставляли в одиночестве. В первый же вечер после похорон притопал Федя Мамаев с товарищем.

— Председатель прислал домовничать. Да мы и сами.

— Бон-жур, ка-ма-рад! — старательно по слогам выговорил Федин товарищ и захлопал ресницами, не зная, в точку ли попал с камарадом.

— Тетенька Авдотья просилась, а председатель нам велел. Она понять-то поймет, да не ответит. А с нами поразговаривать можно.

Они изо всех сил старались отвлекать от горя свою учительницу Катерину Платоновну. Как бы она была без них? Пропала бы Катя без них.

Ученики по очереди приходили к ней вдвоем ночевать и укладывались валетом на скрипучей кровати Ксении Васильевны.

А топила голландскую печку Катя одна. Сидела у печки, ворошила угли кочережкой и думала.

Все знали, учительница шибко горюет о бабушке. А другое? Никто не знал о другом. Если бы одно это горе! Если бы одно это горе, внезапное, такое отчаянное, что хочется головой биться о стену!

Раскаяние, стыд рвали на части Катино сердце. Никто не знал, что в ту ночь, когда ее красивая бабушка, с прической венцом и горделивой осанкой, когда баба-Кока окликнула ее перед смертью, Катя не отозвалась. Притворилась, что спит. И если бы Арсений в то вьюжное утро, когда она его провожала, позвал... Стыд. Горе и стыд.

Нет! Этого не было. Не могло быть. Пусть бы он упал перед ней, прямо в снег, и обнимал ее ноги в валенках, молил, клялся в любви и говорил необыкновенные слова, какие говорят только в книгах, разве могла она забыть бабушку? Кинуть? Люди, я гляжу вам в глаза, гляжу вам прямо в глаза, не стыжусь, не было этого...

Катя сидела у печки, обхватив колени, тихо покачиваясь из стороны в сторону, мыча, как Авдотья, сквозь зубы.

Огонь плясал и ярился, сухие поленья дружно сгорали, скоро груда раскаленных углей плавилась, как металл, дыша в лицо жгучим жаром.

В дверь постучали. Она не ответила. Петр Игнатьевич вошел, не дождавшись ответа. Скинул полушубок, бросил у двери. Пахнуло овчиной, махоркой и морозной свежестью улицы. Петр Игнатьевич переставил от стола к печке стул, сел. Помолчал.

— Плачь не плачь, а жить надо, Катерина Платоновна.

— Живу. А зачем?

— Не дури, Катерина Платоновна.

Она подняла на него тусклый взгляд.

— Петр Игнатьевич, один раз я проснулась, а баба-Кока... Ксения Васильевна печку топит. Утром. Мы утром в комнате никогда не топили. Нет, она что-то сжигает, а я не остановилась, не обратила внимания... Не спросила, а она...— Катя всхлипнула, проглотила плач,— ...она письма сжигала и шкатулку. У нее шкатулка была с тройкой коней, она в ней письма хранила. И сожгла. А потом говорит: наверное, скоро умру. И меня утешает, нет-нет, не скоро... А я не догадалась ни о чем...



Петр Игнатьевич опустил руку Кате на плечо. Худое, тонкое плечо утонуло в его жесткой ладони.

— Твоя бабушка с ясной душой век прожила. Ты при ней была все равно, что у Христа за пазухой. Тьфу, понятие старорежимное, не выкинешь никак из башки! Иначе скажем. От Ксении Васильевны всяк ума нахватается. Бывало, придешь... А, да что вспоминать! Большая беда, Катерина Платоновна, на тебя навалилась. А ты одолей, не то она тебя одолеет. А тебе жить надо.

— Как я перед ней виновата! — отчаянным шепотом выговорила Катя.

— Живой перед мертвым завсегда виноват. Что сделал не так, поглядел не так, после-то во сто раз виноватит.

— Я не могу вам рассказать, Петр Игнатьевич...

— И не надо. Я не поп, передо мной исповедоваться. А ты себя не грызи, помучилась и утихни. Ты то пойми, что народу нужна. Школе без тебя нельзя, тем и держись. Детишки малые сердцем к тебе прилепились. Мой Алеха намеднись простыл, кашель привязался, так мать насилу удержала на печке. Пойду да пойду в школу, стих станем заучивать. Вон какую ты им открываешь культуру! Ты у нас на селе первая культурная сила. Были две, осталась одна. На тебя вся надежда. А ты нашего иваньковского общества надежду не на все сто оправдываешь. Долг за тобой. Вправе требовать. Что брови вскинула? Обижаешься? Обижайся, а слушай. Совесть у тебя, Катерина Платоновна, есть, а боевитости мало. Мало, говорю, боевитости, революционного духа, что на геройство толкает. Девушки в твоих годах, случалось, против беляков воевали. Сам видал. Из винтовки бабахнет, а ее стволом в плечо толк, назад инда качнет, а она опять же стреляет. Где твой героизм, Катерина Платоновна?

— Чего вы хотите от меня? — удивленно, даже гневно спросила Катя.

— Барышня,— насмешливо сощурился он,— чуть тронь, и губки надула. Чего хочу? Хочу, чтобы выше мечтала, чтобы в нашем сельце Иванькове темноту одолеть и новую жизнь наладить. Мне в укоме прохода не дают: где ваш ликбез? Лениным со всей строгостью декрет о ликбезе подписан, а вы спите в Иванькове. Спим, отвечаю, до времени спим, учительница наша молода, приобыкнет, объясняю я, новую предъявим обязанность. Так вот, Катерина Платоновна, приказ о ликбезе тут у меня.— Он похлопал по карману гимнастерки.— Прописано в нем, чтоб немедля всех неграмотных грамоте обучать, в самом срочном порядке. У нас в Иванькове бабы все до единой неграмотные. Мужики еще кой-как кумекают азбуку, а бабы ни в зуб... От чугунки в десяти верстах, а будто на краю света живем, темнотища. Чей стыд? Недоработка чья? Ну-ка подымайся, учительница!

Он протянул ей руку и легко, как пушинку, поднял с пола. Исхудавшая и бледная, она, поникнув, стоя-

ла перед ним, и такое глубокое горе, такую прибитость увидел он в ее лице, что от жалости крякнул. И погладил ее темноволосую бедную голову. Плечи у Кати затряслись. Он ласково гладил ее волнистые спутанные волосы.

— Выплачешься — полегчает.

Потом осторожно отстранился. Войдет ненароком кто, ославят девчонку. У нас языки чесать любят, особенно бабы.

— Буду вести ликбез,— сквозь слезы сказала Катя.

— А еще подскажу я тебе, Катерина Платоновна, по уезду слышно, в иных школах для культурного развития сельской молодежи драмкружки завели.

— Заведу драмкружок.

— А еще, Катерина Платоновна, комсомольскую ячейку надо нам обдумать. То дело сурьезное. О том особый пойдет разговор.

Вечером Авдотья заправила лампу керосином, зажгла в классе над учительским столиком.

Катя дожидалась за столиком, перелистывая новенькие, присланные с Авдотьей председателем сельсовета буквари для ликбеза. Выдали в городе. Тонкие, тетрадочного формата, на газетной бумаге. «Мы не рабы».

Женщины входили одна за другой. Мужчины не шли. Немного их в сельце, а кто есть, хоть по слогам газету осилит.

Женщины входили, неловко рассаживались, с трудом втискиваясь за парты. Прикрывали концами полушалка рты, пряча стыдливый смешок.

— Имя? Фамилия? Возраст? — спрашивала каждую Катя строго, стараясь таким образом замаскировать стеснительность, отчего даже пот выступил на лбу.

— Имя? Фамилия? — записывала Катя в тетрадь. Запись эта еще более смущала и пугала иваньковских женщин.

— На кой нам грамота? Корову подоим и без грамоты, была бы корова,— сердито проговорила одна.

— Елизавета Мамаева,— записала ее Катя в тетрадку.

Феди Мамаева мать. Он-то способный. У него быстрый ум. Как он однажды посадил Катю в лужу, ай-ай!

— Нипочем не пошли бы, силком согнал председатель,— подхватила другая.

А третья дерзко, озорно:

— Бабоньки, на кой нам ему подчиняться? Чай, не старое время. Не захочем — и баста.

Третью Катя помнит, помнит отлично!

Случилось это в первый месяц их приезда в Иваньково. Тогда Петр Игнатьевич частенько забегал в школу, посоветовать что-то, поспрашивать, в чем нужда, но больше порассуждать с Ксенией Васильевной.

Присядет на корточки перед печкой, курит махорку, пуская дым в горящую печь, и разговаривает с бабой-Кокой. Они любили обсуждать вопросы политики. Петр Игнатьевич толковал декреты за подписью Ленина, новые советские законы и суровую жизнь страны, рисовавшуюся в газете «Беднота» открыто и страстно. Ксении Васильевне нравилось, что открыто и страстно. Не таила «Беднота», что миллионами мрут в Поволжье от голода, что в иных губерниях бандиты грабят и убивают мирных людей. И контрреволюционные мятежи еще не всюду прикончены. А большевистская партия рушит зло, бандитизм, контрреволюцию и будет рушить и добьется полной победы. И народ ведет за собой.

Когда Петр Игнатьевич, вытащив из кармана газету, рассказывал или читал о бурных событиях жизни, глаза у него сверкали и грудь высоко поднималась — таким азартным и революционным человеком был иваньковский председатель.

И вот один раз настежь распахнулась дверь, и дородная, складная женщина, с черными угольными бровями и румянцем, будто накрашенным свеклой, вихрем ворвалась в комнату.

— Вон ты где, соколик мой! Сказался, в сельсовет, а сам в школу. Незадаром уши мне прожужжали: последи за своим, к учителке шастает. А ты... я те дам чужих мужиков завлекать!

Она подперла кулаками бока и в упор, разъяренно уставилась на Катю. Катя чувствовала, что краснеет ужасно, постыдно, губы вздрагивают, а слов нет.

Но почему-то председателева жена опустила кулаки. Перевела взгляд на Ксению Васильевну, снова уставилась на Катю, по-иному, недоуменно.

Петр Игнатьевич швырнул в печь цигарку. Встал с белым, как бумага, лицом.

— Бешеная! Спроси сына Алеху, каковы они люди.

— Петруха, сама вижу,— растерянно пробормотала она,— зря натрепали. Та стара, а эта... по лицу вижу...

И умчалась вихрем, как ворвалась.

— Извиняйте,— хмуро буркнул председатель.

— Э, Петр Игнатьевич, чего не бывает! Только святых не бывает,— спокойно ответила Ксения Васильевна.

Некоторое время он не ходил в школу. Потом позабылось.

Вот она, та самая, «бешеная», Варвара Смородина, с угольными бровями и свекольным румянцем, призывает бунтовать против ликбеза.

— Не захочем — и баста. Кто нам прикажет? Чай, не царский режим.

— Ежели сама председателева хозяйка против высказывает, нам и бог велел. Айда по домам! — позвал чей-то решительный голос.

— И вправду. Председателю перед начальством ответ держать, а нам что?

— Гляди, Варвара, будет тебе от мужа, что наперекор власти мутишь,— остерег кто-то.

— Мой ответ, а вы, как знаете, слушайтесь.

Но настроение было сломлено, женщины не желали слушаться. Некоторые уже собрались уходить.

Положение создавалось критическое. Если сейчас разойдутся, после трижды, четырежды, в десять раз труднее будет собрать! И потом, самое главное, что скажут завтра Катины ученики — младшие, средние, старшие? «Не послушались наши мамки учительницу, значит, не больно-то стоит».

Когда что-то по-настоящему опасное угрожает тебе, стеснительность как ветром сметет. Капельки пота мгновенно просохли у Кати на лбу. Она не стеснялась, не робела. Знала одно: надо спасать положение.

— Товарищи женщины, поднимите руки, у кого дети учатся в школе,— сказала она строгим учительским голосом.

Новое требование озадачило женщин. Могли бы привыкнуть: на сельских сходах то и дело приходилось голосовать «за» или «против».

Тем не менее озадачило.

Варвара Смородина первой вытянула руку.

— Мой Алеха в младшие ходит.

— А мой в третьих,— сказала Елизавета Мамаева. Еще поднялось несколько рук.

— Что же вы делаете, товарищи матери? — укоризненно проговорила учительница.— Авторитет мой хотите сорвать? Разве ваши дети меня слушаться будут, если вы не послушались?

Это было так неожиданно. Так убедительно.

— Катерина Платоновна, пристыдила,— ахнула и созналась Варвара Смородина.— Молода, а с головой. Согласны, учи.

— Бабы, и вправду нам не худа желают. Жизня-то новая, привыкать надо.

И начался мирный, довольно будничный урок. Другая на Катином месте, вероятно, прочитала бы зажигающую агитационную лекцию, но Катя истратила на выяснение отношений весь душевный заряд и потому без лишних слов приступила прямо к делу. Малышам Катя называла по одной новой букве в урок, а здесь назвала сразу несколько. Можно сказать, обрушила на бабьи, не привыкшие к отвлеченным понятиям головы кучу премудростей. Алфавит, гласные и согласные, звуки и буквы, и слоги, и даже знаки препинания. Все было выложено залпом, подряд. Ошеломленные слушательницы только вздыхали.

Но первое, сообща прочитанное, как и Катиными младшими, слово было: «м а м а».

— Вы прочитайте. Вы прочитайте,— заставляла она.

Они читали. Лица светлели.

Не знала Катя методик. Никто не учил ее, как надо учить. А вот жила в ней догадка. Сердце, что ли, подсказывало?

И бабы глядели на нее жалостливо, а значит, полюбили ее.

Была она тоненькой, слабенькой, длинноногой, усердной, так, видно, ей хотелось научить их грамоте, что иваньковские женщины, и раньше учительницу не ругавшие, теперь вовсе растрогались. Недавно бабушку проводила на кладбище. Срок пришел бабке, никого не минует, а девушку жаль. Сирота. Говорят, ни отца, ни матери, ни кола, ни двора.

Разговор после урока возник сам собой. Были среди женщин вдовы. У кого полегли на войне, у кого вернулись калеками. Редкую избу обошло горе.

И они делились с учительницей пережитым в лихие военные годы. Да и нынче не сладко.

— Ты нам своя стала, иваньковская, к детишкам нашим со всем сердцем и к народу уважительная, да еще могилка на погосте сроднила.

— Бабоньки! — сказала Варвара Смородина, у которой свекольный румянец распылался так горячо, что казалось, тронь — обожжешься. — Бабоньки, споем, что ли? Учительница на посиделки не ходит, скромна ты лишку, Катерина Платоновна. И песен наших не знаешь.

— Для веселья не случай,— возразили ей.

— А мы не веселое, что душа просит.

Все затихли, и голос, глубокий и низкий, печально завел:

Счастье мое, счастье.
Где ты запропало?
Или мое счастье
В воду камнем пало?
В воду камнем пало...

31

Записку принесла Авдотья в класс во время занятий.

«Катерина Платоновна, отпускай учеников. Собираю сход. Вопрос важный. Готовься вести протокол.

Председатель Петр Смородин».

Странно. Почему председатель собирает сход не вечером, как обычно, а сейчас? Почему снова ей, Кате, поручается вести протокол?

Впрочем, второе понятно. Втягивает в общественную жизнь, отвлекает от мучительных мыслей. Хороший человек Петр Игнатьевич!

Последнее время Катя редко встречала его. Зато часто стала прибегать Варвара, жена. В дела сельсовета она мало вникала. Говорила о доме, ребятишках, разных сельских новостях. И сокрушалась, что сохнет ее Петруша от дум.

— Жил бы обнаковенным мужиком, как до войны. Бывалоча, бедность та же, а заботы не те, плечи не гнут. Веселая была наша жизнь молодая! Выйдем на полосу. Я в лаптях, он в лаптях, а нам все нипочем, все на радость. Косой махнет, я инда сноп вязать кину, не нагляжусь, ненаглядный ты мой! Он меня бешеной-то за что прозывает? За любовь. Ревнива я от любви, нрав у меня неспокойный.

Люди собирались на сход. Ученики еще не все разошлись, а класс уже набился битком. Парт не хватало. Принесли лавки из кухни, два стула и табуретку из комнаты учительницы.

На табуретку села секретарствовать Катя, а на стулья перед учительским столиком — Петр Игнатьевич и приезжий человек, не старый, но с длинными, серыми от седины усами, высокий, худой, в красноармейской гимнастерке, с револьверной кобурой на ремне.

— Начальство,— перешептывались в классе.

Петр Игнатьевич представил:

— Член уездного ревтрибунала.

По толпе прошел недоуменный шумок. И утих. Напряженная тишина воцарилась в классе. Понятно, не каждый день увидишь члена ревтрибунала на сельском сходе. В сельце Иванькове такого еще не случалось.

Прямо перед собой, в первом ряду, не на парте, в которую по грузности едва ли мог втиснуться, а на поставленном стойком нерасколотом поленекругляше увидела Катя Силу Мартыныча. Учительский столик был мал, потому, должно быть, места в президиуме ему не хватило.

«Наверное, обижен, что снова меня назначили секретарем,— мелькнуло у Кати.— Неужели Петр Игнатьевич не понимает, что не надо так, не надо. Не хочу я, чтобы меня так вовлекали в общественную жизнь!»

Член ревтрибунала заговорил глухим, простуженным голосом, не грозным, а каким-то невеселым, усталым:

— Товарищи крестьяне, вы знаете нашу нужду. Нашу общую с вами нужду, всего советского народа горе. Двадцать один миллион человек с лишним на краю могилы от голода. Погибают восемь миллионов детишек. Зерно, что по налогу собрали, посылаем первоочередно в голодные губернии на семена. Весна не за горами, чем сеять? Не посеешь — и будущий год обречен на голод. Бережем зерно на посев. Оттого не хватает прокормить голодающих. И рабочие в городах опять же остаются на нищем пайке. Товарищи крестьяне, каждый пуд, что вы сдаете государству в виде налога, есть чья-то спасенная жизнь.

Некоторое время было молчание. Не перешептывались, не толкались локтями поделиться мнением. Молчали.

Вдруг Варвара Смородина в полной тишине кинула вызывающе громкий вопрос:

— И чтой-то вы, товарищ ревтрибунал, агитацию понапрасну ведете? Наше сельцо не отсталое. По первому призыву сполна сдали налог. Чего еще от нас требуется?

Румянец ее до темноты погустел, а Петр Игнатьевич, краем глаза увидела Катя, стал бледен и подавленно тих.

Выступление Варвары, словно болт о железную доску, когда скликают на сход, раскачало примолкшее общество.

Невзрачный мужик с жиденькой бородкой, в худом полушубке, шлепая шапкой в такт словам по колену, отчеканивал:

— Учителю дай. Больнице дай. Голодающим дай. Откуда мужику взять-то? Вы обдумали это?

И другой, древний старик, опираясь на клюку жилистыми руками, темно-коричневыми, как дубовые осенние листья, неторопливо заговорил:

— Без крестьянского классу ни чье, ни наше государство не выдюжит. Мы сознаем. Мы не против своей власти помочь. Да только лишку нас жмут, норовят кишки до последнего вытянуть. Сверх налогу соберешь — еще подавай. Снова дашь — опять же нехватка. Когда довольно-то будет? У нас полсельца бескоровные, самим бы маленько подняться охота... Ладно, еще одно слово скажу да и кончу речь. Вы, начальники, сами-то много голодающим жертвуете?

Представитель уездного ревтрибунала не вскипел от таких дерзких речей и, хотя на щеках нервно заходили желваки, ответил спокойно и выдержанно:

— Мы не сеем, не жнем. Отдаем, что имеем. Дни и ночи имеем, их и даем, кто настоящий коммунист, не примазавшийся. А как у вас, в сельце Иванькове, дела обстоят, расскажет председатель сельсовета Петр Игнатьевич Смородин.

Катя строчила, строчила протокол и старалась в то же время не только слышать, но видеть. Увидела, Петр Игнатьевич угрюм и недобр. Если бы Катя всегда его знала таким, боялась бы такого председателя, непреклонного, жесткого, с плечами уж слишком прямыми, грудью уж слишком вперед.

— Дело так обстоит, что позабыл, как ночью спят. Отощал от заботы, штаны падают.

— Ты про свои галифе помолчи, о деле давай,— бросили из толпы.

— Скажу о деле. До последней точки, товарищи односельчане, выложу правду. Пока до сути дознался, отбарывался. В укоме из меня душу трясут, а я не сдаюсь. Потому — доказательств в руках не имею. Нынче нашел. Виноват, товарищи. Каюсь. Не углядел вовремя, хотя состою на посту председателя. Вор есть среди нас, бесстыжий утаитель крестьянских пашен, эксплуататор и классовый враг.

Председатель выговорил эти страшные слова и умолк. Все подавленно ждали, что скажет дальше. Он не говорил. Тогда с разных парт, в несколько голосов, разом потребовали:

— Кто вор? Называй.

— Он! — пальцем указал председатель на Силу Мартыныча.

— А-ах! — прокатилось по толпе.

Катя опустила карандаш. Не могла дальше вести протокол. Действие начало развиваться с драматической скоростью, Катя всем своим существом в нем участвовала, забыв, что должна вести протокол.

Ни черточки не дрогнуло на щекастом, обложенном широкой бородой лице Силы Мартыныча, не отхлынула кровь.

— Страшен сон, да милостив бог,— выговорил с незлобивой улыбкой.

— Не скажу про бога, а пролетарский суд к расхитителям народного достояния не милостив. Да еще в такое-то время, когда люди гибнут...

— Понапрасну не распаляйся, товарищ председатель.

— Я тебе не товарищ.

— Рано отказываешься. Как бы за облыжное показание отвечать не пришлось.

— Отвечу, да не за то. Что проморгал классового врага, за это отвечу. В восемнадцатом году такую шкуру, как ты, без замедления бы к стенке,— все страшнее, бледнея и задыхаясь, прокричал Петр Игнатьевич.

Представитель ревтрибунала тронул его руку, судорожно вцепившуюся в край стола:

— Стоп, товарищ Смородин.

Председатель оторвал от стола руку, растопыренной пятерней расчесал волосы, перевел дыхание и отрывисто приказал:

— Нина Ивановна, выходи.

С изумлением и трепетом Катя увидела: вдова учителя поднялась с парты и тихими шагами вышла на середину класса. Долги показались Кате эти шаги, невыносимо долги. И такой скорбный вид у нее, в черном платке, с черными провалами глаз.

— Нина Ивановна, говори без утайки.

— Товарищи, мужики и бабы иваньковские, преступница я перед вами и перед Советской властью.

Какой жалкий у нее голос, дрожащий и жалкий. Все, пораженные, ждали. Вытягивали шеи, боясь не услышать. Сила Мартыныч окаменел, обратив на вдову учителя тяжелый, неподвижный взгляд.

— Муж мой, учитель Тихон Андреевич, в девятнадцатом году ушел на Деникина, знаете. После Деникина послали на Врангеля. Врангеля рушили, пора бы домой. Петр Смородин с фронта тогда возвернулся. И другие мужики, кто уцелел. А моего нету. По своей охоте или по приказу на Дальний Восток подался. Через него и узнала, что есть такой, Дальний Восток. Раньше-то и не слыхивала. Год скоро, как Тихон Андреич сгинул. Нет слуха...

Она оборвала речь и поникла, низко нагнула голову, пряча лицо.

— Дальше говори,— приказал председатель.

— Не могу я.

— Говори.

Блеклым голосом она продолжала:

— Сила Мартыныч в сельсовете, лошадный, в город то и знай ездит, про мужа узнал...— Вдова опять прервала рассказ, и снова все ждали без звука.— К белякам на Дальнем Востоке Тихон ушел. Хуже дезертира, говорит, твой Тихон, изменник советскому обществу. Теперь, говорит, красноармейский паек с тебя снимут, а то и вышлют в холодные места с ребятишками. Я в ноги: Сила Мартыныч, что хошь с меня требуй, только народу не сказывай! Тогда и закабалил. Батрачила на него. Только молчи, детей моих не позорь. А дальше — хуже. Раз по-соседски приволок ночью три мешка ржи. Велит спрятать в чулане. А зачем, не сказал. Так и пошло. Ночью притащит, в другую ночь отвезет. Мешков тридцать сплавил. Куда? Откуда? Не знаю. Сначала-то не догадывалась. Потом поняла. Да запер он мне рот на замок. Пригрозил: скажешь слово — изменниками всю семью объявлю. А ребятишкам годков-то: старшему шесть, меньшому четвертый.

— Хватит,— остановил председатель.— Астахов, ты отвечай. Встань. Стоя отвечай народу.

— Вроде не на суде мы, вставать-то. Заначальствовался, Петр Игнатич. Много на себя берешь,— невозмутимо, со смешком ответил тот.

Но встал. Плечистый, крепкий, с окладистой бородой, волосы на концах завиваются кольцами — богатырь!

— Отвечай.

— Врет она. С первого до последнего врет. Про учителя, правда, в городе слушок мутный поймал, да неохоч я до сплетен. И ей по-соседски советую: мол, пока казенного извещения нет, подержи язык за зубами. Спасибо, соседушка, хорошо ты мне за доброту отплатила. Рожь я ей таскал! Да откуда я столько ржи наберусь, посудите!

— А это, товарищи, я объясню,— быстро заговорил председатель.— Объясню досконально. Слушайте, как было. В семнадцатом, после земельного декрета, землемеры наши пашни измерили. А он, Сила Астахов, когда мы его в сельсовет избрали, а я, дурак безмозглый, всю бухгалтерию на него без контроля свалил, он подложных справок для земотдела настряпал. Неразбериха там, в земотделе, запутались они в первый-то год с новым налогом, не вдруг разберешься, а как разобрались, зачесали затылки: недостает в сельце Иванькове пашен, провалились сквозь землю. Вот ведь как, братцы, бывает: пропали засеянные десятины, и все. Значит, и налога с них нет. Так и записали в земотделе, что нет. А он, бывший товарищ Сила Астахов, хлебный налог с каждой десятины до пуда собрал, только заместо земотдела к Нине Ивановне в чулан, да постепенно к дружку на разъезд. А тот дальше.

— Опять же врешь,— не теряя спокойствия и уже не стоя, а снова опустившись на полено-кругляш, поглаживая бороду, проговорил Сила Мартыныч.— Поперек горла я тебе, председатель. Сожрать задумал. Кто видел спрятанный хлеб?

— Кто же увидит? Ты, Сила Мартыныч, приказывал никого в мой чулан не допускать, а ворованный хлеб там лежал,— тихо ответила Нина Ивановна.

— Наговорить всякое можно. Облыгатели испокон веку велись, и в наше, хоша и новое время, хватает их, облыгателей,— как бы с самим собой рассуждал Сила Мартыныч, задумчиво оглаживая широкую бороду.— Да и то сказать, сам слоховал, не молчать бы тогда про Тихона. Бабу пожалел, а она со страху по подсказке нынче на меня небылицу несет, вишь, дрожмя дрожит, как овца под ножницами.

Внезапно, как всегда неудержимо и бурно, вскипела Варвара Смородина:

— Нинка! Нина Иванна, и где твоя совесть, любовь твоя где? Оговорил злодей мужа... товарищи бабы, а тем более мужики, ослепли мы, не замечаем, как Сила Астахов со дня на день богатеет. С чего богатеть? Невдомек. А ты, Нина Иванна, сразу и поверила, что муж к белякам ушел? Сразу и земные поклоны бить. И-эх! Где твоя любовь, Нина Иванна? Да я бы про своего... кто бы что ни брехал, глаза выцарапаю, потому знаю, мой мужик честный, мой мужик не продаст...

— Варвара, молчи! — грохнул кулаком по столу Петр Игнатьевич.— Ты зачем мне акафист поешь? Обо мне разговор? Завела про любовь! Молчи, время знай.

В классе поднялись хихиканье, шум, и представитель ревтрибунала постучал пальцем по столу, призывая к порядку.

— Без свидетеля не докажете. Свидетеля нет,— уже совсем успокоенный неуместным взрывом Варвары Смородиной сказал Сила Мартыныч.

И вдруг... вдруг Катю обожгло: Катя вспомнила книжную полку в чулане, хилый огонек коптилки, который Нина Ивановна загораживала ладонью, чтобы не погас от дыхания, а за ее спиной в темноте прислоненные к стене вилы и грабли и ворох сена в углу, прикрывавший что-то. Она бегло все это увидела. «Зачем сено в чулане?» — мелькнуло тогда, но не задержалось. Занята была книгами. Раздобыла кипу книг, негаданное счастье...

Так вот, оказывается, зачем там было сено.

— Я свидетель. Я видела.

Волнуясь, спеша, Катя рассказала, как и зачем попала в темный чулан Нины Ивановны и что там увидела.

— Мешки видела?

— Мешки?

Катя потерянно взглянула на председателя. И он глядел на нее с нетерпеливым, страстным ожиданием во взгляде, но молчал и ни кивком, ни движением ресниц ничего не подсказывал.

— Мешков не видала,— улавшим голосом ответила Катя. И виновато: — Не знаю. Наверное, там были мешки.

Вздох разочарования услышала она в душном классе.

Сила Мартыныч презрительно хмыкнул:

— Наверное?! Надежных свидетелей насобирал председатель! Идите, граждане, проверяйте, кто хочет, есть ли у соседки в чулане мешки.

— Нет,— тихо ответила Нина Ивановна.— Ты их утром в воскресенье на разъезд увез. Ночью в сани нагрузил, сеном прикрыл, а утром увез. Еще метель тогда поднялась.

— Что-то не помню. Путаешь, Нина Ивановна. Вроде никуда не ездил я в воскресенье.

Тогда уверенно, громко крикнула Катя:

— Ездили. Я видела. Знаю.

Радуясь, что теперь-то она безошибочно его уличит, этого плечистого, сильного и чужого человека с желтым взглядом. Она не замечала раньше, что у него желтый взгляд. Тяжелый, безжалостный.

— Что ты будешь делать, и тут учительница наша в свидетелях,— развел руками Сила Мартыныч.— Скажи, какая быстрая! Да усердная. Все норовит в пользу властям доказать.— Он задумался, будто вспоминая. И вспомнил: — А ведь и вправду, Катерина Платоновна, было. Догнал вас в поле, точно не скажу, в воскресенье ли или в другой какой день.

— В воскресенье.

Тут вмешался представитель ревтрибунала:

— Катерина Платоновна, почему вы уверены, что именно в воскресенье встретили Астахова в поле, вернее, он вас догнал?

— Помню, была метель, сильная вьюга. И еще...

— Вот, вот, вот! — со злобным смешком подхватил Сила Мартыныч.— То-то и есть, что еще... Эх ты, девка, не соблюдаешь себя, а ведь учителка все-таки, или, как нынче называется, шкраб. Правильно. Еду в воскресенье к свату в Дерюжкино, за разъездом пять верст. По семейной надобности еду, оттого и воскресный день выбрал, в будни недосуг. А метель — глаза слепнут. Вижу учителка топает, парня провожает. Ну, я парня подвез до разъезда. Сам оттуда в Дерюжкино, к свату.

— Скажите, Катерина Платоновна,— деликатно и мягко обратился представитель ревтрибунала,— нам важно знать, кого и куда вы провожали?

— Эва, кого! — воскликнул Сила Мартыныч, поворачиваясь на своем кругляше к народу и ища и, может быть, уже находя в ком-то поддержку.— Кого? Тайка моя несмышленыш, и та догадается. Ночевал у ней парень, вот что. А сам мешочник. Целый день шнырял по селу.

— Катерина Платоновна, как зовут вашего знакомого? — снова спокойно спросил представитель ревтрибунала.

— Арсений,— сказала она. И... ужаснулась. А дальше?

— Арсений,— записал в книжечку товарищ из ревтрибунала.— А дальше? Отчество, фамилия, адрес. Мы его в сутки разыщем. Это важно, Катерина Платоновна. Не мог же он не заметить, что везет Астахов в санях. Итак, Арсений. А дальше?

— Не знаю,— почти беззвучно ответила Катя.

— Как не знаете? — удивился он.

— Не знаю.

Погибла Катя! Никогда, никогда не подняться ей в глазах иваньковского народа. В ее классе, ее школе



сошлись отцы и матери ребятишек, которых Катя учит и любит, и вот... Что они будут думать о ней? Как им объяснить? Раньше она шла улицей и встречный крестьянин снимал шапку и низко кланялся. А теперь?

— Вот ваши свидетели! — уже грозил и наступал Сила Мартыныч.— Кого, председатель, против меня выставляешь? Всем ведомо, учителка по твоей дудке пляшет. А за что? За то, что частенько в школу захаживаешь, да все под вечерок норовишь...

— Ух, гадина, контра! — во весь голос завопила Варвара Смородина.— Куда повернул! Нет, контра, учительницу позорить не дам. Мужика моего не пристегивай, он передо мной чист, как свеча, а что до парня... так в ту пору еще бабушка живая была, когда они парня бедного из жалости переночевать на печку пустили...

— Бабушку вспомнила,— ехидно ухмыльнулся Астахов.— Не на пользу себе бабушку вспомнила, гражданка Варвара Смородина.

Варвара опешила.

— Чего? О чем ты?

— Где кольцо? — резко повернулся на кругляше лицом к председателю Сила Мартыныч.

— Какое кольцо?

— Ага, побелел? Ты, Смородин, меня в землю живым сообразил закопать, ан нет, не вышло. А я тебя покрывать не намерен. По справедливости желаю вывести на свежую воду. Товарищи крестьяне, помните сбор на голодающих был, тута, в классе? Бабушка Ксенья Васильевна при всем народе в пользу голодных кольцо отдала. Золотое, с драгоценным камнем, чай, недешево стоит. Где оно?

— С ума своротил, Астахов,— до растерянности удивился Петр Игнатьевич.

— Покамест при полном уме. Где кольцо?

— Да я ж тебе расписку вручил, что вскоре же после того собрания кольцо в комиссию в городе сдал.

— Не вручал ты мне расписки, Петр Смородин, а кольцо, как в карман себе положил, так там и осталось.

Петр Смородин вскочил, схватился за грудь, рванув рубашку, несколько секунд стоял без слов с диким, блуждающим взглядом. Шатаясь, шагнул из-за стола. Прохрипел:

— Убью. На месте прикончу.



— Прекратить! — поднимаясь и держа руку на револьверной кобуре, чеканно приказал человек из ревтрибунала.— Прекратить самоуправство, председатель Смородин.

Смородин вернулся на место, повалился на стул, запустил в волосы обе пятерни и затряс головой, и лицо его позеленело, перекосилось, стало некрасиво и жалко от бессильного гнева.

— Товарищи! — говорил представитель уездного ревтрибунала.— С пропавшими пашнями и утаенным налогом разберемся. И с кольцом разберемся, уж, наверное, копия квитанции на сданное кольцо в комиссии есть. Невиновные, будьте спокойны. Виновных накажем. Революционный пролетарский суд без пощады накажет за каждый украденный у голодного населения пуд. Учительницу просим: простите, Катерина Платоновна, что дали негодяю в нашем присутствии вас оскорбить.

...В этот вечер Силу Мартыныча увезли в город.

Лучины и коптилки, а где и керосиновые лампы долго не гасли в этот вечер в сельце.

32

Рано будит мартовское солнце, а еще раньше, задолго до солнца, разбудит предзоревой ясный мартовский свет. День долгий, весь светлый, прозрачный. С крыши над школьным крыльцом свисают ледяные сосульки едва не по аршину длиной. К полудню начнется капель. Дождем польет на крыльцо, натекут лужи, и Авдотья, недовольно мыча, будет сгонять метлой со ступеней воду, не слыша, как капли звенят. Звенят? Или кажется Кате?

А сейчас на березовую арку, что у крыльца, слетелись снегири. Здравствуйте, снегири, с пушистыми красными грудками! Обычно вы прилетаете студеной зимой, когда деревья трещат от мороза и обледенелые ветви кустов ломки, словно стеклянные. Помните, вы прилетали под наши окна в келейном корпусе? Легко, грациозно рассаживались на сирени! Как мы радовались вам! Здравствуйте, милые снегири! Что-то поздно вы прилетели. Или проститься перед отлетом на север, зимние птички? Над нашей речу-

хой уже дымится желтое облако просыпающихся почек ольхи. Красные прутья вербы выпустили бархатные белые лапки. А как суматошно кудахчут куры во дворе, совсем посходили с ума! Петухи взлетают на прясла, хлопают крыльями себя по бокам и горланят на все село, хвалясь молодечеством. Да, ничего не скажешь, весна...

Катя отвела глаза от окна и снегирей на березовой арке и вернулась к «Книге для чтения» К. Д. Ушинского. Год первый.

Бывает, что важные открытия приходят не сразу. От скольких блужданий и ошибок была бы она спасена, если бы в самом начале открыла разумность трех книжек Ушинского. Год первый. Второй. Третий.

Обложки серые, бедненькие. А под ними богатство. Если бы сразу поняла, как понимает сейчас: простота, искренность, жизнь — это Ушинский!

Просто расскажет о простом, что вокруг тебя, в школе и дома, в огороде, в лесу. Просто о сложном — путешествии воды, кораблях, поездах, воздушном шаре. Даже грамматику умеет объяснить занимательно!

Правда, на одной из первых страниц крупным шрифтом сообщалось: «У бога милости много»,— и дальше порядочно встречалось поучений в таком же духе, но Катя научилась обходить подводные рифы. Умное, энергичное, с пронзительными глазами лицо глядело на нее с сереньких книжных обложек. Ободряло. Ушинский вводил ее за руку в класс. Кате стало увереннее с ним. Не такая уж никудышная она учительница. Возможно, ее призвание и талант как раз в том и есть, чтобы быть учительницей. Во всяком случае, Катя любила своих младших, средних и старших. Не вообще учеников и всех на свете детей, а именно своих, курносых, белобрысых, беззубых, веснушчатых, своих собственных, с которыми проводила почти все время.

Когда дни стали длиннее, Катя завела новый порядок. Теперь она учила в две смены. До обеда — младших. После обеда — средних и старших. Два вечера в неделю ликбез. На драмкружок пока не отважилась, но и без драмкружка работки хватало— часов-то ведь нет, что утром, что вечером часы шли не меряные. А вечерами при дымном огоньке коптилки читала приложения к «Ниве» из чулана Нины Ивановны.

Необычный гвалт стоял в классе. Примерные Катины ученики, которые даже в отсутствие учительницы вели себя негромко, не колошматили друг дружку, а если, сбившись на длинной парте, принимались «жать масло», так и то без особого шума,— сейчас галдели, как грачи в весенних гнездах. Катя прислушалась у двери.

— Дон! Дон! Дон! Третий звонок. Чугунка отправляется в город Москву. Уф-ух! Уф-ух!

Алеха. Вчера ездил с отцом на разъезд. Впервые увидал паровоз, затеял игру в поезда. Понятно.

— Уф-ух! Уф-ух! Дон-н-н. Эй, ты, куда без билета прешься? Я те дам! Я начальник станции, я всех главней.

Алеха Смородин всегда всех главней.

Однако поиграли и хватит, пора за уроки. Катя вошла в класс. Семеро младших цепочкой, друг дружке в затылок, топтались на месте, ухали, шипели, пыхтели, двигали взад-вперед руками, как поршнями,— поезд мчится на всех парах. Уф-ух! Восьмой— Алеха, начальник станции, он же и семафор, он же и колокол, извещающий об отправлении поезда.

Девятая младшая — Тайка Астахова. Она проболела недели три, пришла сегодня впервые и одна сидела на парте, низко склонив голову. Льняные волосы беспорядочно свисали на щеки; крупные слезы текли вдоль носа, она не вытирала их, слизывая с губ.

— Что ты плачешь? — спросила Катя, догадываясь и пугаясь догадки.

— Ворова дочь! Тайка, таратайка, балалайка! — показывая беззубые дыры во рту, выпалил Алеха Смородин.

Ребята при появлении учительницы не разошлись по местам, напротив, столпились у Тайкиной парты.

— Отец хлеба нашего наворовал, нарастил буржуйского брюха!

— Мы налогу собрали, а он тридцать мешков ржи от голодных себе утянул.

— Его на десять лет засадили. Кобылу отобрали. Ворованное добро отобрали.

Тайка беззвучно плакала, не смея откинуть с лица пряди волос, растрепанные, как нечесаный лен. Учительница молчала. Ее молчание сильней распаляло ребят.

— Ворова дочь! Ворова дочь! — все громче и злее свистело из беззубых ртов, ниже прибивая Тайкину голову к парте.

«Ушинский, помоги!» — мысленно взмолилась учительница.

Но не надо советов. Ничьих. Даже Ушинского. Катя знала сама. Сердцем, умом, пробуждающимся и с каждым днем крепнувшим в ней чутьем учительницы знала, что должна делать сейчас.

Отстранила ребят, отвела волосы с наплаканного Тайкиного лица, своим платком вытерла ручьи слез у нее на щеках:

— Ты не виновата. Тебе стыдно за отца, но ты не виновата. Ты не крала и никого не обманывала. Вы поняли? — обратилась она к ребятам строго и властно.— Ступайте по местам,— приказала она.

Ученики мгновенно послушались.

— Вы напали на Тайку, а за что? Разве она за отца отвечает? Ведь она не знала о его преступлении. Тайка — несчастная девочка. Большое несчастье — стыд за отца. Но не вина, а несчастье. Вы поняли?

Тихо прошли уроки. Без подъема, без обычных улыбок и живости.

— Вы не будете обижать Тайку,— сказала Катя, отпуская ребят,— вы будете жить всегда честно. И ты, Тайка, будешь жить честно. Идите.

Они вышли из школы гурьбой и тотчас разбежались в разные стороны, а Тайка побрела одна на край села, где, весь в деревянных кружевах, стоял ее безрадостный, опозоренный дом. Катя следила из окна класса за жалкой фигуркой, пока, обогнув против школы церковь, она не скрылась из виду. Сейчас начнут собираться на вторую смену средние и старшие. Но пока вместо средних и старших Катя увидела на дороге группу людей. Их было трое: Петр Игнатьевич, Нина Ивановна и неизвестный мужчина.

Они направлялись к ней в школу. Катя живо ушла из класса к себе, села на топчан, служивший кроватью, тахтой, чем хотите, и, для вида взяв книжку, стала поджидать посетителей. Вероятно, явился инспектор унаробраза. Он слегка прихрамывал, опираясь на толстую суковатую палку, и был одет в овчинный полушубок, несмотря на мартовскую капель, на ногах солдатские ботинки с обмотками: красноармейская буденовка с опущенными ушами сдвинута была на затылок. Так, полуштатскими-полувоенными выглядели многие приезжавшие из города начальники. Приезжало их в сельцо Иваньково после раскрытия астаховской кражи немало. Разбирались, мерили земли, доискивались, нет ли в чем

еще жульничества. Клевета на председателя развеялась разом: в городском комитете помощи голодающим не забыли золотое кольцо с рубиновым камнем, подтвердили, что сдано, но строгий выговор председатель Смородин получил — и за дело: государственное добро зорче береги, растяпой не будь.

А Нине Ивановне ее подневольное пособничество в воровстве Силе Астахову пролетарский суд ввиду смягчающих обстоятельств простил. Пожалели детей.

Что стало с Ниной Ивановной! Что так удивительно изменило ее? Сияние в глазах. Она ли? Что с ней? Вошла, кинулась к Кате, обняла.

— Катерина Платоновна, Катя! Вернулся.

— Кто?

— Муж. Тихон.

Человек в овчинном полушубке, постукивая по полу суковатой палкой, слегка припадая на правую ногу, приблизился, протянул Кате руку:

— Здравствуйте.

— Тишенька! Тихон! Тихон Андреич! — смеялась и плакала Нина Ивановна.— Катерина Платоновна, я ему сразу сказала, как вы о нем отозвались: «Он герой у вас, и вы должны им гордиться». Варвара при всем народе под защиту взяла... А я? Где моя совесть? Прощенья мне нет.

— Истерзали тебя, бедняжка. Не мучься, не рвись, все позади,— утешал он.

Вот он какой, учитель Тихон Андреевич! Ласковый. Наверное, внимательный к людям. А приложения к «Ниве» — ведь это все его книжки, его должна благодарить Катя.

— Да где же вы были, да что с вами было? Счастье-то какое, вернулись, Тихон Андреевич! Садитесь, пожалуйста.

Председатель сел на табурет у стола и тут же стал свертывать из клочка газеты цигарку и закурил. Раньше он курил, дымя в горящую печку, а тут задымил на всю комнату. Нервным стал после тех неприятных событий и сейчас угрюмо молчал.

Нина Ивановна с мужем сели на железную кровать Ксении Васильевны. И Нина Ивановна взяла руку мужа и, не отпуская, словно боясь на секунду расстаться, принялась рассказывать то, что говорила тогда на собрании. И совсем не то. И совсем не так. Гордясь, расцветая.

Воевал ее Тихон Андреевич с Деникиным, Врангелем, на Дальнем Востоке. Был политруком, воодушевлял красноармейцев на борьбу с белякми. А потом попал в партизанский отряд, а потом шел с отрядом тысячи верст, пешком, на оленях, через горы и реки, устанавливать в стойбищах вдоль Охотского моря, вдоль Ледовитого океана Советскую власть.

— Беда нас настигла,— сказал Тихон Андреевич, не перебивая, а как-то незаметно вступив в рассказ жены, может быть, оттого, что была она чересчур уж в горячке и трепете и он хотел немного ей помочь.— Отрезали белые наш партизанский отряд. Полгода в окружении маялись, а как к своим прорвались, тут же домой написал, а до почты верст двести, скачи — не доскачешь. Писал, да, видно, письма не доходили по адресу...

— Или кулак Сила Астахов перехватывал, чтобы в страхе батрачку держать,— жестко отрезал председатель.

— Едва ли. Уж очень рискованно. Братцы, не будем об этом. Что прошло, быльем поросло,— миролюбиво сказал Тихон Андреевич.

— Э-эх, Тихон Андреевич, в учителях христосиком был, таким и в солдатах остался.

— Напраслину наговариваешь, товарищ Смородин. А злобствовать зря не люблю.

Что-то было в учителе ясное, доброе. Он нравился Кате.

— А я-то как рада вам, Тихон Андреевич! В самое-самое время помощь мне подоспела. Признаться?.. Вам я признаюсь. И Петру Игнатьевичу и Нине Ивановне. У меня не всегда ведь уроки вполне хороши. Иногда в полном смысле провалишь. Ученики не догадываются, но я-то знаю. Тихон Андреевич, мы так с вами будем работать, если вы согласитесь, конечно... Я предлагаю, поделим группы? Вы старших возьмите. А мне хочется маленьких оставить себе. Мне хочется до конца школы их довести, посмотреть, что из них станет, как я их вырастила, что им дала...

Вдруг Катя заметила, они слушают ее исповедальную речь в каком-то странном смущении. Нина Ивановна погасла, потупилась. И учитель, опершись на палку, уставил взгляд в пол, не на Катю. А Петр Игнатьевич, напротив, глядел прямо на нее и невесело.

Катя смешалась, умолкла, не понимая.

— Н-да, значит, так,— угрюмо проговорил председатель.

Учитель, слегка припадая на правую ногу, перешел к Кате, сел к ней на топчан. Заговорил негромко, как бы с трудом:

— Демобилизовался я, в уездный отдел откомандировали из части. Там дают назначение. Куда? Понятно, домой, в родную школу. О вас, Катерина Платоновна, я тогда и не слышал. Кто вы, что вы, не знал.

— Ну и что же? Теперь узнали,— резонно возразила Катя.— А дальше ближе узнаете. Я так рада, что вас тоже сюда назначили! Мы с вами дружно будем работать.

— Сложная штука жизнь, Катерина Платоновна, трудная штука, порой даже очень,— ответил учитель.

— Что случилось? К чему вы меня подготавливаете? — воскликнула Катя, с испугом вглядываясь в их расстроенные лица, пытаясь понять.

Председатель вынул из кармана бумагу, небольшой лист с машинописным текстом, печатью и штампом, подал Кате:

— Н-да, значит...

«Учительницу начальной школы сельца Иваньково тов. К. П. Бектышеву сим извещаем, что по сокращению штатов увольняется с апреля месяца 1922 года.

Заведующий уездным отделом народного образования...»

«О ком это? Кто увольняется?»

Бумажка с печатью в Катиной дрожащей руке меленькими машинописными буквами выносила приговор тов. К. П. Бектышевой.

«Это я — тов. К. П. Бектышева? Меня увольняют? А как же дети, мои беззубые младшие? Я их научила читать, они пишут слова на грифельной доске, а скоро я им обещала тетради. Чистенькие тетрадочки в классном шкафу. Вы хотите меня увольнять? А куда я пойду? У меня нет дома. Комната в Иваньковской школе, а другого нет дома. Здесь, на погосте, могила бабы-Коки под снегом. Я хотела весной посадить на могиле цветы. Незабудки».

Катя жалобно улыбнулась, и, увидев эту вымученную ее улыбку, сквозь которую сейчас хлынут слезы, Петр Игнатьевич крякнул, растопыренной пятерней, как гребенкой, резко откинул назад волосы.

— Новая экономическая политика, Катерина Платоновна, проще говоря, нэп. Государству надо производство налаживать, приходится экономить во всем. По штату нашей школе один учитель положен. Вот в чем загвоздка.

«Значит, меня для экономии — вон! Осенью послали, тогда было нужно, сказали: должна. А теперь... из экономии вон?» — так думала Катя.

Гордость отчаяния поднялась в ней, она не улыбалась больше жалобной улыбкой.

— «Сохраню ль к судьбе презренье»...

— Что? Что? Как ты сказала? — изумленно вскинулся Петр Игнатьевич.

— «Сохраню ль к судьбе презренье?..». Не я. Пушкин.

Петр Игнатьевич вытащил кисет, снова взялся набивать самокрутку, с силой приминая большим пальцем махорку.

— Катерина Платоновна, Катенька! — стиснув на груди руки, просительно заговорила жена учителя.— Тихона по справедливости на старое место вернули...

Катя пожала плечами:

— Кто спорит?

— Мы с Тишей нашу будущую жизнь крепко обдумали. Заново нам ее надо налаживать. Хозяйство наше, пока воевал, вовсе порушилось. Мечта у нас: хозяйство маленько поднять...

— Что мне до вашей мечты? — оборвала Катя.

Снова негромко вмешался учитель:

— Возможно, вы меня осуждаете, Катерина Платоновна, но не я это дело решал, в смысле моего назначения. А если бы и я... Не могу я со своей школой расстаться! Здесь моя трудовая жизнь начиналась. Здесь семья. Куда мне с семьей от своей избы по нынешнему тяжелому времени? Мы с Ниной этот вопрос обсудили: я пока дома побуду, дыры в хозяйстве своем залатаю, а вы, как учили, так пока и учите, так и учите. И в комнате при школе живите по-прежнему. Мы с Ниной Ивановной обговорили этот вопрос. И председатель согласен.

— И председатель согласен? — едко усмехнулась в лицо председателю Катя.

— Согласен,— не принимая насмешки, серьезно и строго ответил он.— Пока остаемся при старом. Беру на себя. Стало быть, так, Катерина Платоновна?

— Не знаю. Подумаю.

33

А что думать? Что придумаешь?

Пока все оставалось по-старому. Новое то, что Тихон Андреевич раза два в неделю приходил в класс, занимался со старшими, но в основном, как и раньше, учила ребят Катя. Только без былого воодушевления. С охлажденной душой.

Ничто не вечно, а все же, когда тебе скажут, что этот темный, со старым шкафом и длинными черными партами, неуютный, но уже привычный, уже дорогой тебе класс стал не твоим, ты в нем незаконно, лишь из участия добрых людей,— душа вянет. И даже дети не так милы, как раньше. Скоро ты их оставишь. Тебе прикажут оставить.

В уездном отделе народного образования пока что отнеслись снисходительно к ненормальному положению в Иваньковской школе. Пока, до начала нового учебного года.

Стали присылать из отдела образования педагогические брошюры, инструкции, проекты программ, что-то много стало приходить всевозможных руководящих бумаг. Среди них внушительный приказ учителю Тихону Андреевичу представить на утверждение планы школьных и внешкольных занятий.

Учительницы Екатерины Платоновны в ведении унаробраза не числилось. Нет такой учительницы. Есть Катя Бектышева, у которой ни кола, ни двора, ни родной на свете души.

Одна Фрося. Фрося звала: «Приезжай, Катя, милая, к нам. Уступлю тебе кровать, буду спать на полу, потеснимся мы с Васюней для тебя, милая Катя».

В газетах Катя читала, что Комиссия ВЦИК, пересматривая учреждения РСФСР, добилась сокращения чиновников на 60 процентов. Что путем соединения маленьких губерний и уездов сокращается еще 25 процентов. Что в Московском отделе труда зарегистрировано много безработных учителей. И в других губерниях также.

Государство экономит, государство рассчитывает, государство приступает к выполнению грандиозного плана подъема разрушенного хозяйства страны.

Что касается Кати, она в числе тех процентов...

Робость все глубже охватывает ее. Снова она не верит в себя. Мир огромен, а как неуютно и одиноко в нем Кате!..

Она тянула с отъездом. Учебный год окончен, ребята отпущены на каникулы, и делать Кате в сельце Иванькове вроде бы нечего, но она тянула с отъездом. Чем она жила? Как? «Иду. В траве звенит мой посох».

Где ты, где ты, Арсений?

Катя хотела как-нибудь отблагодарить Тихона Андреевича за то, что он дал ей довести учебный год до конца. Ходила полоть с Ниной Ивановной гряды в их огороде. После, в разгаре лета, убирала сено.

Сенокос — работа веселая, праздничная. Какой-то парень разбежался на учительскую делянку на берегу Голубицы, схватил Катю в охапку, раскачал, бросил в речку под общий одобрительный хохот. Катя вынырнула, вылезла, тряся головой, фыркая, как жеребенок, мокрое платье облепило ее, она чувствовала себя голой, ей было стыдно, хотелось спрятаться, но спрятаться негде.

— Приходи вечерком к сельсовету погулять под гармонику,— позвал парень.

Катя не захотела знакомства. Она привыкла быть в сельце Иванькове учительницей Катериной Платоновной. Держаться строго и неприступно с парнями. Гордой ее не называли за это. Говорили: лишку тиха.

Наступило жнитво. Жнитво — настоящая страда. Солнце беспощадно палит. В небе ни тучки.

Нина Ивановна жала серпом, Катя вязала за ней снопы. Руки спасались в холщовых нарукавниках, а грудь, шея, ноги искусаны колосьями, словно комариными жалами. Пот струями течет по лицу, во рту горько от соленого пота. Колица ниет желтым, душным, колючим снопом! Катя вяжет их соломенными свяслами, стаскивает по пяти снопов в одно место, ставит в бабки. Бабки ее неказисты: то валятся набок, то расселись неуклюжими копнами.

— Ладно, сойдет,— подбадривает Нина Ивановна.

Учитель натрудил раненую ногу, не ступить.

Ничего, и одни управимся. Пусть ломит спину! Пусть красные искры стреляют в глазах. Рубашка — хоть выжми. Зато как сладко, когда Нина Ивановна объявит обед и, устало шаркая по стерне лаптями, пойдет за корчажкой кислого молока, схороненной в меже, а ты растянулась на старенькой дерюжке, прячась от солнца за бабкой, закинула под голову руки и глядишь, глядишь в синеву. Не думать ни о чем. «...Звенит мой посох»...

Рожь убрали в пять дней. До овсов Катина страда окончилась. А дальше? Что дальше? Где ее настоящее дело? Где ее место?

Говорят, страусы, когда грозит опасность, прячут голову под крыло... Ты страус, Катя? Эх, Катя!.. Рассказывал тебе Петр Игнатьевич о геройских девчатах? Эх, Катя...

Она снова ушла в чтение. Потеряла счет дням. Иногда, подняв глаза от страницы, с удивлением видела заходящее солнце. Или солнца давно уже нет,

над речкой вечерний туман. А пришла она сюда на берег ранним утром с книгой и краюхой ржаного хлеба, не заметив, как за чтением ее уплела.

Она выбрала уютное местечко под старой ивой у реки. И читала здесь Короленко, всего, полное собрание сочинений от первого до последнего тома. «Но, все-таки... все-таки впереди — огни!»

Иногда, отложив книгу, она предавалась фантазиям. Нереальным. Разве фантазии бывают реальны?

...Вот она идет серединой улицы в конец сельца, где расписанная резными наличниками изба учителя, а на другой, самой крайней избе, красный флаг и вывеска «С е л ь с о в е т».

Раньше здесь жил Сила Мартыныч. Теперь его жену, с постным, как икона, лицом, и тихую Тайку переселили в половину заброшенного поповского дома.

Медленно идет Катя широкой иваньковской улицей. Тяжесть сжимает сердце в предчувствии беды... Она глядит прямо перед собой. И видит его. Он появляется из поля, в холщовой блузе, с мольбертом.

— Здравствуйте, Катя,— говорит он.

— Я вас не знаю,— отвечает она, продолжая идти.

Он меняет свой путь и с ней вместе возвращается в поле, где цветет некошеная душистая вика и высоко в небе реют ласточки с острыми крыльями.

— Вы забыли меня. Я Арсений, студент ВХУТЕМАСа. Меня прислали сюда на практику, рисовать среднерусский пейзаж.

— Да? Но какое это имеет ко мне отношение?

— Катя, вспомните! Пожалуйста! Я вошел к вам в школу, под белую арку. Был волшебный день!

— А-а,— равнодушно вспоминает она,— вы были такой голодный, несчастный. Как жадно набросились на еду, даже ничего путного не могли рассказать. Помню, вы, как нищий, весь день ходили по дворам...

— Стыдно, Катя, моя мать от истощения слегла в постель.

— А! Помню, помню, на следующее утро вы чуть не сбежали. Если бы я не услыхала случайно...

— Я постучал бы к вам в дверь.

— Надеюсь, ваша мать выздоровела? Вам не пришло в голову написать мне об этом?

— Катя! Я болван...

— Ругайте себя, сколько влезет, все равно я вас презираю. Я презираю вас.

— Катя, я не догадался узнать вашей фамилии.

— О! Достаточно было написать на конверте: сельцо Иваньково, школа. Вы могли сообщить о матери, что выздоровела. И довольно. Ничего больше.

— Я не знал названия сельца, ни уезда. Я хотел написать, что влюблен в вас. Мечтал написать вам, что вы тихая душа, вы нестеровская девушка...

— Студент ВХУТЕМАСа, вас прислали сюда на практику, отчего же вы не рисуете? Ах, у вас просто нет таланта, ни капли таланта. Почему вас не выгонят из ВХУТЕМАСа?

— Вам нравится меня оскорблять?

— Я буду оскорблять вас всю жизнь. Всю жизнь буду вас ненавидеть.

— Неправда. Вы меня любите, Катя.

Она вытирала листком мокрое от слез лицо. Срывала с ветки листы и вытирала слезы. Вот до чего довел ее Гамсун! Начиталась она этого Гамсуна! Ведь каждому ясно, все ее диалоги, полные яда и оскорбленной любви,— прямое подражание Гамсуну.

Впрочем, сейчас она читает Чехова — «Даму с собачкой». Спасибо учителю, и Чехова она раскопала в его темном чулане. Чехов застенчивый, сдержанный. Помните, Маша в «Трех сестрах» все молча насвистывает? Тихо насвистывает. Как грустно...

Что-то плеснуло в бочажке, над которым Катя сидела у ивы, свесившей ветви до самой воды. Должно быть, прошла крупная рыба, плеснула хвостом.

— Катерина Платоновна-а-а! — неслось от сельца: — А-а-а!

Ватага ее бывших младших (в новом учебном году они станут средними), ее босоногих, беловолосых, в ошметках рыжих веснушек, с облупленными носами, ватага мчалась к ней через луг под предводительством Алехи Смородина. Орали. Что? Не разберешь, но, должно быть, хорошее. Это можно было понять по сияющим лицам, особенно Алехи Смородина. Он домчался первым и, задыхаясь от бега:

— Кличут в сельсовет... велели скорее... письмо получено... важное.

Они наперебой объясняли учительнице, что письмо такое... такое... Они не знали, какое. Только, что важное.

«Откуда? От кого? Ах, наверное, Фрося снова зовет, а председателю наконец надоело, решил избавиться от меня... от заботы».

Потому Катя вошла в сельсовет с замкнутым и безразличным лицом, на котором написано было равнодушие, что давалось ей нелегко и дурнило, совершенно меняло ее. Известно, в трудных случаях она не умела собою владеть.

Волна махорочного дыма и резкого запаха пота хлынула на нее. Катя стала у порога.

Шел сход, как всегда, многоречивый и бурный. Председатель во главе стола, покрытого красным кумачом, супя брови, слушал чью-то, должно быть, заковыристую речь.

Летом Катя редко встречала председателя. Он до черноты загорел. Из расстегнутого ворота линялой косоворотки выпирали углами ключицы. Он был весь пыльный и выгоревший, только сапоги, начищенные дегтем, зеркально сверкали. От этого щегольства, этой своей слабости, председатель даже в страдную пору не мог отказаться.

— Обожди,— перебил председатель оратора, когда Катя вошла.

И, протягивая Кате бумажку, со штампом и казенной печатью, произнес торжественно, как на трибуне:

— Товарищи, граждане сельца Иванькова, перед вами наглядный пример, на том наглядном примере вы можете понять, как Советская народная власть идет навстречу трудящемуся человеку, ежели он, ясное дело, не буржуйских взглядов, всей душой признает революцию. Можете убедиться, товарищи граждане, как Советская власть показывает трудящемуся человеку дорогу.

Катя держала бумажку, но ничего не могла в ней понять, кроме штампа и казенной печати. Будто пеленой заволокло глаза, она ничего не могла прочитать. Она хотела убежать от людей и наедине разобраться, о чем эта бумага, какое имеет к ней отношение. Но председатель не дал Кате сбежать.

— Стой, Катерина Платоновна, куда заспешила, ишь прыткая! Вслух, всему народу читай, потому что это есть пропаганда и агитация советского строя.

Катя прочитала вслух:

— «Сергиевский педагогический техникум приглашает для повышения квалификации учителей, сокращенных из-за отсутствия педагогической подготовки.

Начало занятий 1 сентября 1922 года.

Обучение бесплатное. Общежитие и питание обеспечены»

(Окончание следует.)



Вл. ВОРОНОВ

ГРАЖДАНИН ФЛОРЕНЦИИ

500 лет со дня рождения Микеланджело

Он часто в письмах не без гордости называл себя гражданином Флоренции. Той самой республиканской Флоренции, которая на протяжении трех столетий — от XIV до XVI — оказывала мощное влияние на судьбы всей Италии и дала миру целую плеяду великих художников, поэтов, мыслителей. Бурные события постоянно сотрясали город; один из выдающихся флорентийцев, Никколо Макьявелли, писал, что таких событий, которые выпали на долю его родного города — войн, бедствий, внутренних распрей,— было бы «вполне достаточно, чтобы привести к гибели даже самое великое и могущественное государство». А Флоренция выдержала. «Так велика была доблесть ее граждан, с такой силой духа старались они возвеличить себя и свое отечество, что даже те, кто выживал после всех бедствий, этой своей доблестью больше содействовали славе своей родины, чем сами распри и раздоры могли ей повредить».

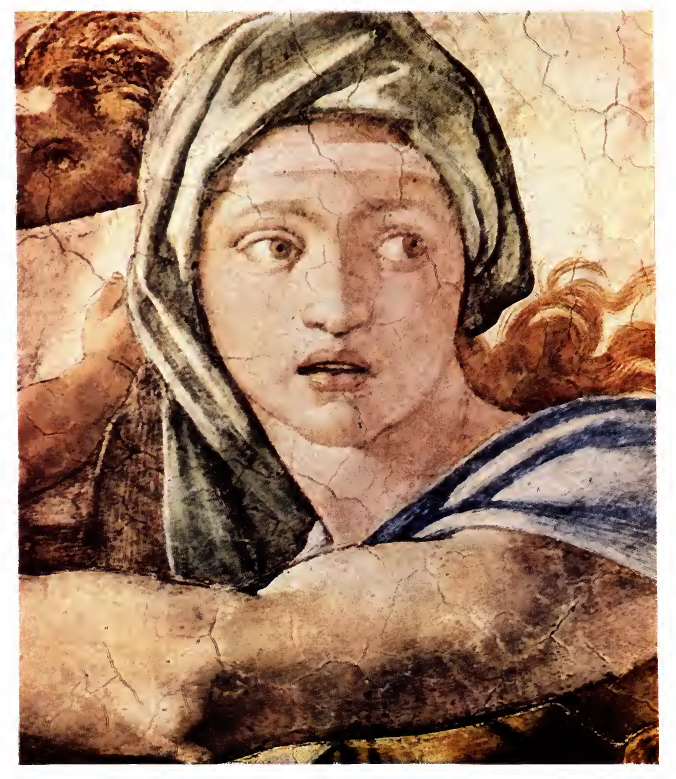
В этих условиях сложился своеобразный характер художника, сильный, свободолюбивый, с обостренным чувством патриотической верности своему городу-республике.

Микеланджело прославил родной город и, когда потребовалось, защищал его с оружием в руках от иноземцев. Он знал, что Флоренция тоже защитит его в трудную минуту. Памятен случай ссоры скульптора с папой Юлием II в 1506 году: по навету завистников Микеланджело не был допущен в папский дворец, чтобы получить деньги для уплаты рабочим за доставленный из Каррары мрамор. В один день он велел распродать все свое имущество в римском доме и умчался верхом по дороге во Флоренцию, передав папе, что он больше не служит в Риме и пусть ватиканский государь разыскивает его, где хочет. Пятеро папских гонцов с наказом вернуть мастера любой ценой настигли Микеланджело уже за пределами римских владений в нескольких милях от Флоренции, где беглец был уже недосягаем для посланцев Юлия. Они умоляли скульптора вернуться, но сумели уговорить строптивого художника только на письменное объяснение по поводу своей обиды. Флоренция тогда радостно приняла Микеланджело, намереваясь заказать ему несколько произведений, но последовали грозные папские послания, настаивающие на возвращении скульптора в Рим. Ссориться с папой даже для Флоренции было делом рискованным, и городская синьория — выборный совет города — предложила Микеланджело звание посланника свободной Флоренции, чтобы умерить гнев Юлия II. Потом они помирились, папа и скульптор: в Ватикане понимали, что́ значит Микеланджело для Рима и для Италии.

Во Флоренции юный художник пережил, может быть, лучшие годы своей жизни, познав счастье безоглядного увлечения искусством. Ему было четырнадцать лет, когда он из мастерской знатного живописца Доменико Гирландайо попал в дом Лоренцо Медичи, правителя города, умного покровителя художников, утонченного поэта, ученого гуманиста. Лоренцо Медичи быстро убедился в необычайной талантливости Микеланджело, выделил ему комнату в своем палаццо и относился к нему, как к сыну. Главное, что привлекало начинающего ваятеля у Медичи,— роскошный сад при доме, уставленный античными скульптурами. Их начал собирать еще дед Лоренцо — Козимо Медичи. Молодые художники имели возможность любоваться, изучать и копировать мраморы греческих и римских мастеров. Лоренцо был поражен, когда увидел одну из первых работ Микеланджело: голову смеющегося фавна. То была не только копия: молодой скульптор сумел домыслить в мраморе детали лица, утерянные в оригинале. Неторопливые беседы о поэзии Данте и Петрарки, не затихавшие в доме Медичи, разговоры об античном искусстве, неустанные занятия скульптурой под началом опытных учителей, общение с выдающимися людьми Флоренции — все это позволило пытливому уму Микеланджело очень рано, в шестнадцать лет, стать «с веком наравне».

Он понял свое призвание, в полной мере осознал достоинство человеческой личности, почувствовал величие задач подлинного искусства. Два года, проведенные юным Микеланджело в доме Медичи, стали лучшей школой для начинающего скульптора.

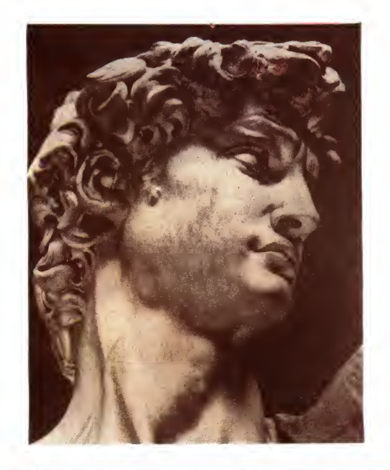
На улицах Флоренции в начале пятисотых годов можно было мимоходом встретить Леонардо да Винчи, который был более чем на два десятилетия старше Микеланджело, молодого, острого на язык Рафаэля в окружении друзей, почтенного Сандро Боттичелли... Такое соперничество подстегивало честолюбивую натуру Микеланджело. Он еще с детства был резок и неуживчив с товарищами; его считали трудным ребенком, а позже — трудным учеником в мастерской Гирландайо... И когда в июле 1501 года ему предложили посмотреть мраморную глыбу, уже четыре десятилетия валявшуюся без дела, и решить, можно ли из нее изваять что-то дельное, Микеланджело согласился. Он знал, что лучшие скульпторы города уже отказались от предложения, посмотрев обболваненную глыбу длиной в пять с половиной метров. Последним среди отказавшихся был Леонардо да Винчи; ситуация достаточно острая и заманчивая для 26-летнего Микеланджело, жаждущего изваять шедевр. И молодой скульптор согласился. К тому времени он уже прославился мраморной композици-



Дельфийская сивилла.

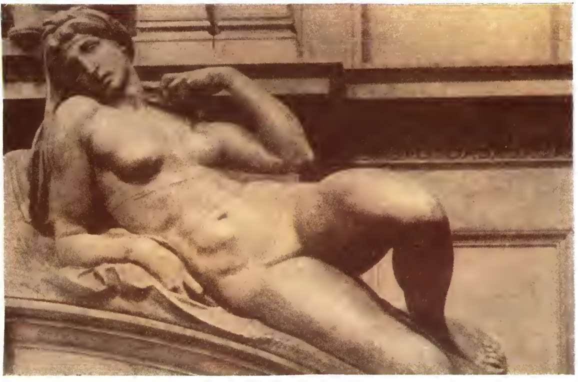
Из произведений МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ. 1475—1564.

Давид. (Фрагмент.)



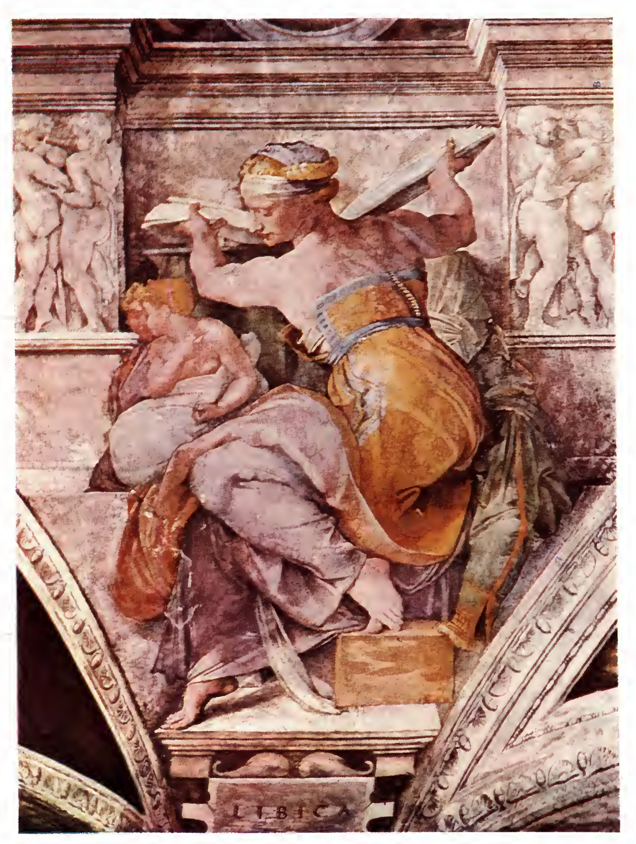
Надгробие Лоренцо Медичи.

Утро. (Фрагмент.)





Борющийся раб.



Ливийская сивилла.

ей «Пьета» (богоматерь, оплакивающая мертвого сына), сделанной по заказу кардинала Риари для собора святого Петра в Риме, но все же возраст Микеланджело вынуждал заказчиков быть осторожными при заключении договора.

Сейчас с веселым удивлением читаешь этот договор, заключенный цехом шерстяных мастеров с молодым скульптором:

«Уважаемые господа старосты шерстяных ткачей и господа рабочие, собравшись на совещание этого сообщества, избирают мастера Микеланджело, сына Лодовико Буонарроти, флорентийского гражданина, изваять и совершенно закончить начатую мраморную статую под названием Гигант, вышиною в 9 рук, принадлежащую упомянутой корпорации и когда-то неудачно начатую мастером Августом Великим из Флоренции... Когда эта мраморная статуя будет закончена, старосты и рабочие, выбранные к тому времени, обсудят, надо ли повысить цену, и постановят должное по своей совести».

«Господа старосты шерстяных ткачей и господа рабочие» остались довольны: когда закончена была только верхняя половина «Давида», плата за работу была повышена «по совести». А установка юного Гиганта перед дворцом на площади Синьории летом 1504 года явилась праздником для всего города. Мраморная статуя Давида, ставшего символическим защитником Флоренции, простояла на площади больше трех столетий, а потом ее от дождя и пыли переправили под крышу академии (сейчас на площади стоит мраморная копия «Давида»).

Скульптор использовал мраморную заготовку до предела; на темени и подставке фигуры можно заметить следы резца прежнего мастера; а на спине Давида кое-где не хватило буквально одного-двух миллиметров для нужного объема.

О новом произведении Микеланджело заговорили по всей Италии; придворные меценаты французского короля Людовика XII тоже пытаются приобрести его работы. А когда на папский престол взошел Юлий II, дальновидный 64-летний политик, полный грандиозных планов по возвеличению Ватикана, лучшие художники со всей Италии были собраны в Риме. Среди них, конечно, Микеланджело. Юлий II решил при жизни построить себе гробницу. А 30-летний флорентийский ваятель, полный сил и творческих замыслов, предложил грандиозный проект гробницы, которая могла — будь она построена — затмить все дотоле имевшееся на земле. Более сорока статуй должны были украшать папский мавзолей, размещенные не как обычно, у стены, а в середине собора с четырехсторонним обходом.

Потом Микеланджело долго жалел, что взялся за гробницу. Она стала для него проклятием. Пока скульптор восемь месяцев возился в Карраре, отбирая мраморные глыбы и переправляя их в Рим, папа передумал — не без помощи знаменитого Браманте, выдающегося архитектора, видевшего в молодом флорентинце своего соперника. По прихоти Юлия, сокращая и переделывая проект, скульптор вынужден был отказаться от прежних замыслов. Позднее, после смерти Юлия в 1513 году, договор четырежды пересматривался; скульптора обвиняли в растрате, и не раз в письмах он жалуется на то, что скорее ему самому надо заказывать гробницу, а не Юлию II. Через много лет гробница Юлия все-таки была закончена, хотя и поставлена не в соборе святого Петра, а в другой церкви. Фигуры сидящего Моисея, рвущихся из пут рабов, две символические женские фигуры — деятельной и созерцательной жизни — составили композицию этого всемирно известного шедевра. С ним соперничает разве что только гробница Лоренцо и Джулиано Медичи, выполненная мастером через несколько лет во Флоренции.

А пока властный Юлий по наущению Браманте предлагает Микеланджело заняться нелюбимой им живописью и расписать потолок Сикстинской капеллы, имевший форму прямоугольного коробового свода. Недруги уверены, что Микеланджело не справится с заказом: ведь он не живописец. Да и сам автор «Пьеты» и «Давида» отказывается, предлагая поручить сикстинский плафон Рафаэлю. Юлий II в ярости настаивает и наконец уламывает флорентинца. Двадцать месяцев трудится он без помощников на высоких подмостьях, расписывая потолок капеллы, и если есть в мировой живописи свои семь чудес света, то среди первых, конечно,— сикстинский плафон, расписанный Микеланджело. Он вложил в эти фрески свои любимые мысли, сокровенные раздумья о людях и вселенной. В библейских сюжетах — от сотворения мира и грехопадения Адама до великого потопа — в изумительных фигурах пророков и сивилл художник выразил духовное могущество и красоту Человека, познающего жизнь и самого себя, переделывающего мир по своему образу и подобию.

Долго еще после окончания сикстинского плафона мастер не мог нормально читать и писать; ему нужно было держать книгу над головой. В письме 1508 года к брату Микеланджело писал, как он с двенадцати лет скитался по всей Италии, «испытал всевозможные лишения и унижения, истязал свое тело чрезмерной работой, подвергал свою жизнь тысячам опасностей». Даже если бы он создал только одного Гиганта или «Моисея», только один сикстинский плафон или гробницу Медичи, его имя осталось бы в памяти потомков. Но Микеланджело — автор «Страшного суда» в той же капелле, он построил купол собора святого Петра в Риме, он автор гениальных рисунков и картонов. И сколько произведений затерялось или погибло! Бронзовая статуя Юлия II в Болонье была сброшена восставшим народом с фронтона церкви и разбита. Картина «Леда в объятиях Лебедя» была сожжена во Франции при Людовике XIII по приказу начальника королевских дворцов, усмотревшего в ней нечто безнравственное. Еще больше произведений остались незаконченными.

Микеланджело пережил многих славных своих современников и умер восьмидесяти девяти лет, окруженный славой и признанием. Престарелого мастера звали работать в разные города Италии, его приглашали к себе турецкий султан и французский король. Но художник решил закончить свой путь на родной земле.

Бенвенуто Челлини, обдумывая, по поручению синьории, как провести торжественное погребение Микеланджело, предлагал нести во главе процессии две статуи. Одна — статуя смерти: «Ее поза должна быть скорее гордая и дерзкая, а не убитая и опечаленная». Другая — статуя жизни. Бенвенуто, обычно скупой на похвалы, добавлял: «Жизнь должна показывать, что этот великий человек своими замечательными качествами дал более жизни... чем сам получил от всего живущего, так как, прожив 89 лет, Микеланджело переживет себя девяносто раз девяносто».

Прошло всего каких-то пять раз по девяносто, и сегодня никто не сомневается в правоте слов Бенвенуто Челлини.



В. КИСУНЬКО

ПРИЧАСТНОСТЬ

В октябре 1932 года А. М. Горький писал А. В. Луначарскому: «Вы прожили тяжелую, но яркую жизнь, сделали большую работу. Вы долгое время, почти всю жизнь, шли плечо к плечу с Лениным и наиболее крупными, яркими товарищами... Книга Ваша о Вашей жизни объективно нужна. Художественная наша литература все еще — к сожалению — бессильна дать, изобразить революционера, создателя партии, которая ныне сотрясает весь мир и неизбежно разрушит все отношения в нем... Не говорю уже о том, как нужна такая книга для нашей молодежи, от которой прошлое уходит с фантастической быстротой, да,— но оставляет за собой ядовитую пыль, и от этой пыли — сереют души, тускнеет разум...»

В декабре 1933 года Луначарский умер. Книга воспоминаний, бывшая, как писал Горький, «в планах» одного из издательств, не была создана.

Луначарский умер всего лишь на пятьдесят девятом году жизни. Но сколько вместила в себя эта жизнь, эта судьба — одна в ряду тех, что выпали на долю ленинской гвардии.

Не многие из них успели написать воспоминания. Жизнь каждого из этих людей — страница великой книги истории, и не случайно Горький — пусть по тем временам еще в отрицательной форме, ставя перед литературой лишь задачу будущего,— писал о высоком долге художественной литературы: восстановить эти страницы, восстановить книгу в целом, сделать ее достоянием людей.

Сегодня, когда на полках читателей выстроились в ряд выпущенные Издательством политической литературы более чем три десятка книг серии «Пламенные революционеры», можно говорить о том, что сделана попытка выполнить завет Горького.

«Пламенные революционеры» — серия, создающая именно единую книгу. По-настоящему и произведения о большевиках звучат именно в общем ряду, потому что серия рассказала читателю о Симоне Боливаре, Максимилиане Робеспьере, о Виссарионе Белинском, Зыгмунте Сераковском, Тарасе Шевченко, Коста Хетагурове, о Сен Катаяме, об Эристе Тельмане.

Так простой подбор имен раскрывает читателю революцию как общее дело лучших умов, лучших людей разных времен, разных народов. Читатель следует за авторами из эпохи в эпоху, из страны в страну, из жизни в жизнь. Все книги серии — повести, романы; герои их — люди реальные, пускай овеянные легендами, пускай вошедшие в духовный обиход миллионов людей. Оттого задача лишь сложнее.

Я слышал от покойного писателя А. Дейча рассказ о том, как однажды на обсуждении исторических романов А. В. Луначарский, в частности, сказал, что ему прислали на отзыв повествование о Марксе. Луначарский прочел в рукописи примерно следующее: «Маркс подошел к окну, остановился, вглядываясь в туманный лондонский вечер. Он помолчал, побарабанил пальцами по стеклу, а потом повернулся и сказал». «Что сказал Маркс?»— спросил Луначарский. И ответил: «Маркс «сказал» свое письмо к Кугельману». И даже дату письма назвал Луначарский.

Это не просто курьез, выявленный читателем, безукоризненно знающим материал, обладающим тонким эстетическим чутьем. Это даже не просто «цитатная» болезнь литературы, основывающейся на документальном материале. Это проблема, проблема немалая, над которой бились и бьются мастера слова. Почитайте воспоминания Александра Корнейчука, Николая Погодина, Алексея Каплера об их работе над сценариями и пьесами о Ленине, и вы лишний раз убедитесь в том, как трудна задача сохранить мысль, интонацию, лексику героя и в то же время не подменять писательский рассказ о герое простым пересказом либо прямым цитированием. Здесь и начинает «работать» мера вкуса, мера такта писателя. Задается она, пожалуй, иной мерой — той, что позволяет отбирать события, ограничивать рассказ о жизни героя. В книгах серии нет строгой заданности хронологических рамок жизни того или иного замечательного революционера. И это делает повести интересными, разнообразными, порой неожиданными по композиции. Это позволяет и самим авторам найти «свой голос» в историческом повествовании.

«Выстрел в Метехи». Михаил Лохвицкий пишет о Ладо Кецховели — человеке, предательски убитом в тюрьме, когда ему было всего двадцать семь лет. Автор ведет обстоятельный рассказ, вклинивая в него воспоминания о своих встречах со старком — нашим современником, который знал, помнил Кецховели.

«Мы долго сидели в задумчивости.

— Спасибо вам,— сказал я.— После того, как я вас послушаю, мне многое становится яснее.

— Мне и самому,— отозвался Варлам,— теперь, спустя столько лет, жизнь Ладо представляется полнее. Говорят же, что издали все лучше видно».

Это не просто фрагмент, взятый из авторского отступления. Это отчетливо выявленный, последовательно проведенный принцип работы Михаила Лохвицкого над повествованием о Кецховели: понять, увидеть своими глазами то, что отдалено десятилетиями, увидеть и пластически воплотить. Сейчас получили распространение так называемые «открытые исследования», в которых ход авторской мысли становится полноправным героем повествования. С тем, что делает Лохвицкий, принцип «открытого исследования» может быть косвенно сопоставлен; правда, появление автора на страницах книги, появление, так сказать, прямое, открытое — всего лишь несколько «ударных», эмоционально насыщенных эпизодов. Ка-

Юность 4. 1979 г

ПРОЗА



МАРИЯ
ПРИЛЕЖАЕВА

ПОВЕСТЬ

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

1

Зал был просторен и неестественно светел. Цепенящим холодом веяло от белизны стен, потолка, постамента. Одна стена, сплошь застекленная, открывала вид на широкое поле, далеко по горизонту очерченное темной полосой хвойного леса.

Ярко-синее небо глядело сквозь стеклянную стену, и от его сверкающей синевы было особенно жутко. Сияние неба, белизна зала, тихая музыка и...

В гробу странно белое лицо отца с глубокими впадинами под глазами было пугающе чужим. Мертво сомкнуты губы. Строгая успокоенность в окаменелых чертах. Неужели отца больше нет? Как нет? Вот он. Нет, не он. Чужой. Это и есть смерть? Не быть, не видеть, не знать?

Что-то говорит Красовицкий. Папа! Ты не слышишь, тебе все равно. Ты не знаешь, что сегодня пятнадцатое сентября, а небо летнее, но ты не видишь, тебе все равно...

— Прощай, товарищ! — говорит Красовицкий.— Ты был чистым, бескорыстным человеком. Вся душа твоя целиком была предана делу. Твой талант оригинален... Умереть в сорок три года! Сколько осталось несделанного!

После Красовицкого еще кто-то говорил о бескорыстии и таланте отца, но он не слышит. Народу на похороны приехало мало. Панихида тянулась недолго.

Зал от малолюдности казался еще просторнее и холоднее. Просторный, высокий, неестественно светлый зал. На постаменте посреди зала гроб. За дверью, в соседнем зале, ожидают очереди другие гробы.

— Прощайтесь,— сказала служительница крематория.

Рисунки
Ю. ВЕЧЕРСКОГО

Музыка тихо звучала сверху на балконе, над залом.

Красовицкий взял Антона за локоть:

— Простись.

Антон поднялся на ступень постамента, неловко перегнулся через край гроба, притронулся губами к папиному лбу. Ледяной ужас пронизал его.

Мама с плачем упала на грудь отца. Ее подняли, держали под руки. Мама мотала головой из стороны в сторону.

— Не верю! Не верю! Совсем недавно был жив, и вдруг...

Деловито застучал молоток, вбивая гвозди в крышку гроба. Гроб медленно стал опускаться вниз, где печи. Медленно задвинулись створки над ямой.

Оркестр на балконе бодро заиграл марш, славя жизнь.

2

— Он был преступно скромен. Не понимаете? Преступно перед собой, перед нами, мною и сыном. Всегда где-то позади, в стороне, оттесненный другими. У других признание, слава, деньги, а у него... И хоть когда бы пожаловался, кого-то укорил, обиделся, взбунтовался. Нет. Если хотите знать, он... был, он... был...

— Не нужно,— тихо остановил Яков Ефимович.

Мама говорила громкой скороговоркой, красные от слез глаза щурились, словно пытаясь разглядеть что-то не видное другим. Антон впервые видел маму такой возбужденной и шумной. Выпила залпом полстакана водки и говорит, говорит, выкрикивает что-то, жестикулирует.

Когда в редких случаях папа, наверное чем-то расстроенный, выпивал две-три рюмки, то прятался смущенно в свой угол за фанерной перегородкой. А мама буйствовала, стучала кулаком по столу. Вообще-то она не пила. Сегодня едва ли не впервые.

— Почему другим даются успехи, а ему нет? Ведь вы говорите, он был талантлив? — с вызовом спросила она.

Потом смолкла и, вспомнив, что за ее столом собрались на поминки по мужу, Виталию Андреевичу, который всего три дня назад бесшумно расхаживал из угла в угол здесь по комнате, дымя сигаретой, обдумывая свои несбыточные фантазии, вспомнив, что пришли люди его почтить, затихла и упавшим голосом выронила:

— Я его погубила.

— Несуразицу несете, душенька моя,— благодушно возразил Красовицкий.

Он принимал активное участие в организации похорон, был доволен, что выполнил товарищеский и общественный долг, и сейчас, первым произнеся, как и в крематории, поминальное слово, аппетитно закусывал и выпивал. «Жалко Виталия, рано свалился и, верно, скромным был человеком, но что значит «преступно скромен»? Что она имеет в виду? Впрочем, не будем придавать значения. Все в прошлом».

— Ты был настоящим человеком, Виталий...

— Если что его погубило, Татьяна Викторовна,— обращаясь к матери Антона, заговорил Яков Ефимович,— если что его погубило...

Он кивнул на картину в деревянной раме, висевшую против стола. Среди других картин, набросков, этюдов, почти сплошь заполнивших стены, она выделялась.

Цветущий луг. В жизни Антону не встречались такие луга, такое обилие радостных, необычайной окраски цветов! Странное облако плывет над лугом, похожее на печальную птицу. На востоке пламенными стрелами вырываются лучи восходящего солнца, а с другого края что-то тяжелое, тупорылое вступает на луг, и, срезанный железной челюстью, падает пестрый вал трав.

«Ведь я видел картину, почему же только сейчас стало жаль цветной луг?» — тревожно подумал Антон.

Чепуха. Сантименты.

В их девятом классе «акселераты» (почти все на несколько сантиметров выше ростом его ста шестидесяти шести) презирали сантименты. Жаль луг? А кормить коров надо? Молочко любишь?

Но все же, что отец хотел сказать картиной?

— Сенокос. Так Виталий увидел сенокос в наше время, когда сельское хозяйство требует всеобщего особого внимания, пропаганды, поэтизации! — пожимая плечами, сказал Красовицкий.

— Сенокос ни при чем,— возразил Яков Ефимович.— Условность. Природа прекрасна, а машине безразлично, вот что он говорит. А человеку дорого. Не губите красоту. Берегите! Вот что говорит талантливая неожиданная картина Виталия. При жизни кто-нибудь ему это сказал?

— Словом «талант» не бросаются,— недовольно буркнул Красовицкий.

— Мы бессовестно скупы на признание... не себя, себя-то мы не забудем. Если что убивало Виталия, так это наше молчание,— повторил Яков Ефимович.

Антон его не знал. Может быть, отец когда-то что-нибудь о нем рассказывал, Антон не запомнил. Яков Ефимович понравился ему не только тем, что сейчас заступился за картину отца. Высокий, тонкий, узкоплечий, с густыми темными волосами, удлиненным лицом, притягательно грустноватой улыбкой, он вообще ему понравился.

— Наше молчание убивало Виталия...— настойчиво повторил Яков Ефимович.

— Ерунда! — вспыхнул Красовицкий.— Если бы из-за каждой неудачи падали с инфарктом, половина Союза художников лежала бы на кладбище.

— Что вы говорите? О чем? — разволновалась мама.

— Не стоит ворошить,— миролюбиво и в то же время неспокойно сказал Красовицкий.

— Стóит. Скажешь, плохо? — снова кивнул Яков Ефимович на картину.

— Неплохо, но смесь реализма с какими-то неопределенными новациями. Во всяком случае, на обсуждении так высказывались многие. Может человек сказать свое мнение? Имею я право быть реалистом, чистейшим реалистом, не страшась критических ухмылок всяких наших модернистов, новаторов? — разгорячился Красовицкий.— Зачем красные маки? Ты видел когда-нибудь на наших лугах красные маки? Что это? Франция? И что за машина без водителя? Эклектика, идейная неясность.

— У нас чуть что пооригинальнее, сейчас же ищут идейную неясность,— насмешливо скривил губы Яков Ефимович.— Когда последний раз Выставком отбирал картины, Новодеева даже не позвали показать его луг. Так вы, «реалисты», обрисовали его работу...

— Эх, Яков, мы — «реалисты» — хоть во всеуслышание заявили, что картина на профессиональном уровне.

— Сказать о картине, что она на профессиональном уровне и ничего больше, значит угробить.

— Эх, Яков, Яков! А ты чего воды в рот набрал? Мог бы защищать, отметить живописные качества.

— Я не член Выставкома. И вообще слишком вдалеке от руководящих товарищей. Но мог бы, конечно, мог и должен был спорить, доказывать. Не оправдываюсь. Плохо, что не вмешался. Всё свои забо-

ты, до других дела нет, если даже товарищу худо,— возбужденно твердил Яков Ефимович.

Красовицкий налил новую рюмку. Мама, нахмурив лоб, враждебно молчала. Антон подумал: значит, у гроба отца врали, называя талантливым? Но неужели он верно совсем не талантлив? Но ведь этот луг, весь в цветах, так хорош! Почему же так печально на него смотреть? Прав Яков Ефимович, отец боролся за красоту. Отец был печальным человеком. Облако, похожее на белую птицу, это папина печаль. А если бы его хвалили, прославляли, посылали за границу? А если бы при жизни ему сказали — талантлив? Он купил бы конфет и шампанского, и они веселились бы весь вечер. И завтра и каждый день. Папа редко смеялся...

— Да, не всегда Новодеева встречало признание,— сочувственно произнес Красовицкий.

— Не всегда?! — возмутился Яков Ефимович.— То-то и дело, что много неудач и незаслуженных. Хотя бы этот луг... что и убило его.

— Яков, давай не будем говорить о том, чего нет. Ты ведь знаешь, и вы, Татьяна Викторовна, знаете, медицинское заключение. Он перенес инфаркт на ногах. Его из поликлиники, когда наконец он туда заявился, немедля отправили в больницу. Он умер, не протянув суток в реанимации. Яков, зачем ты кого-то и что-то понапрасну винишь в его смерти? Разве мало умирает от инфаркта счастливых людей? Разве определишь точно причину? Разве...

— Извините, мне пора,— поднялся Яков Ефимович.

Поцеловал руку Татьяне Викторовне. Антону негромко:

— Держись.

Красовицкий остался делить еще некоторое время одиночество осиротевшей семьи.

3

Утром Антон, как обычно, проснулся со звоном будильника, но не вскочил сделать зарядку, поупражняться с гантелями... Мама неслышно собиралась на работу. Ей к девяти — прошагай переулок, пересеки бульвар, и ее учреждение. Обычно Антон — у него первый урок в полдевятого — выходил из дому раньше мамы.

Когда-то их дом среди небольших деревянных, бывших дворянских особнячков с уютными двориками, заросшими сиренью и акациями, располагался этаким громоздким купчиной кирпичной красной кладки. Этажи высокие, окна выложены поверху кирпичными наличниками — все прочно, массивно. В целях будущего благоустройства района старенькие особняки были снесены, а красный кирпичный домина, должно быть, из уважения к его прочности, оставлен до времени жить. Но заборы между бывшими особняками сняли, и получился большой, безо всякой планировки, растрепанный двор, где местами росла даже травка, и там и тут стояло несколько старых лип и кленов, и возле дома ютились уцелевшие кусты сирени. В общем, все это были ненадолго сохранившиеся в центре города остатки прошлого века, о котором отец Антона не уставал сокрушаться. Не о прошлом веке, а об исчезавшем лице старой Москвы.

Поодаль от их дома в последний год поднялись многоэтажные, из светлого праздничного кирпича, с широкими окнами и лоджиями, нарядные здания, на которые Антону и поглядеть-то было любопытно и весело. Их отец терпел, иные ему даже нравились. А высотные башни на окраинах города и кое-где в центре называл каменными джунглями.

— Консерватор! Доведет тебя критика,— ворчала мама.

— До чего она меня доведет?

— Ох, горюшко ты мое, художник!

Ночь после похорон Антон проспал как убитый, а утром проснулся в жестокой тоске. Словно камнем придавило грудь. Папы нет. Что значит — нет? Что такое смерть? Что такое не быть? Неужели когда-нибудь я тоже не буду? Все останется — наш дом, папины картины, мосты над Москвой-рекой, вечный огонь у Кремлевской стены, а я не буду? Зачем жить, если — неминуемая смерть?

Не хочу. Не надо. Экскурсия на выставку новейшей техники. Не хочу. На тумбочке лежит начатый фантастический роман. Ничего не хочу. Ничего не надо.

Мама подошла на цыпочках. Он не успел закрыть глаза, притворяясь спящим.

Мама присела на кровать.

— Проснулся? Антошка, одни мы остались.— Она заплакала, всхлипывая и сморкаясь.— Я виновата перед ним, нет мне прощения. Когда он возвращался со своих ужасных собраний, где кого-то хвалили... приходил, горбил плечи, словно хотел стать меньше, невидней, мне бы лаской, шуткой встретить его... А я? «Бедненький ты наш неудачник». Я ведь не с жалостью, с издевкой ему говорила, я его ненавидела, когда он такой возвращался прибитый. А он запрется как на замок. А я... Если бы вернуть! На один час. Кинулась бы на колени. Прости! — Она вытерла слезы, помолчала и привычно усталым голосом: — Собирайся в школу. Знай, нам рассчитывать не на кого. Вчерашними поминальными речами участие кончилось. Дальше барахтайтесь, как умеете, сами.

Мама рассеянно поцеловала его на прощание, думая, видно, о том, как им дальше барахтаться. Встала, машинально подошла к окну.

— Взгляни.

Во дворе за окном, впереди группы нескольких тополей, немного отделяясь, единственная, молодая береза, стройная, вся облитая золотом осенних листьев, пылала оранжевым светом. Сентябрь стоял яркий, небо по-летнему слепило глубокой синевой, и казалось, счастье бродит вокруг, только отвернулось от них.

— Горит, как свеча,— сказала мама.— Горит в память папы золотая свеча...

Выйдя со двора, Антон увидел впереди направлявшуюся в школу троицу ребят с Колькой Шибановым в центре. Колька, длинный, как жердь, считался в классе исторической личностью. Вернее, исторической была фамилия. «Князь Курбский от царского гнева бежал, с ним Васька Шибанов, стремянный». Натяжечка. Во-первых, наш не Васька, а Колька. Во-вторых, и в том Шибанове ничего выдающегося.

— Как ничего? А это... «Но рабскую верность Шибанов храня, свого отдает воеводе коня».

— По-о-чему рабскую? — заикался Колька.— Почему не дру-ужба, са-амопожертвование...

— И правда, ребята, они на равных в чужеземной Литве.

— Рабство есть психологическая категория характера.

— Со-оциальная-ая, если ты ма-а-атериалист.

Там, где Шибанов, непременно спор. Антон торопливо пошел в противоположную сторону.

Представились жалеющие взгляды учителей, неук-

люжее, без слов, сочувствие ребят, вздохи девчонок,— и не пошел в школу.

...Антон побрел куда глаза глядят. В общем-то он был дисциплинированным парнем, уроки не прогуливал. Но сегодня разве прогул?

Улицы нелюдны в этот утренний, еще не загрязненный выхлопными автомобильными газами свежий час. «Пойду по бульвару, дойду до самого Пушкина»,— подумал Антон. Однажды папа сказал: «Давай летом двичем с тобой в Михайловское. Я краски и кисти захвачу, подышим там пушкинским воздухом». «Здорово!» — согласился Антон. Но не очень искренне. У него были свои планы. С Колькой Шибановым и Гогой Петряковым они мечтали пуститься в путешествие по Москве-реке и дальше по Оке на байдарке. Не получилось ни того, ни другого. Байдарку Гоге отец не доверил, а папа для всех и себя неожиданно уехал в ту творческую командировку. Рассчитывал на месяц, а пробыл два с лишним. Вернулся какой-то необычный, чем-то полный и в то же время замкнутый. Он вообще был не очень открыт, а тут и вовсе умолк.

— Пока не все ясно,— отвечал на мамины расспросы.— Рано или поздно прояснится. Или пан, или пропал.

— Какой уж там пан! — снисходительно сказала она, разбирая привезенное им из командировки белье и считая деньги, ничтожную сумму. Ведь он там работал, должен был заработать хоть что-то. На единственную написанную им в командировке картину, изображавшую цветной луг и печальную птицу-облако над лугом, мама еле взглянула, как бы предчувствуя, что Выставком забракует работу.

Не забраковал, но и не принял.

«Все-таки папа уж очень не умел за себя постоять».

— Бедненький мой, невезучий, — вздохнула мама.

— Зачем так смягченно? — отвечал отец.— Валяй прямо: неудачник, бездарный.

— Другие не способнее тебя, а выставляют, продают картины. Блат.

— У нас не больше, чем у вас,— вяло возражал отец, прислоняя к мольберту свернутый в трубку лист, закуривая сигарету.

— У нас! Ха-ха. Машинистка больше положенного не настукает. У нас выше нет, уравниловка. Скажет тоже — ха-ха! — у них и у нас!

— Татьяна, перестань. Несет какую-то ересь. Ну что ты на меня нападаешь? — тихо и грустно защищался отец.

...Антон раздумал идти к Пушкину. Побрел назад, к дому. Сел во дворе на скамью под сиреневым кустом с пожухлыми листьями.

«А я? Хотя бы единственный раз спросил папу, что у него? Какие планы, надежды? Ведь были у него планы, надежды. А я ни разу...»

Мама ворчала на отца.

— Пилишь, как пила,— говорил отец.

Но иногда раскаяние, жалость бурно охватывали маму.

— Выходец из прошлого века. Интеллигент высшей марки. За то и ценю. Понял, дурень?

Отец молча курил. Он без перерыва курил. В его маленькой, отгороженной фанерной перегородкой комнатенке, которую мама торжественно именовала мастерской, висели тучи дыма, и даже в летние дни, когда окно распахнуто и ветер колышет ситцевую занавеску, едкий табачный дым не рассеивался. И за курение мама пилила отца. За нелюдимость.

— У других знакомые, товарищи. Если хочешь знать, товарищи — все. Были бы у тебя друзья...

— У неудачников не бывает друзей,— угрюмо возражал отец.

— С чего ты взял, что неудачник? — вдруг вскипала мама.— Ты одаренный. Но только ты, понимаешь, Виталий, ты слишком в себе. Необщественный, неколлективный. Боже! Кто мог бы с тобой ужиться, кроме меня?.. Антон, подмети пол. Бог знает, что в доме творится! Все на мне. Заездили вы меня.

Почему-то у мамы была особенность ласковые слова говорить тихо, а упреки кричать так, что слышно не только на лестничной площадке, а, наверное, на всех этажах. И уж соседке, конечно, до слова.

Правда, их единственная соседка, бухгалтер на пенсии, в своей тесно заставленной старой мебелью комнате почти не жила, нянча внука где-то в окраинном районе Москвы. Но уж когда приезжала, вдоволь наслушивалась маминых жалоб.

А отец кротко.

— Мы счастливые с тобой, Антошка, у нас есть наша мамочка. Остальное — вещи, гарнитуры — обойдемся без них. Я за всю жизнь по лотерейному билету не выиграл. Нет, и не надо.

Вдруг, к общему изумлению, отец выиграл по лотерейному билету швейную машину. Мама и Антон разглядывали ее, как игрушку, и радовались: все-таки выиграли. А отец расстроился.

— Похоже на насмешку. Пусть бы собрание сочинений какого-нибудь современного классика, вазу какую-нибудь, я уж не говорю о «Жигулях». Зачем нам швейная машина? Тем более что мама и шить не умеет.

— Научусь. Я у вас рабочая лошадка, всему, что надо, научусь. А ты мог бы деньгами взять свой выигрыш. Туго ты соображаешь, Виталик, что касается практики.

Почему Антон, которому идет уже шестнадцатый год, никогда не участвовал в семейных делах и заботах? Все его интересы на стороне. Школа, кино, шахматы, товарищи, книги и... в самое последнее время — о н а. О н а — его тайна. Никто, даже Колька Шибанов, не подозревал, что у него есть тайна— о н а. Антон знал ее издали: о н а на класс его старше. Они не обмолвились и словом. Ничто их не объединяет, не связывает...

Антон сидел на скамье под кустом сирени и думал об отце. О том, как они будут жить без отца? И о н е й. Он знал о н е й только одно — ее зовут Ася Дубровина.

4

Может быть, завтра он пойдет в школу? Послезавтра? Ни завтра, ни послезавтра, и вообще неизвестно когда. Чем дальше, тем труднее Антону там появляться. Прогул затянулся. И школа не вспоминала о нем. В огромной, многомиллионной, богатой заводами, институтами, искусством, театрами, вернисажами, выставками, архитектурными памятниками, в стремительной, древней и новой Москве многие ли знали художника Виталия Андреевича Новодеева? Никто не сообщил в школу, что у девятиклассника Антона Новодеева умер отец. В школе не знали. Даже Колька Шибанов не спохватился узнать.

Мама не подозревала, что Антон ее обманывает. Он наловчился обманывать. Вечерами мог сидеть час, уткнувшись в учебник, ни строчки в нем не прочтя,

А мама, вернувшись с работы, наспех поставив вариться на завтрашний день суп или щи, стукала на машинке, печатая что-то для заработка. Так было и при папе. В сущности, что изменилось? Нет папы. Все остальное — как было. Между тем все изменилось. Бывало, папа, стоя перед мольбертом в своей комнатенке — «мастерской», водил кистью. Потом ужинали в кухне, переговариваясь об обычных делах, ничего особенного, но нет папы — и одиноко и грустно...

Антон заметил — мама часто задумывается, покачивая головой, протяжно выговаривает:

— Да-а.

— Мама, чему ты «дакаешь»?

— Своим мыслям. Помнишь, отец иногда назовет меня — Тати-а-на. Как мосье Трике... Антон, холодильник барахлит, папа починил бы. Ты уж не маленький, Антон, а ничего не умеешь.

Она вынула из машинки отпечатанную страницу в четырех экземплярах, разложила по стопкам.

— Первую часть кончила. Важная работа, военные мемуары генерала в отставке Дмитрия Анатольевича Павлищева. Довольно любопытно. Антон, отнесешь по адресу. Возьмешь продолжение.

Она аккуратно вложила отпечатанную рукопись в портфель Антона. Раньше такие поручения выполнял отец. «Свободный художник, оторвись на часок от творчества для житейской прозы»,— посылала мама. Теперь Антон понес мамину работу генералу в отставке Дмитрию Анатольевичу Павлищеву.

Все, всякая мелочь напоминала отца. Раньше и не замечал, как папа живет. А теперь.. Вот несет рукопись какому-то генералу Павлищеву и почему-то вспоминает, как прошлым летом отец взял его в родную деревню в области, соседней с Московской.

Отец с детства не был там и вот решил навестить. И что же? У нас много по стране богатых колхозов, даже миллионеров, везде тракторы, машины; колхозных девчат и парней по одежде не очень-то отличишь от городских, часто и по образованию вровень, а папина Осиновка на реке Резвухе обнищала, избы покосились, те вросли в землю, а те заколочены; полчища бурьяна нагло буйствуют на брошенных огородах. И роща, по которой деревня носила название, поредела, торчат пни вырубленных осин. А где Резвуха с омутами, ивами, сочной осокой у зеленых берегов, быстрыми струями и шумным колесом мельницы — там бурлила, падая через плотину, вода. Где Резвуха? Вдоль вязкого от черной грязи ложа бывшей веселой реки не протекал, а почти недвижно лежал маленький, в шаг шириною, невзрачный ручей. Отец сел на траву, где раньше был берег реки, оперся на колени локтями, подбородком на кулаки:

— Обмелела река моего детства.

После сказал Антону:

— Вот заняться бы тебе... Деревенские реки мелеют. Вымирают реки. Раньше держались запрудами, плотинами. Теперь запруд нет. Заняться бы тебе этой проблемой.

Папа горевал о реке своего детства. Никого не осталось в деревне, родных нет. Теперь нет и Резвухи.

Генерал жил в одном из тех светлых, нарядных домов, которые высились поодаль направо и налево, окружая неуклюжий, приземистый дом Антона Новодеева, грозя его потеснить.

Двор, как и дом, отличался ухоженностью, обдуманностью планировки лужаек, скамеек, молоденьких елочек, посаженных стройными рядами или в кружок. Вдоль части первого этажа тянулась крытая галерея, где несколько белых плафонов лили с потолка мягкий свет, приглашая в гостеприимные двери входа. В просторном вестибюле за столом с телефонным аппаратом восседала пожилая женщина в очках, читала журнал «Здоровье».

Глянула на Антона поверх очков:

— К кому?

Генерал Павлищев обитал на пятом этаже. Послышались чьи-то легкие шаги, дверь отворилась и... Кто сказал, что на свете не бывает чудес? Дверь отворила о н а.

— Антон! Новодеев!

Представьте, она тоже знала его имя!

— Ты ко мне?

— К генералу Павлищеву.

— Так это мой дед. Дед, к тебе пришли! — закричала она.— Из школы, Антон Новодеев.

Она проводила его в кабинет деда.

Еще полчаса назад Антон сказал бы, что такое может быть только во сне.

Кабинет генерала с большим книжным шкафом, кожаный диван, кресла. Ковер во всю стену. Два ружья, кинжал в ножнах, сабля и огромный, непонятного назначения рог на ковре. Массивный, заваленный бумагами и книгами письменный стол. Все было внове и любопытно Антону.

Худощавый, прямой, в домашней коричневой куртке с бежевыми отворотами, генерал сидел за столом. Полистал принесенную рукопись.

— Прекрасно! Татьяне Викторовне спасибо. Татьяна Викторовна твоя мать? Передай спасибо. А вот следующая порция. Получай.

Антон спрятал в портфель довольно толстую стопку бумаги, исписанной четким, строгим почерком.

— Хотелось бы, чтобы мама не очень задерживала,— сказал генерал

— Хорошо. Я передам.

О н а стояла у порога, Антон не видел, но чувствовал ее присутствие.

— Маме поклон,— сказал генерал, и Ася вышла вместе с Антоном из дедова кабинета.

— Зайдем ко мне?

Удивительное продолжилось. Антон в смятении следовал за нею. Она была его тайной на расстоянии, издали. Ему нравилось думать о ней, воображать ее издали. Сейчас, вблизи, он не знал, как держаться, о чем говорить. Она привела его в небольшую комнату. Антон заметил оранжевые занавески на окне из сплошного стекла, торшер того же тона возле дивана. Казалось, комната залита солнечным светом.

— Садись.

Сели. Она на диван, он на стул против дивана. Он глядел на нее во все глаза, во рту пересохло, он решительно не знал, о чем говорить.

...Волосы пушистыми волнами сбегают у нее на плечи. Она не тонюсенькая, как большинство наших девчонок, которых, кажется, можно перехватить у пояса руками, крепенькая, складная: наверное, ловко берет мяч в волейболе, может быть, лыжница, спортсменка. Антон заметил и ее ситцевый, в голубеньких кружочках халатик, белые тапочки. Все в ней мило.

Почему он увидел ее только нынешней осенью? Почему раньше не увидел ее?

— Как твое взрослое имя? — задал он первый глупейший вопрос, чтобы как-то начать разговор, потому что она не начинала, а улыбаясь, молча на него глядела.

— Ася.

— А по-взрослому?

— Ася же! Помнишь тургеневскую Асю? Мама романтик. Ищет во всем поэтическое или хотя бы не-

стандартное. Надоели Тани и Вали. Пусть будет тургеневская Ася. Тебе нравится?

— Ничего.

Она засмеялась:

— Спасибо и на том. Спрашивай дальше. Сразу уж все узнавай.

— Сразу всего не узнаешь. А родители?..

— Родители в Англии. Папа работает в консульстве, мама преподает в нашей посольской школе. Дед с бабушкой не захотели меня отпускать, им скучно одним, потому я и живу у них.

— О-го! Важная ты персона,— дерзковато, чтобы показать равнодушие к ее важности, сказал Антон.

Ему стало непросто и не очень уютно в генеральском доме. И жаль, что она перестанет быть тайной...

— Пока еще не персона,— беззаботно ответила Ася,— поглядим, что будет потом.

Она была смешлива, в темно-синих глазах вспыхивали искорки, а у губ при улыбке обозначались с той и другой стороны две ямочки.

— Родители в Англии, а на тебе ничего заграничного,— снова не очень впопад полуспросил Антон и запылал яростной краской, сообразив, что замечание его не слишком умно.

Ася засмеялась, тряхнув светлой гривкой волос.

— Дед не любит клипсы, джинсы и все прочее модное. Ужасающий деспот. А у тебя дома что? — спросила она.— Ты единственный? Ясно. В нашем десятом почти все единственные. Мама машинистка, поняла. А отец?

— Папа умер неделю назад,— глядя в ее беспечные глаза, сказал Антон.

Она тихо охнула. Сцепила руки, хрустнула пальцами.

«Надо уйти, скорее уйти»,— думал Антон. Ася быстрым движением поднялась, взяла руками его за виски. Антон почувствовал на горячей щеке ее прохладные губы.

5

«Она меня поцеловала. Поцеловала меня. Пусть из жалости... она поцеловала. Не хочу, чтобы жалела, но ведь еще раньше она узнала, что я Антон Новодеев. Мало ли в школе ребят, а она узнала именно меня, отчего-то заметила, хотя мы в разных классах. Как все радостно, необыкновенно. Но что это я? — спохватился Антон.— С ума сошел! Как я смею радоваться, когда папа умер? Я самый последний человек, самый презренный на свете, изменил папе... Нет, нет, нет! Папа! Я не забыл, что ты умер, не хочу радоваться без тебя. Не сметь радоваться, не сметь думать об Асе!.. Здорово, что ее зовут Асей. А как хорошо она сказала, что ее мама романтик. И дед интересный. Бабушку еще не видел, а дед интересный, судя по кабинету; ковер увешан оружием, будто в восемнадцатом веке. И мемуары... И она веселая, без забот... Но что я! Ведь приказал себе не думать о ней. Ничтожный человек, нарушил приказ... А завтра пойду в школу».

Он приготовил с вечера учебники и тетради, повесил на спинку стула форму для завтрашнего дня и то шумно хлопотал, боясь что-то забыть, то задумывался так глубоко, став без движения у темного, почти ночного окна, что мама удивилась:

— Какой-то ты на себя непохожий сегодня.

Утром Антона разбудил ее стон. Она лежала в постели бледная, с разметавшимися по подушке волосами.

— Антошка, не пугайся, чуть прихворнула. Слабость, и все тело ноет. Вызови, пожалуй, врача. И не ходи в школу сегодня,— сказала она.— Был бы жив отец... вся нагрузка без него на тебе.

Антон кипятил маме чай и, не зная, как еще ей помочь до прихода врача, без толку суетился, снова звонил в районную поликлинику.

Врач все не шел, пришла почтальонша.

— Письмо. Заказное. Распишись тут.

— Художнику...— он запнулся.— Виталию Андреевичу Новодееву.

— О боже, боже! Читай. Что с нами делает жизнь? Читай.

— «Многоуважаемый Виталий Андреевич! Наш замысел, в котором Вы приняли такое жаркое участие, нас все больше интересует. Делаем все по Вашим советам в смысле планировки, экспозиции и тому подобных тонких вещей, что до встречи с Вами было для нас все равно, что для горожанина лес дремучий. Великая просьба: приезжайте в Отрадное, Виталий Андреевич, возможно скорее, до крайности нужна Ваша консультация и обещанная помощь. Хочется выполнить задуманное. Вышлите телеграмму, встретим Вас на самой новейшей «Волге» или для экзотики запряжем Гордого в «музейный» наш тарантас, прискачем на станцию. Помните Гордого? Он Вам понравился, превосходно Вы его нам запечатлели в подарок. Спасибо за все. Ждем с нетерпением. Ваш недавний, но преданный друг и почитатель, представитель и полномочный Отрадного...»

— Дай! — хрипло прервала мама, поднимаясь с подушки.

Антон протянул письмо.

— Конверт!

Он передал конверт. Трясущимися руками (какие худые, бледные руки!) мама порвала на мелкие клочья конверт и письмо.

— Вот вам! Вот вам! Вот... У вас «Волги», музейные тарантасы, а он... а мы... вернулся без копейки. Почитатели, доконали вы его-о-о!..

Она упала на подушку и отчаянно, как тогда, у гроба, мотала головой, скрипя зубами.

Антон рылся в шкафу, ища теплую кофту — мама зябла. Разбил стакан, наливая ей воду, что-то делал еще, все нескладно, все больше впадая в уныние, но тут пришли из поликлиники.

— Экий у вас беспорядок,— были первые слова старой докторши.— Картин на стены навешали, а пол не подметен.

Грузная, с тяжелым подбородком, она ворчливо упрекнула Антона, что живет без лифта на третьем этаже, а у нее пятнадцать вызовов в день, и половина без лифтов; район старый, дома, почитай, все постройки прошлого века, в новые не зовут, там свои поликлиники, топай по этажам целый день в ее-то годочки, а бросать работу не хочет. Не может жить без работы.

Наворчавшись, отдышавшись, она прослушала маму.

Утомление сердца, необходимо полежать,— так определила она, выписала больничный лист и рецепт, и не успела уйти, раздался новый звонок.

Подобно героям Достоевского, которые внезапно являются в одно место, в одно время, чтобы дальше развивать действие, явился Колька Шибанов.

Антон, как все ребята его возраста, жадно читал детективы. Но не только. Его страстно притягивал Достоевский. Наверняка он не все понимал в Достоевском. Непонятное пропускал, но было там много неотразимо влекущего, что будило и будоражило душу, взрослило. Невероятные события, беспокояще странные люди, жгучие чувства, страдания и радо-

сти, чаще страдания; сюжет, от которого нельзя оторваться, ночью долго не можешь уснуть,— все поражало Антона.

— Погодил бы читать Достоевского, рано тебе,— советовал отец.

Однако не приказывал оставить книгу. Да Антон и не послушал бы. Читал бы тайком.

А мама вспоминала с грустной улыбкой:

— Я в твои годы упивалась Тургеневым. Там тоже герои и действия, а на душе светло.

— Иногда надо уметь мучиться,— возражал отец.

Вспыхивал спор. Мама горячилась:

— Не желаю мучиться! Хочу счастья, праздника. Мало, Виталий, нам с тобой праздников отпустила судьба.

— ...Когда мы с твоей мамой встретились,— рассказывал Антону отец,— она мечтала быть актрисой, училась. Натура мятежная и... неудовлетворенная. Понял?

«У Достоевского часто натуры мятежные»,— думал Антон.

Но что же такое? Разве сейчас время вспоминать страсти и переживания героев Достоевского, когда у Антона самого такие тяжелые события? «Я раздвоенная личность. Маме плохо, а я о Достоевском».

Да, он раздвоенная личность, вечно в себе сомневается, критикует себя, но это не помогает ему стать положительным типом.

Колька Шибанов, столкнувшись с уходящей неулыбчивой докторшей, в страхе выкатил глаза.

— Ш-ш-то-о еще у тебя?

— Тсс! — погрозил Антон.

— По-о-ни-маю. Ася сказала. Ре-е-ебята не знают, Ася сказала, ты не хочешь, чтобы ребята знали об отце. И в шко-о-лу не ходишь.

— Тсс. На̀ рецепт. Мчи за лекарством в аптеку.

Колька умчал.

— У тебя товарищи,— сказала мама.— У отца не было товарищей. Я виновата: не принимала гостей. Все мне некогда, все я устала. Я не помогала ему бороться за место под солнцем.

Мама говорила, говорила. Глаза лихорадочно блестели. И особенно неспокойно было видеть разметавшиеся по подушке мамины волосы...

Колька принес лекарство. Антон накапал маме прописанные докторшей капли. Она задремала.

Ребята ушли на кухню, оставив открытой дверь в комнату, чтобы прислушиваться к дыханию мамы.

— Ты-ы при-и-ходи в школу,— заикаясь, сказал Колька Шибанов. Он волновался, испуганный тем, что на Антона валятся, валятся беды.— Ася твой друг,— сказал Колька.

— Откуда друг? Я ее вчера только узнал.

— Все ра-авно. Дело не в сроке. Мо-ожно в один день ста-а-ть другом. Ты в нее влю-у-блен?

Он задавал дикие вопросы. Антона, в его пятнадцать с половиной лет, при его росте в сто шестьдесят шесть сантиметров, Колькин вопрос поразил. Влюблен?!

Может быть, да? Может быть, это любовь? Ася не выходит у него из головы. Ему хочется видеть ее все время, непрестанно. Он помнит ее поцелуй. Украдкой трогает щеку, чтобы не заметил Колька. Как он сразу догадался про Асю?

— Колька! Ни-ко-му!!!

— Антон, ты меня знаешь.

Что происходит с Антоном? Он переменился или переменился мир? Новое, тревожное овладело им, куда-то несет... Вдруг он вспоминает свое горе. Стыд, ужас, он забыл о своем горе, пусть на минуту. Отчаяние душит Антона. Тихонько он подкрадывается к маме. Спит. «Мамочка, мы несчастны, несчастны».

Ночью Татьяну Викторовну увезла «Скорая помощь» в больницу.

6

Доктор в туго накрахмаленном белом халате легко сбежал по лестнице со второго этажа в вестибюль. Мелкие черты лица, слегка окрапленного веснушками, придавали его внешности что-то женственное, он выглядел не очень солидно и, должно быть, зная это, старался держаться с особой внушительностью.

— Мальчуган, ты меня вызывал?

Антон проглотил «мальчугана». Мамина жизнь в руках этого человека в белом халате.

«А если он плохой доктор? — пришло в голову.— Пускай я «мальчуган», но он ведь тоже совсем молодой, откуда у него опыт? Наверное, наверное, он неопытный доктор».

— Татьяна Викторовна твоя мама? — между тем расспрашивал доктор.

— Да, мама, да... пожалуйста, да. Очень опасно?

Не скупясь на медицинские термины, доктор разъяснил, что у мамы подозревается инфаркт.

— Опасно, как всякая болезнь, но не падай духом, мальчуган. Поставим на ноги маму.

«Хороший доктор! — радостно вспыхнул Антон.— Не сравнить со вчерашней, похожей на верблюдицу докторшей. Замечательный доктор! Мамочка, он тебя вылечит».

— Видишь ли, прямую причину инфаркта в любом случае установить невозможно,— растолковывал доктор.— Здесь, вероятнее всего, основная причина — стресс, душевное потрясение. И образ жизни. Она перерабатывает, мальчуган, как я понял. Машинка на службе, дома машинка плюс хозяйство, стирка, уборка... Она слишком много работает. А здоровьишко слабенькое.

— Вы ее вылечите? — робко спросил Антон.

— Непременно. Денька через два можешь навестить. Сейчас нельзя, через два дня можно. А рано ты прискакал.

Действительно, едва рассвело, Антон был в больнице на Пироговке, упрашивая нянечку вызвать дежурного врача.

Из больницы потопал в школу пешком. В тенистом сквере Девичьего поля на дорожках лежали охапки подгребенных желтых листьев. Листья хрустко шуршали под ногами. Чудесные запахи осени! Летом, осенью — всегда жить чудесно! Только не умирать! «Мамочка, ты не умрешь. Вернешься домой, изменим твой образ жизни. Вечерней машинки не будет, точка. Мытье посуды на мне, очереди в продуктовых на мне. И на футбол успею... А сейчас в школу. Оказывается, я соскучился по школе. Забыл, какой сегодня первый урок, балда, не поглядел в расписание. Э, все равно. Главное, в перемену увижу Асю...»

Первым уроком была история. Антон к звонку опоздал.

Учитель истории Григорий Григорьевич, или Гри-Гри, нестарый, щеголеватый мужчина, знающий, казалось, все подробности всех исторических эпох, раз-

глядывал классный журнал, выбирая жертву отвечать.

Жертва сама предстала пред его требовательные очи.

— Извините, я опоздал.

— Вижу. Заслужишь в наказание галочку Прошу.

Гри-Гри театральным жестом пригласил Антона к доске. Вообще он любил жесты, носил усы с бородкой и пестрые галстуки.

— Итак, что мы скажем по поводу колониального характера английского империализма в девятнадцатом веке?

Естественно, об английском империализме Антон не имел представления. Молчал. Почесывая висок, косил глаза на Шибанова, взывая о помощи. Как мог Шибанов помочь? Черт бы побрал английский империализм.

— Тз-зкс,— догадался Гри-Гри.

«Сейчас начнет проповедовать»,— подумал Антон. Характер Гри-Гри был известен. Гри-Гри презирал лентяев, беспощадно преследовал лень, не уставая внушать: образование — зто труд, труд и труд. Талант — тоже труд. Бездельник ничтожен.

— Итак, мы молчим,— язвительно начал Гри-Гри,— нам нечего сказать. В голове пустота. Что касается меня, я считаю, не всем обязательно полное среднее образование. Вам предоставлено зто благо, но если вы не умеете им воспользоваться, не стоит обременять своим пустопорожним присутствием класс.

Знал бы Гри-Гри про беды Антона, знал бы, как соскучился о школе Антон! Нет, он знал одно: урок Антоном не выучен.

— Новодеев, представляешь ли ты, как ничтожен и жалок бездельник!

— Вы меня оскорбляете.

— Не оскорбляю, а констатирую факт — пробездельничал, сам себя наказал, стоишь истукан истуканом на посмешище классу.

Антон задохнулся от гнева. Слова учителя стегнули его.

— Не издевайтесь! — крикнул Антон. Он потерял над собой контроль. У него прыгали губы.

— Новодеев, получишь за поведение кол,— грозил учитель.

— Хоть десять! — дерзко ответил Антон, чувствуя, что падает в пропасть и не может удержаться.

— У н-е-е-его умер от-е-ец. Не-е-давно,— сказал Колька.

Гри-Гри немного смутился.

— Да? Сочувствую, но... мужчина в самое трудное время должен держать себя в руках.

— О-он держит се-е-бя в руках.

— Шибанов, тебя не просят быть адвокатом. Новодеев, итак, отвечать не будешь?

— Нет.

— Значит, двойка заслуженно.

— Говорят же ва-ам, у не-е-го у-умер оте-ец,— повторил Колька, от волнения заикаясь больше обычного.

Учитель услышал дерзость в тоне Шибанова. Один дерзит, другой дерзит. Если сейчас не поставить распустившихся мальчишек на место, они ему сядут на шею.

Гри-Гри нервничал, понимая, что допустил оплошность, пригрозив колом и двойкой Новодееву. Только теперь он заметил в журнале против фамилии Новодеева пропуски — пропустил два урока. Надо было спокойно отправить его за парту: у мальчишки несчастье, он возбужден. Но все же при любых обстоятельствах лень и грубость остаются ленью и грубостью. Он так и сказал им обоим, а кстати и всему классу.

— Новодеев, Шибанов, при любых обстоятельствах лень и грубость остаются ленью и грубостью.

— Вы первый мне нагрубили! — крикнул Антон.

Он потерял голову. С каждым словом учителя обида Антона нарастала, как снежный ком. Он уже совершенно не помнил себя.

Учитель побелел от гнева, забыл, что он педагог, а перед ним ученик.

— Наглец. Даже смерть отца тебя не исправит.

— От наглеца слышу! — ненавидя учителя, крикнул Антон.

Кажется, он оглох, такая жуткая наступила в классе тишина. Он оглох, от зтой мертвой тишины он оглох.

— Вон из класса! — бледный, как бумага, указал учитель на дверь.

Антон его ненавидел, с его усиками, бородкой, его пестрым галстуком, театральными жестами.

— Вон из класса!

— С удовольствием. У вас на уроках мухи дохнут от скуки.

Это неправда. Уроки Гри-Гри были интересны. Учебник в сторону, учебник ему был не нужен; казалось, он живал и в Древнем Египте, и в Греции, и вообще во всех краях мира.

— Мухи дохнут,— глотая слезы, пробормотал Антон и, хлопнув дверью, вышел из класса. Выбежал из школы.

За несколько минут, пока длилась зта дуэль с учителем, сентябрьское небо затянуло тучей, хлынул дождь.

«Как ему отомстить?» — в бешенстве думал Антон. Дождь лил все пуще, по мостовой уже неслись потоки. Антон, не разбирая дороги, шлепал по лужам. Люди спешили на работу. Сиреневые, розовые, желтые зонтики догоняли и обгоняли его.

Один. На всем свете один.

7

После уроков Ася и Колька, не заходя домой, прибежали прямо к Антону.

— Ду-у-рак! — с порога прорычал Колька Шибанов.

Ася подтвердила: дурак.

Весь день до их прихода Антон пролежал на узкой тахте, тупо уставив глаза в потолок, кляня себя. Зачем он не сдержался? Все привыкли к язвительному нраву учителя истории Гри-Гри. Тот не знал, что папа умер, мама в больнице, счел Антона лентяем. Гри-Гри презирал лентяев, и разве на уроках у него мухи дохнут от скуки?

И вообще как жить без школы? Антон дня не мог прожить без людей. Ему нужны шум и гам перемен, футбольные матчи после уроков, стычки и споры о том, кто талантливее: Михаил Ульянов или Вячеслав Тихонов, и вообще назовите картину последнего времени лучше или даже равную «Биму»? Иногда споры кончались кулачными боями. Михаил Ульянов и Вячеслав Тихонов, он же Штирлиц, он же Иван Иванович из «Бима», не подозревали, что иные их обожатели из-за поклонения тому или другому носили синяк под глазом или шишку на лбу.

Антон размышлял о происшедшем с горьким раскаянием. Кто виноват? Сам поставил на своем прошлом точку.

А мама? Что с мамой?

Антон вскакивал, звонил в больницу. Ему отвечали: позвоните позднее.

Он звонил позднее. Но там или продолжался врачебный обход, или лечащий врач срочно вызван ку-

да-то Антон снова валился на тахту, лежал в тупом отчаянии.

А мама?! В больнице. Ничего не знает, надеется на него. Боль и стыд терзали Антона. Что сделать для мамы? Он не может ничего. Он ничто.

Но, когда Ася и Колька прибежали и назвали его дураком, он снова забушевал. Мигом встал в оппозицию, ни в чем не раскаиваясь.

— Я не разделяю христианское мировоззрение,— с вызовом сказал Антон.— Если тебе влепят в левую щеку, подставь правую? Никогда. Попробуйте шлепнуть меня по щеке...

— Он сумасшедший,— сказала Ася.

— Свя-за-ать,— сказал Колька.

— Я вам покажу, как меня вязать. Вышвырну за дверь.

— Тип, однако,— удивленно и с интересом проговорила Ася.— А мне казалось, ты интеллигентик.

— Пожалуйста, без «ик». Интеллигентом быть почетно. Мой отец интеллигент. А вы со своими «иками» .. Кому вы подыгрываете?

Действительно, не своротил ли с ума этот «тип», позабывший от злости, что влюблен в Асю! Что он городит? А если она обидится? Убежит? Навсегда отвернется?

Странное дело. Ася не обиделась, не убежала, а поставила в передней на пол портфель, скинула плащ и, не дожидаясь приглашения, прошла в комнату. Колька за ней.

— Дома никого? Мама на работе?

— Мама в больнице.

— О-о!

Она удивительно умела сочувствовать. Молча. Без слов.

И опять у Антона горячей волной залило сердце. Нет, все-таки она какая-то особенная, ни с кем не сравнишь.

С интересом, хоть бегло, оглядев картины на стенах, Ася заявила:

— Начнем с уборки.

Невообразимый хаос царил в комнате. Мамина постель не застелена, грудой свалена какая-то одежда; узенькая тахта, где, отгороженный от мамы книжным шкафом, спал Антон, не прибрана; таз с водой посреди пола — как он тут очутился, зачем? На мамином маленьком столике не закрыта машинка, разбросаны бумаги; на другом столе два пузырька с лекарствами и недоеденный Антоном со вчерашнего дня кусок хлеба.

— Голоден,— сообразила Ася.— Колька, надо его накормить!

Она живо освоилась в перегороженной на тесные комнатушки — фанерной перегородкой и шкафом — квартире, где была еще комната соседки, постоянно пустая, да кроме того темная мрачная кухня.

Ася достала в кухне из холодильника яйца. Мгновенно состряпала Антону яичницу с луком.

— Что-о значит дру-у-жба. Девчонки редко дружат по-настоящему,— сказал Колька.

— Настоящая дружба вообще редкая вещь. Ешь, Антон,— ставя на стол сковородку с яичницей, говорила Ася.— Не беспокойся, мы с Колькой сыты, обедали в школе. Колька, ничего, что я тебя так зову?

— Ни-и-чего.

— Тебе идет: Колька. Что-то в тебе рабоче-крестьянское.

— Та-а-к и есть. Отец сле-е-сарь. Хоть и мастер дела, а руки в шрамах. От ме-е-лких производственных травм.

— Пусть руки в шрамах, хуже, когда в шрамах душа,— сказал Антон.

Ася пристально на него поглядела. Несмотря на тяжелые переживания, ночную «Скорую помощь», страх за маму, конфликт с учителем, Антон, не евший почти ничего целые сутки, быстро управился с яичницей и, подкрепившись, почувствовал себя тверже и непреклоннее.

— А теперь давай решать, как быть дальше,— сказала Ася.

— Дальше? Прощай, школа.

— Невозможно, Антон. У нас обязательное школьное обучение.

— Пойду в вечернюю.

— А где будешь работать?

— Где-нибудь.

— Несерьезно, Антон. У человека должна быть профессия.

— Це-е-ль жизни,— вставил Колька.— Дети, вы признаете цель жи-и-зни?

— Выбор профессии и цель жизни — это одно? Или разное? Колька, у тебя есть цель жизни? Какая? У тебя, Ася? Я, например, не знаю. Не слышал. О цели жизни пишут сочинения в школе, а соберутся ребята, о чем хотите говорят, но чтобы о цели жизни — не слышал. Что такое цель жизни? И вообще, зачем жить? Зачем живут люди? — На него опять накатили сомнения, страхи, он опять был нестерпимо обижен.

— Ну... коммунизм — цель жизни. Не веришь? — сказала Ася.

— Коммунизм цель общества. А я? Я — единица среди миллионов. Что я? Я отдельный человек, единица, неужели я могу сказать, что моя цель — строить коммунизм? Ведь это слишком громкое слово, когда относится к отдельному человеку. Разве учитель скажет: цель моей жизни — строить коммунизм. Учитель скажет: вколачивать в мозги ребят знания. Так по крайней мере скажет наш Гри-Гри. Добавит: воспитывать. Неудобно, когда отдельный человек говорит о себе: я строю коммунизм. Можно говорить — мы. Нельзя — я. А я хочу знать, какая у меня цель жизни. У меня лично. И не знаю. Спроси всех ребят, спроси себя.

— Я отвечу,— сказала Ася, качнув пышной гривой, каждый волосок которой золотился, как бы сиял.— Я отвечу. Хочу много, много знать. В разных областях — литература, искусство, музыка, путешествия, открытия. Ребята, как интересно. Люблю узнавать что-то новое, необыкновенно новое.

— Вот на-а-при-мер, океанология,— вставил Колька.— Например, есть в океанах такие глубинные желоба, что трудно измерить. Работают подводные лаборатории, исследуют влияния на окружающую среду. Да мало ли что...

— Это цель жизни? — спросил Антон.

— По-о-чему нет?

— Это не цель, а профессия,— возразил Антон.

— Но может слиться. Цель и профессия могут быть одним. Моя цель — найти интересное, нужное место в жизни и всю себя отдавать любимому делу,— сказала Ася.

— Может, ты синий чулок? — криво усмехнулся Антон.

— Неправда. Я хочу личного счастья. Хочу, чтобы у меня был красивый дом, красивая семья. И обязательно дети. Не единственный, а дети. Люблю жизнь. Люблю жизнь, люблю...— Она оборвала бурный поток слов и виновато поглядела на Антона.

Он сидел, понуро опустив голову.

Она быстро к нему подошла, села рядом, положила руку ему на плечо.

— Антон, извини меня, я забылась. Да... я уроки для тебя записала. На завтра.

— Не пойду в школу.

— А знаешь, ребята говорят, когда ты убежал, все поняли, что Гри-Гри раскаивается, в душе понимает, что неправ перед тобой.

— Если бы даже он попросил у меня извинения, и тогда все равно.

— Но ведь ты тоже ему нахамил.

— Я в ответ.

— Ася, убедилась, что его ослиное упрямство не сломишь? На се-е-годня хва-а-тит педагогики. Пошли,— позвал Колька.

— Я погожу,— коротко ответила она.

— Тогда по-о-ка.— Колька махнул рукой и ушел. Антон молчал, понуря голову.

— А ведь и верно, океанология — наука увлекательнейшая, нестандартная, даже экзотическая,— продолжала Ася,— и Колька будет океанологом. И вообще, Антон, сколько прекрасных дел на свете, голова кружится, так интересно, глаза разбегаются— не выберешь.

— Значит, нет одного, единственно нужного, если не выберешь. Значит, посредственность.

— Антон, я сделала бы все, чтобы тебе помочь,— не сразу заговорила Ася.— Но как? Знаешь, когда я узнала тебя? Прошлой весной, я только перевелась в вашу школу, было комсомольское собрание, ты выступал, что-то о литературе... Запинался, мялся, но все слова свои. Антон, как тебе помочь? Могу убрать комнату, сварить суп — для тебя и в больницу, для мамы.

— Ты какая-то необычная генеральская внучка. Яичницу жаришь, супы умеешь варить. Может, прошла практику в тимуровской команде?

— Не ершись, Антон. Расскажи об отце... Если можешь.

— Всего не расскажешь,— угрюмо промолвил Антон.— Вон на стене картины. Погляди, вон птица летит. Улететь бы куда-нибудь.

— А что? Стоит захотеть. Можешь стать летчиком. Только неучей в летчики не берут.

— Все воспитываешь. Я не о том. Неужели не понимаешь? Совсем о другом... Вчера нам прислали письмо из какого-то Отрадного, папа там был в командировке. А мама разорвала письмо. Нервная. Теперь не знаем, где это Отрадное, что папа там делал... Что меня мучает...— У Антона перехватило горло, он с трудом сдержал плач.— Что меня мучает и маму... Последнее время папа стал тихий и слабый. Такой прозрачный, будто вода смотрит сквозь тонкий слой льда; а мы не замечаем, какой он стал последнее время, а мы и не видим, и не думаем, что с ним это может случиться.

Ася слушала, не отрывая от него строго-внимательных глаз.

У нее изменчивое лицо. Светится улыбкой, смеются ямочки у губ, сияют глаза. А то вдруг разом, как сейчас, все погаснет.

Оттого, что она так страстно сочувствовала, Антону хотелось изливать перед ней душу. Он ни с кем не делился, одиночество и молчание угнетали его.

— Наш дом, если можно так сравнить, был словно полный оркестр. Отец тихий, но он был контрабас. Теперь контрабаса нет, и только скрипки жалобно поют.

— Ты любишь музыку? — быстро спросила Ася.

— Да... Не знаю... Кажется, да.

— Пишешь стихи?

— Вот уж нет! Двух строк не умею срифмовать.

— В стихах главное не рифмы. Главное — чувство. Мальчишки прячут свои чувства, а ты не умеешь скрываться.

«Умею,— подумал Антон,— ты не догадываешься, что ты моя Тайна. Никто об этом не знает, ни ты, никто, разве немножко Колька».

Подумав так, он смутился и снова не знал, о чем говорить.

Но раздался звонок. Пришел Красовицкий.

8

Неторопливо снял пальто, аккуратно повесил на плечики, шляпу положил на столик перед зеркалом, пригладил гребенкой волосы. Антон зорко наблюдал, как он обстоятельно все это делает. Зачем он пришел?

— Не скучаешь? — глянув на Асю, сказал ему Красовицкий.— То есть, я хочу сказать, товарищи навещают, молодцы! Мне в подъезде сообщили про маму,— вздохнул он.— Характер у твоей мамы порывистый. Про отца-то нипочем не угадал бы, что свалится,— тихий, мирный был человек, а мама — кипяток. Надеюсь, случай не очень тяжелый.

— Не знаю.

— А ты бука, Антон. Ну здравствуй, здравствуй, бука. Главное, не хандрить. Здравствуйте, девушка. Спасибо, что заботитесь о товарище.

— Если больше никто не заботится...

— Почему никто? Товарищи сочувствуют, потрясены. Уж очень нежданно, молодой, весь в надеждах. Мне поручили... Нужны некоторые сведения.

— Пришли за сведениями или заботиться? — дерзко кинула Ася.

— Ах, колючка! Откуда вы такие колючки? Вот и мой таким же растет...

Он подошел к картине, где в глубокой синеве неба плыло печальное облако-птица, и принялся сосредоточенно рассматривать.

— Вы картину зарезали,— сказал Антон.

— Никто ее не зарезал. Мне не близка художественная манера твоего отца, Антон, но я говорил и говорю, что картина профессионально вполне грамотна.

— Грамотна! — удивленно воскликнула Ася.— Она прекрасна! Вы глядите на нее, и вам хочется лететь, быть хорошим, делать добро, что-то необыкновенное сделать...

— Вот это плата за труд художника. Великолепная плата! Ах, Виталий, рано ты ушел,— горестно качнул головой Красовицкий.

Сел на стул, поставил у ног на пол портфель, положил на колени ладони. Руки у него большие и волосатые. А лоб высокий, профессорский.

— Дружок мой Антон, судьба твоя сложилась несладко.

— Не жалейте,— хмуро буркнул Антон. Он боялся жалости, боялся заплакать.

Красовицкий не понял.

— Избегаете чувств, обойдемся без чувств,— холодно произнес он. И после паузы, смягчившись, совсем иным тоном, ласково: — Я решил еще раз тщательно проанализировать последнее произведение Виталия Андреевича. Впрочем, мне оно уже ясно. У меня к тебе просьба, Антон. Я собираю картины и этюды товарищей, удачные или неудачные, но чем-то отличные ото всех. Иногда встретишь бред... Но беру. Коллекционирую странности. Хе-хе. Стопроцентный реалист, стопроцентно «правильный», как некоторые критиканы язвительно меня именуют, и вдруг гоняюсь за странностями... для домашней коллекции, разумеется. Удивлен?

— Значит, для выставок, где картины показывают людям,— одно, а для себя — другое?

— Я объяснил же, Антон: коллекционирую необычное. За подарок отблагодарю, разумеется.

Антон молчал.

— Да, вот что еще,— продолжал Красовицкий.— У отца был заказ на оформление книги и даже аванс. Небольшой, но все же деньги. Ты не видел эскизы?

— Нет.

— Я предполагаю, чтобы долг над вами не висел и прежде всего в память Виталия, может быть, исполнить его заказ. В память друга. Надо посмотреть эскизы, что-то, наверное, Виталий Андреевич оставил. Заказ давний, нужно взглянуть, что там у него, может, удастся использовать. И еще, Антон, такая, брат, незадача. Виталий Андреевич просил командировку...

— Ну? — похолодел Антон.

— Видишь ли, в одной Москве до четырех тысяч художников — пейзажисты, плакатисты, оформители, графики. Невозможно сразу всех удовлетворить. Приходится соблюдать очередность. Так вот, ему отказали. Никто не знает, куда он и ездил. Сам уехал, от себя.

«Ему отказали,— в ужасе думал Антон.— Сам уехал? И нам с мамой ничего не сказал, не признался. Что же ты, папа, милый наш, необыкновенный мой папа, несчастливый мой папа!»

Но Антон, конечно, молчал, только жилка больно вздрагивала возле губ и сердце колотилось не в груди, а в висках.

— Так не скажешь ли ты, голубчик Антон, куда он ездил, что там писал? Некоторые товарищи считают, он заслуживал большего внимания. Надо было ему при жизни больше помочь. Что поделаешь... В жизни, даже в нашем обществе, случаются и равнодушие и ошибки. Я выполняю общественное поручение, Антон, как и тогда на похоронах. И, конечно, долг товарищества. Никто не знает, куда ездил отец, покажи, что он привез оттуда, кроме «Птицы над лугом».

Антон молчал. Он не знал, куда ездил отец. Мама разорвала письмо. В памяти осталось название «Отрадное». Где оно? А зачем Красовицкому знать? Зачем ему поручили узнавать? Или их мучает совесть? Скажите художнику: «Серо, неидейно, посредственно»,— и у него упадет кисть из руки. И не будет цветущего луга и белой птицы. А тупорылое чудовище, которое режет разноцветные травы,— это те злые, кто не принимал отца. И Красовицкий с ними.

— Мне официально поручено узнать, где твой отец был летом... Где его этюды? — настаивал Красовицкий.

— Не знаю.

— Где хранятся его... что он там... вообще сочинял?

— Не знаю.

— Ты мне не доверяешь, Антон,— огорченно и вкрадчиво произнес Красовицкий.

— Не очень,— ответил Антон.

— Думаю, что ты на этом проигрываешь,— сказал Красовицкий. Поднялся. Кивнул на картину: — Не подаришь?

— Нет.

— Проигрываешь,— повторил Красовицкий.

В передней, надев пальто, задержался.

— Я член комиссии по наследству художника Новодеева, а в его доме меня принимают, как злоумышленника, хэ-гм! До свидания.

Он ушел.

— Знаешь,— сказала Ася,— почему-то и я не очень ему доверяю.

— Значит, папина картина хороша, если он так ее добивается. Обидно за папу,— негромко проговорил Антон.

— Картина такая, что, правда, хочется куда-то лететь,— ответила Ася.

— Иди, что покажу,— подозвал Антон Асю к окну.

Тонкая осенняя березка золотым светом горела за окном во дворе.

— В память папы. Мама так назвала: горит в память нашего папы золотая свеча.

9

Каждое утро прежде всего звонок в больницу. Не ранним утром, потому что надо подождать, когда кончится врачебный обход, будут назначены процедуры и так далее, и тогда уже удастся вызвать того доктора, в туго накрахмаленном халате, худощавого, с веснушчатым приветливым лицом, который дежурил у мамы в первую ночь, а потом оказался ее лечащим врачом.

— Антон Новодеев? Привет! Антон, пляши, впрочем, из суеверия плясать погодим, но представь, произошла чудесная ошибка. Что? Не бывает чудесных ошибок? Редко, но случаются. У мамы нет инфаркта. Как наихудшее можно предположить предынфарктное состояние, но и это почти исключено. Немного пошалило сердце, причины были. Вообще-то надо остерегаться, и мы какое-то время подержим ее в больнице. Раз уж попала, исследуем по всем пунктам, насквозь. А дальше твоя мама вернется домой, и ты будешь ее беречь, а сегодня в четыре можешь навестить. Принеси немного фруктов, а главное, чтобы явился в отличном настроении. Привет!

Так сказал оптимистичный, полный молодой энергии доктор, любивший радовать своих пациентов и их родственников, уверенный в том, что положительные эмоции излечивают вернее прославленных лекарственных средств.

«В четыре можешь навестить». Счастье. Но как долго, как долго! Бесконечно тянется время, не движется минутная стрелка. Антон ничем не мог себя занять. Гри-Гри прав, что презирает бездельников. Слоняться по комнате, взять книгу, бросить, ничего на ум не идет, открыть школьный дневник, где задания не записаны — ведь ты не школьник теперь...

Любил ли он школу? Во всяком случае, тогда день заполнен был делом, обязанностями, встречами, а сейчас ничего.

Он отправился бы болтаться по улицам, как-нибудь убивать время до назначенных доктором четырех часов, но условились, что Ася позвонит. Вот ее-то звонка он и ждал, томясь в одинокой квартире. Как хорошо ему совсем недавно жилось! А он и не замечал. Напротив, огорчался из-за всяких пустяков и даже смел хныкать, что у него нет джинсов, как у Гоги Петрякова, темно-синих, немного потертых (тем моднее), простроченных по швам и карманам, с блестящими пуговицами и коричневой кожаной нашлепкой сзади, где изображалась зеленая машина и эффектная надпись красными буквами гласила: AUTO. Джинсы были его несбыточной вожделенной мечтой.

Наконец Ася позвонила. Он кинулся к телефону в передней, свалив по дороге стул, к счастью, ничего не разбив.

— Почему так долго?

— Точно, как условились, после уроков в два.

— Слушай, Ася, что произошло! Вообразить не можешь. Звоню, значит, в больницу, а там...

Короче говоря, Антон назначил Асе встречу после больницы на Зубовской площади, тогда он все ей расскажет, и, услышав ответ: «Конечно, приду»,— облегченно вздохнул, поел наспех вчерашней холодной картошки и пошагал в больницу на Пироговской улице.

— Антошка! Антончик! Сынок!

Мама лежала с распущенными волосами, с встревоженным, бледным лицом.

— Мамочка! Милая!

Он нагнулся и несколько раз поцеловал ее руку.

Вот что делает любовь и страх за любимого, страх потерять! Такого закоренелого эгоиста, как Антон Новодеев, любовь и страх превратили в нежнейшего, мучительно страдающего сына, который бесконечно целовал матери руку:

— Мамочка! Мамочка!

Она не верила ушам. Отец Антона, не очень щедрый на ласку, в хорошие минуты называл ее, как мосье Трике: «Та-ти-а-на!» Что же касается Антона, у него всегда тысячи своих забот, проектов, планов и прочего — до мамы ли?

— Как живешь, Антончик?

— Мамочка, хорошо. То есть, конечно, ничего хорошего. Но ничего живу, хорошо.

— Как в школе?

— И в школе порядок.

Он отвечал на ее неспокойные вопросы и глядел ей прямо в глаза. Можно, оказывается, бессовестно лгать и глядеть прямо в глаза. Да еще как правдиво глядеть!

На что только не способна любовь! Подвиги, самопожертвование, смерть за любимого... Но не будем оправдывать вранье Антона, хотя как бы выбрались вы из критического положения, в каком он очутился? Признаться в том, что произошло? А если у мамы от огорчения будет инфаркт? Итак, он правдиво глядел ей в глаза и плел разные небылицы про школьную жизнь, и что по литературе пятерка, по математике тоже, и так далее.

— Антоша, деньги, двадцать пять рублей, в шкафу, под бельем. А когда истратишь, обратись к Якову Ефимовичу. Неужели никто не зашел навестить?

— Что ты, мама! Заходили, конечно.

Тут опять пришлось фантазировать. О Красовицком Антон умолчал. В его приходе было что-то неясное, какая-то скрытая цель. Почему он при жизни папы не поддержал картину? А теперь пришел.

— Мамочка, я буду каждый день отчеркивать в календаре, ждать, когда ты вернешься.

— Будь умным, Антон, помни, ты у меня один,— ответила мама.— Постой! — окликнула, когда он поднялся.— Сядь, нагнись.

Они говорили полушепотом, неслышно для соседки по койке, старушки, которую пришел навестить ее старик, и те так же потаенно шептались. Теперь Антон совсем низко склонился над мамой, ее истомленным лицом.

— Я не усмотрела за ним,— торопливо, чуть слышно говорила она,— теперь вспоминаю каждую мелочь, да поздно. Он приехал оттуда больным, исхудалым. А я? Раз прихожу с работы, лежит. «Что ты все лежишь? — говорю.— Другие хлопочут, действуют. И ты бы действовал!» «Э-э,— протянул он жалостно, теперь только поняла, как безнадежно он это сказал.— Красовицкий в колесо палки ставит». «Да почему? Почему?» «Ревность. Зависть,— отвечает, и в глазах огонек гордый сверкнул, непривычный для нашего папы. Да тут же и погас.— Еще в обиде он на меня, мстит»,— сказал папа. «Неужели такой уж сильный? — спрашиваю.— Не бог знает какое начальство, член бюро какого-то, эка важность! Не гений». «Гении не мстят,— говорит папа.—Активно воинствующая посредственность. У них свои методы: вытеснять, нашептывать, создавать атмосферу, всеми способами не пущать, не пущать! Так они властвуют. Пойду, однако, о птице своей узнавать». Пошел. Гляжу в окно, бредет наш папа, не умеет он за себя бороться, всю жизнь не умел.

— Князь Мышкин,— сказал Антон.

— Не знаю, Мышкин или нет. Знаю, я виновата. Проглядела его болезнь. Вовремя бы спохватиться, может, и жил бы. Навсегда мне казнь.

— Мамочка, мамочка!

10

Ася ждала в условленном месте.

— Плохо? — спросила, вглядевшись в поникшее, со следами слез лицо Антона.

— Нет, ничего.

— Почему же ты такой?

— Так ведь не на празднике был,— почти грубо ответил он.

Она вздохнула.

Антон мгновенно почувствовал раскаяние. Странная девчонка! Другая дернула бы плечиками и потопала прочь от нахала: ему сочувствуют, а он, грубиян, нос воротит. Но в том-то и суть, что она не «другая», она Ася.

— Не знаю прямо, что и придумать? Что делать?— виновато говорил Антон.

Ася ласково погладила рукав его куртки, добежала пальцами до ладони.

— Выход один — завтра же в школу. А если мама узнает, что будет, ты представляешь?

— Несчастье! — простонал Антон.— Проклятый Гри-Гри!

Они миновали Девичье поле и шли Кропоткинской улицей.

— Ты Кропоткинскую улицу любишь? — оживился Антон.

— Какой-то ты чудак. Не угадаешь, куда повернешь,— улыбнулась Ася.

— Повернул потому, что отец обожал Кропоткинскую. Вообще папа больше всех городов любил Москву. Он в Москве со студенческих лет. А Кропоткинскую обожал. Близко от дома. И вообще... Мы гуляли вечером с ним, он каждый дом мне показывал. Всюду история. Тебя интересует история? Например...

Они остановились у ворот сквозной ограды, за которой раскинулся неглубокий парадный двор, замыкаясь желтым зданием с белыми колоннами, на которые как бы опирался мезонин с арочным окном — там верхняя светелка. В светелке, может быть, и писались стихи:

Листок иссохший, одинокой,
Пролетный гость степи широкой,
Куда твой путь, голубчик мой!
«Как знать мне! Налетали тучи,
И дуб родимый, дуб могучий
Сломили вихрем и грозой.
С тех пор, игралище Борея,
Не сетуя и не робея,
Ношусь я, странник кочевой,
Из края в край земли чужой;
Несусь, куда несет суровый,
Всему неизбежимый рок,
Куда летит и лист лавровый
И легкий розовый листок!»

Отчего отец прочитал именно это, переведенное с французского стихотворение, когда однажды привез Антона сюда, к дому, где в прошлом веке жил знаменитый поэт-партизан? Именно это, элегическое, а не типично давыдовское, как толковала школьная учительница.

Я каюсь! я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов — все раб младой привычки:
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.

Отец много рассказывал о Давыдове, его пылкой и поэтичной, его отважной натуре: как по первому зову он скачет сражаться за Родину, а в передышки



между схватками пишет стихи, как собирает партизанские отряды против наполеоновских войск.

Начинались все эти интересные Антону рассказы, когда они приходили постоять напротив скромного и удивительно благородного дома Дениса Давыдова.

— Твой отец увлекался Денисом Давыдовым?

— Отец много знал и многим увлекался. Вот, например...

За разговором они незаметно прошагали всю Кропоткинскую, и Антон с видом бывалого человека привел Асю к белокаменному, резко отличному от всех ближних особняков, старинному зданию.

...Стоял на Кропоткинской улице каменный жилой дом, похожий на утюг. Скучный, невзрачный.

— Снести,— решила комиссия по благоустройству.

А реставрационная архитектурная мастерская решила другое. Как? Вопреки постановлению начальства? Да, на свой страх и риск несколько энтузиастов из реставрационной мастерской взялись доказать, что под невзрачным, портившим пейзаж Кропоткинской улицы домом кроется памятник древней архитектуры, может быть, произведение искусства. Толстые стены, кривые переходы, аномалия планировки — все говорило о древности здания. Надо вскрыть кирпичную кладку. Кирпич и кладка расскажут о возрасте.

Между тем, вопреки заявлениям, просьбам, хлопотам ценителей старины, дом уже обнесли забором для сноса. Каждую ночь могут нагрянуть бульдозеры. Реставраторы стоят на своем: будем вскрывать кладку. А стены, как броней, закрыты толстым слоем штукатурки. Ее надо отбить. Трудно. Нужна помощь. К кому обратиться? Молодые архитекторы придумали. Молодость на выдумки хитра.

Написаны призывы, без всяких официальных форм, без формальностей. Шариковой ручкой на обыкновенной бумаге: «Товарищи студенты! Архитекторам-реставраторам нужна ваша помощь. Сбор у Кропоткинских ворот. Форма одежды рабочая».

Развешаны такие призывы в институтских вестибюлях, подъездах.

Не десять, не двадцать — едва ли не сто студентов — филологов, археологов, историков явились по призыву. Были среди них и школьники и рабочие. Был художник Новодеев... Отбойные молотки, зубила, необходимые инструменты собирали по всей Москве. День и ночь стучат молотки, отбивая штукатурку. Надо не просто долбить стены, а искать особый кирпич, большемерный, на толстом шве, жидком известковом растворе — таких теперь нет, это древнее ремесло и искусство.

И вот постепенно, не сразу, но в один счастливый день студенты пробили броню штукатурки, и глазам открылось подлинное старинное зарешеченное окно. Ура! Памятник архитектуры спасен.

Было темно, когда Антон и Ася, осмотрев палаты, вышли на улицу.

— Ты молодчина, будто в прошлом с тобой побывали,— сказала Ася.— А как хорошо, что студенты бесплатно, безо всякой корысти днем и ночью сменяли друг друга, восстанавливали памятник!

Грудь Антона распирали радость и гордость, будто он сам вместе со студентами стучал отбойным молотком. Хотелось на радостях выкинуть какое-нибудь смешное коленце, чтобы Ася расхохоталась. По наблюдениям Антона, девчонки любят хохотать. Но смешного не придумывалось. И Ася настроена серьезно, расспрашивала, как художники рисуют.

— Как? Сначала возникает мысль? Наверное, у них цветные мысли, да? А можно рисовать не с натуры, а из воображения? Если бы я была художником, писала бы только из воображения, только счастливое.

Шагать, шагать без конца рядом с Асей, краем глаза видеть ее лицо, задумчивую улыбку и вдруг испытать что-то чудесное, отчего захолонет сердце — это ветром снесло ее волосы, и они легко коснулись его щеки. Ася поправит волнистую гривку.

Надо было пересечь Кропоткинскую улицу, затем растрепанный двор Антона, и вот оно, Асино, стройное светло-серое здание, но Антон повел ее не прямо, а переулками, делая порядочный крюк, чтобы подольше побыть вместе.

Он не заметил и после не мог вспомнить, откуда и как возле них очутились двое дюжих лохматых парней и зажали их с Асей, как в тиски. Один в расклешенных брюках, нейлоновой куртке со множеством застежек-молний, с изжеванной сигаретой в углу рта, крепко прислонился к плечу Антона. Другой взял Асю за локоть.

— Пусти! Как ты смеешь,— испуганно вскрикнула она.

— Ты, хлюпик,— не обращая внимания на ее крик, просипел парень Антону,— катись с глаз долой. Живо! Чтоб вмиг следа не осталось.

Тот, который занял позицию со стороны Антона, толкнул его в спину таким мощным и, видно, натренированным пинком, что Антон буквально отлетел шага на два вперед.

— С глаз долой! Марш!

— Девочка, не трепыхайся,— услышал Антон.— Зайдем с тобой в один верный приютик, проведем миленько время, да не бойся, отпустим живой.

— Помогите! — кричала Ася.

Переулок был темен и пуст.

Не помня себя, Антон кинулся на парня, державшего Асю. Не рассчитывая, не целясь, ткнул кулаком в ухо, шею. И взвыл от боли: должно быть, ему выбили глаз — как гвоздем просверлило. Должно быть, кирпичом раскололи затылок. Пересилив боль, он рванулся и, не помня как, изловчившись, ногой ударил в живот тому, кто держал Асю.

— Ножичка захотел? — послышалось мерзкое.

Сейчас Антона убьют.

В это время за спиной у них оглушительно залился милицейский свисток.

II

Два дюжих парня, минутой раньше внезапно выросших по бокам Антона и Аси, при звуке милицейского свистка молниеносно сгинули, словно сквозь землю провалились, вернее, нырнули в черноту длинной подворотни, которую, скорее всего умышленно выбрали местом нападения. Так мрачна и темна была подворотня.

— Гады трусливые,— презрительно произнес кто-то.

Ася и Антон оглянулись, ища милиционера, отогнавшего от них хулиганов. Милиционера не было.

Пожилой, довольно высокий, плотный мужчина в пальто и шляпе стоял возле, с участливым любопытством поглядывая на них.

— Испугались? Есть чего. На мордах написано, что за фрукты. А вы, детишки, для прогулок людней ищите закоулок. Извините, Грибоедова немного переврал. Проводим девушку? — обратился незнакомец к Антону.

Антон чувствовал Асину холодную, как ледышка, руку в своей. Она молчала. Ужас стоял в ее глазах.

— Ася, обошлось. Позабудь.— Она не сказала ни слова.

— Зовут меня Семеном Борисовичем,— говорил между тем незнакомец.— Оказался здесь в гостях по случаю дня рождения приятеля. А свисток, вот он — знак моего высокого звания. Ответственный дружинник, под моим началом человек пятнадцать пацанов ваших, примерно, годочков. Свисток на всякую шваль безотказно действует. Проверено не раз.

Должно быть, Семен Борисович в гостях немного выпил и до самого Асиного дома не умолкал, расхваливая своих дружинников и вообще нашу морально здоровую молодежь («подонки, понятно, встречаются, но не они определяют лицо поколения»), пересказал недавно увиденный фильм, одобрил «Жигули» последней марки и вкуснейшую воду «Байкал», которая десять очков даст вперед американской «кока-коле», как и многое другое в нашей действительности, заключил Семен Борисович, когда они подошли к галерее с плафонами Асиного дома.

— В подобных внушительных зданиях обитают обычно люди, состоящие на больших государственных должностях, или представители высокого искусства,— заметил Семен Борисович и, прощаясь с Асей, галантно приподнял шляпу.

— В каком-нибудь Ин'язе или ГИТИСе учится? — спросил, когда за Асей захлопнулась дверь.

— Пока в школе.

— А ты?

— Я нигде.

— То есть? Как прикажете понять?

Семен Борисович остановился, глядя во все глаза на Антона. Они стояли под уличным фонарем, и Антон хорошо рассмотрел тщательно выбритые щеки и крутой подбородок Семена Борисовича, густые брови и затаившийся, но готовый вспыхнуть смех в глазах.

«Актер,— угадал Антон и почему-то решил: — Наверное, из Театра сатиры».

— Не учишься. А как родители на такое странное обстоятельство смотрят? — удивленно продолжал «актер».

— Родителей нет.

— То есть?

— Отец умер. Мама в больнице.

— Ситуация,— озадаченно произнес «актер».— Неужели так уж вовсе один? Может, соседи хорошие?

— Соседка-бабуля на другом конце Москвы внука нянчит. Дома почти не живет. А сейчас и вовсе с внуком в деревне. До дождей не вернется.

— Гм. Значит, один.

Антон не догадался пригласить Семена Борисовича, но тот без приглашения поднялся по их крутой лестнице на третий этаж, вошел в квартиру, снял пальто и оказался в складном сером костюме, нарядной, в голубую полоску рубашке и синем галстуке. Он был элегантен, как и следовало артисту, может быть, народному, тем более возвращавшемуся из гостей. Заложив руки за спину, прошелся по комнате, оглядел картины.

— Та-ак. А в школу отчего не ходишь? — Он держался свободно, будто бывал у Новодеевых едва ли не каждый день и чувствовал себя в их доме своим человеком, а главное, озабоченным критическими обстоятельствами Антона.— Почему в школу не ходишь?!!

— Поругался с учителем.

— Ого! Причина важнейшая. Подумаешь, принц Уэльский, потомок барона фон... фон... Завтра же иди, проси извинения.

— Он меня оскорбил. Пусть он просит прощения, все равно не прощу.

— Ты, я погляжу, субъект. А чем душа дышит? Интересуешься чем?

Антон пожал плечами. Чем он интересуется? Есть у него любимое дело? Или увлечение? Или хотя бы малюсенький какой-то талантик? Антон растерялся от довольно простого вопроса. «Чем интересуешься?» Ну, шахматами... Ну, футболом. Ну, кино.

— Чем собираешься в жизни заняться? Быть кем? Слесарем? Летчиком? Инженером? Учителем? Космонавтом, может быть? — усмехнулся Семен Борисович.

— Не знаю. Не думал.

С каждым вопросом Антон чувствовал себя глупее. Повесил голову и сидел перед «актером» дурак дураком.

«Актер» продолжал:

— Стало быть, абсолютно инертная личность. Ни характера, ни желаний, ни воли. В прежние времена таких называли небокоптителями. У нас хлеще: тунеядец. Если не сейчас, то опасаюсь за будущее... гм...

Пришел в дом неизвестный чужой человек и воспитывает. Но Антон не сердился. В общем-то Семен Борисович ему нравился. Говорит так, будто всю жизнь знакомы.

— Вот что, дружище, я за тебя возьмусь,— ворчливо сказал Семен Борисович.— Стать тунеядцем не дам... Постой, а синячок-то под глазом порядочный. К завтрашнему дню разнесет. Тащи из-под крана студеной воды.

Антон теперь только ощутил, как снова заскребла затылок тупая боль и зажгло висок у правого глаза. Глаз заплывал. Антон принес из кухни в кастрюле воду. Семен Борисович намочил конец полотенца в холодной воде, прикладывал к виску. И приговаривал строго, а Антону слышалось — душевно. «Вроде Деда Мороза, хоть до зимы далеко, свалился мне на подмогу»,— думал Антон.

— Стать тунеядцем не дам,— говорил Семен Борисович.— Давай-ка осмотрим куртку, штаны. Аварий нет, не успели бандюги изодрать. Значит, так: завтра без четверти девять придешь. Получай адрес. Далековато, зато сообщение сверхудобное: метро без пересадок. Спросишь меня. Без четверти девять.

Антон запер за Семеном Борисовичем дверь. Что-то новое начинается. Что?

Он подошел к окну. На улицу внезапно налетела осенняя буря. Ветер ярился и бушевал, качал уличные фонари, гнул ветви деревьев, срывал и гнал золотые листья березы.

Папина свеча угасала.

12

«Странно, какой там театр на краю города? — размышлял Антон, минуя вот уже пятую станцию метро, а все еще не конец.— Должно быть, рабочий или молодежный клуб или что-нибудь в этом роде? А кем Семен Борисович задумал меня устроить? Плохо, когда у человека ни к чему нет призвания. Хоть бы какой талантик! Есть люди — на весь мир гремят оглушительной славой, гордятся своим делом, а я? Может ли обыкновенный человек добиться чего-то большого? Стать выдающейся личностью? Что для этого нужно? Наверное, воля. Прежде всего воля. Задаться целью и идти, идти к цели, не сворачивая. А куда идти? К чему стремиться? И вообще есть у меня воля?»

Так он раздумывал, в беспокойстве ожидая встречи с Семеном Борисовичем. Решится что-то в его жизни сегодня или нет? Если нет, снова потянутся пустые дни, когда не знаешь, куда себя деть, чем заняться. Гри-Гри прав — лентяй жалок, бездельник ничтожен. «А все-таки в школу не вернусь».

— Станция...— объявил репродуктор.

Далеконько забрался Семен Борисович со своим молодежным клубом! Проспект тянется, сколько глаз видит. На горизонте высилась группа новых однотипных зданий, целый город жилых башен, а здесь, у остановки метро, где Антон сошел, шумела молодая роща. Вчерашняя буря поутихла, но влажный западный ветер налетал порывами, обрывал листья, кружил, и вздымал, и нес, и осыпал их на землю шуршащим дождем. Наискосок, против рощицы, был тот дом, номер которого Антон затвердил по записке Семена Борисовича. И теперь в растерянности читал вывеску над крыльцом: «ПТУ».

Вот так раз! Вот вам театр, вот вам клуб. «Не театр, а шиш с маслом»,— как сказал бы Колька Шибанов.

Когда-нибудь приходила Антону мысль, что судьба забросит его в ПТУ? Зачем ему ПТУ? Улизнуть? Он колебался. Вчера Семен Борисович Антону понравился. И Антон не ушел. Посмотрим, удрать всегда можно. Он вольная птица, куда захочешь, туда и лети.

Вестибюль встретил Антона шумом голосов, абсолютно повторяющих школу. Но вдоль всех его стен висели не похожие на школьные плакаты-картины. Антон не понял, что они означают. Стройная красивая пара — как нарядно одеты, изящны! — танцует. А тот куда-то бежит, приветственно подняв руку, такой же стройный, неправдоподобный красавчик в спецовке. Ничего себе спецовочка — в Большой театр ступай в ней на балет «Лебединое озеро».

«Куда я попал?» — думал Антон, догадываясь, что это не обычная школа. Но что же?

Он не успел спросить, где искать Семена Борисовича, как раздался звонок, типичный школьный звонок, зовущий на урок, и из комнаты с табличкой на двери «ДИРЕКТОР» появился сам Семен Борисович.

— Хвалю за точность,— сказал он.— Идем.

Не переставая удивляться и мало что понимая, Антон последовал за директором, который энергичным шагом привел его к двери: кабинет спецтехнологии.

— Здесь сейчас занимается группа мальчиков,— сказал Семен Борисович.— У нас в училище их всего две. Остальные девицы.

Вошли. Человек двадцать мальчишек, сидевших за светлыми столиками, при появлении директора встали.

— Хорис Абрахманович! — обратился директор к молодому смуглому, чернобровому человеку с круто вьющимися черными волосами и быстрым взглядом черных глаз.— Вот тот юноша, о котором я вам рассказывал. Вчера потерпел аварию, отделался синяком, бывает хуже. Антон Новодеев. Наш новенький.

Не ослышался ли Антон? «Наш новенький». Он еще и не сообразил, где находится. Но понял: Семен Борисович решил взять его судьбу в свои руки. Видимо, руки у директора были твердые, умеющие управлять и направлять.

— Всего! После уроков зайдешь,— кивнул Семен Борисович Антону и удалился. А человек с необычным именем Хорис Абрахманович указал Антону место за столом в первом ряду и кому-то велел:

— Продолжай.

Вихрастый курносый паренек, оставшийся стоять и после ухода директора, принялся рассказывать неизвестные Антону истории. Антон слушал, удивляясь, а тем временем оглядывал кабинет. На полочках вдоль стен расставлены фигуры безголовых кукол в самых разнообразных мужских и женских нарядных костюмах.

— Одежда появилась еще в первобытном обществе,— рассказывал вихрастый.— Первобытный человек защищал тело от солнца сырой землей и глиной. Обмажется весь, слой за слоем, глаза только оставит — вот и весь его первобытный костюм. В холодных странах одевались в шкуры зверей. Скоблили, мяли, колотили, пока шкура станет помягче, тогда напяливают на себя, так и ходят.— Ученик почесал затылок, скосил в сторону взгляд и неуверенно выговорил:— Все.

— Все-то все, да неувлекательно рассказываешь, художественных деталей мало,— сказал учитель.— Садись. Ребята, представьте: палящее солнце, зной, тучи мошкары вьются над нами, спасения нет. Куда деваться? Как защититься от солнца, от тропических ливней? Трудно жилось нашим предкам. Века, века... Человек растет. Человек хочет жить. Создавать, творить, любить, радоваться. Три условия жизни и творчества, без чего человек не может существовать. Еда. Кров над головой. И одежда. Понятно? Уразумели, какое важное дело — создание одежды?!

Он поднял над головой картину.

— Глядите, гречанка древних веков. Как благородно спадают волнами с плеч и драпируют тело куски материи!.. Располагать эту драпировку — искусство. Преддверие наших поисков, мастерства и фантазии. Но может ли наша современная женщина носить такой хитон? Как она в нем залезет в троллейбус? Запутается в складках. Да и климат не греческий. Словом, одежда переживает эволюцию, как все в мире. Постепенно я вам расскажу об одеждах разных времен, а теперь перейдем к спецтехнологии.

Он вынул из стенного шкафа мужское пальто. Так и сказал: «Мужское пальто»,— снимая с вешалки игрушечное пальтецо, крохотное и в то же время настоящее, с воротником, карманами, пуговицами, все на месте, как полагается.

— Перед вами модель. Прежде чем взять в руки иглу или сесть за машинку, надо твердо знать последовательность операций пошива изделия. Безошибочно разбираться в деталях.

«Да они портного из меня хотят сделать! — ударила Антона догадка. Как кипятком окатило его.— Что вы, что вы! Никогда! Сию минуту бежать!»

Он не решился убежать и досидел до звонка, слушая и не слушая, что говорит учитель об упругости лацкана, номерах ножниц, портновской линейке.

«Никогда! Ни за что!»

13

— Сначала о себе,— сказал директор, откинулся на спинку кресла за письменным столом, заваленным бумагами, папками, в раздумье помолчал.— Значит, о себе. Фамилия Портнов. Некоторые фамилии говорят человеку об его роде. К примеру, ты — Новодеев. Должно быть, когда-то твой предок затеял какое-нибудь новое дело, отсюда и пошло: Новодеевы. Отец не рассказывал? Хорошая фамилия. Что касается моего рода, я его знаю с прадеда. Прадед портняжничал, и дед, и отец. Отец работал в одной московской артели надомным портным. Помощники — мама да я. Десяти лет не исполнилось, как меня на

утюг посадили. Термин был такой и занятие: садить на утюг. Это значит: нагрей — нагревали не то, что сейчас, включи в сеть, и вся недолга,— нагревали древесным углем, дуешь, дуешь на угли, чтоб докрасна разгорелись. Из глаз, из носа от натуги течет. Даю нагретый утюг отцу, он мне на смену другой, охлажденный. Снова нагревай. Пока второй нагрел, первый остыл, так и мечешься целый день. Вы, теперешние, ноете, хнычете: ох, школа, ох, уроки! А для меня школа была санаторием. Из-за тех окаянных утюгов и домой идти неохота. После уроков наберу разных общественных дел: стенгазета, литературный кружок, то да се. Так из-за утюгов стал выдающимся в школе общественником... В школе светло, окна большие, не то что наш полуподвал. Был нэп. С одной стороны, подъем промышленности, с другой — безработица. Отец за артель изо всех сил держался. Погнул спину вроде того портного, что шил шинель Акакию Акакиевичу. Помнишь, сидит на столе, подвернув под себя ноги, как турецкий паша. Отец, правда, на столе не сидел. А живописно Николай Васильевич Гоголь портновскую работу описывает?! До мелочи точно. Будто сам шинели шивал. Что значит гений! Гений, да! — с улыбкой повторил Семен Борисович.— Теперь познакомимся с обстановкой работы наших портных.

Он протянул Антону солидных размеров альбом с наклеенными на страницах фото швейных ателье. Одно, другое, третье. Современная легкая мебель. Пестрые занавески. Цветы.

— В таком ателье и ты будешь работать,— сказал Семен Борисович.

— Почему вы решили. что я стану портным?

— Надеюсь уговорить,— улыбнулся директор.

— Скучная работа,— возразил Антон.

— Скучных работ нет, есть скучные люди. Я не стал бы, Антон, уговаривать тебя быть портным, если бы в твоей голове была какая-то другая идея. Желаешь быть доктором, летчиком, слесарем — иди, добивайся. Но тебе безразлично. Если безразлично, иди к нам. Перспективы? Блестящие! Кончил ПТУ, отслужил в армии, после армии «петеушникам» путь открыт всюду. Захотел — поступай в технологический вуз. Отличники ПТУ принимаются в вузы родственной специальности в первую очередь. Будешь инженером, конструктором. Захотел — поработай портным в ателье, и опять перспектива — закройщик. Кто есть закройщик? Художник. Да. Перед тобой кусок материала, тонкое, дорогое сукно. Взмах руки,— он вскинул руку и легко и свободно изобразил в воздухе замысловатую фигуру,— две-три линии мелом, и по твоему крою шьется одежда... Серьезное дело. Но прежде надо знать, знать и знать ремесло! А слышал, кто такой модельер? Это уже совсем высоко! Это уже дважды художник. Вкус, творчество, фантазия! Ты изобретаешь одежды, диктуешь линии, форму, сочетание или контрастность цветов, радугу цвета. Были и есть у нас закройщики и модельеры, известные всей Европе: медали, дипломы, один закройщик звание действительного члена Штутгартской Академии искусств получил. Каково? Можешь стать преподавателем, как Хорис Абрахманович, до вуза он пять лет шил в ателье. Или директором ПТУ, можешь стать, как Семен Борисович Портнов, то есть я: от утюга до директорства. Еще аргумент. И важнейший. Судьба твоя, Антон, сложилась не легко; будь до революции, хлебнул бы горюшка. А нынче зовут: иди, учись ремеслу, бесплатное обучение, тридцать рублей стипендии, льготный проездной билет на метро. И еще: не годится, Антон, на шее больной матери висеть. Ты мужчина. Вчера своими глазами увидел — мужчина, что меня и расположило к тебе. Хочу помочь тебе стать человеком. Пиши заявление в ПТУ. Со школой договариваюсь сам, формальности беру на себя. Вот бумага, ручка. Пиши.

Антон не взял ручку.

— Ну подумай,— добродушно улыбнулся директор, нажимая одну из клавиш белого плоского аппарата на столе. Клавиша вспыхнула огоньком, раздался голос:

— Слушаю, Семен Борисович.

— Дружок, Хорис Абрахманович, книга «По законам красоты» есть у вас в кабинете?

— Есть,— ответил голос.

— Принесите ее мне, пожалуйста,— сказал директор. И Антону, любовно пошлепывая ладонью по аппарату:— Штука эта — весьма полезное изобретение техники. Соединяет телефонной связью со всеми кабинетами. По четырем этажам не набегаешься. Когда надо, директору из кабинета звонят, когда надо, директор учителю. Техника.

Хорис Абрахманович принес книгу.

— Возьмешь домой, полистаешь,— сказал директор Антону.— Еще получай сказки братьев Гримм. Удивительно сказки встретить в кабинете директора? А ничему не удивляться — неинтересно и жить. Тоже прочти. Ну, иди. Думай.

14

— Парень в несчастье, надо пригреть, не отдать улице,— сказал директор учителю.

— Он выглядит смышленым,— ответил учитель.— Приложим старания, из мальчишки толк выйдет.

...Мальчишка тем временем шагал незнакомым длинным проспектом на окраине города. И думал. Как быть? С кем посоветоваться? Вообразим, что рядом шагает Колька Шибанов.

«— Колька, ты товарищ. Советуй по-честному.

— Есть по-честному».

Колька не совсем уверен, что после десятого класса сразу поступит в институт и выучится на океанолога. Наберет ли очки на вступительных? Если нет, пойдет работать к отцу на завод, а через год опять в институт, снова океанология. И опять и опять, пока не добьется. У Кольки мечта и цель жизни — изучать работу океана. Океан — отопительная система Земли, вечно в работе, в движении. Воды перемещаются в нем. Бури, течения, извержения вулканов колышут, несут океанские воды, и оттого верхние прогретые слои делят тепло с атмосферой и согревают Землю. Океан полон открытых и неоткрытых тайн. Больше неоткрытых. Все это надо изучать.

«— Колька, а как же быть мне?

— Тебе инте-е-е-ресно быть портным?»

Что другое может сказать Колька Шибанов? У него страсть. Океан его страсть. Правда, год назад его страстью были вулканы. А еще раньше он мечтал лететь на Луну. У Кольки Шибанова отец — слесарь высшего разряда, мать — фельдшерица. Для него стипендия не проблема.

И для Гоги Петрякова деньги не проблема, хотя он ушел из девятого класса и в музыкальном училище получает стипендию. Гогин отец — скрипач в оркестре Большого театра. Гога тоже музыкант. Он талантлив, весь в своей музыке.

Один разок Антону пришлось побывать в музыкальном училище.

— Хочешь послушать, как я учусь играть на органе? — позвал как-то Гога.

У него отцовская специальность — скрипка; органом он занимается в любительском кружке. Для самостоятельных упражнений каждому кружковцу отведен час в неделю. Гогин час — в семь утра по субботам.

Будильник поднял Антона. Где-то за высокими башнями зданий солнце только взошло, но утро пасмурно, солнечным лучам за весь день не пробиться сквозь серую пелену осеннего неба.

Гога ждет в условленном месте с портфелем и папкой для нот. У него озабоченный вид.

— Здорово. Пошли.

Они едут в троллейбусе.

Все этажи музыкального училища освещены. Но пусты. Только уборщицы прибирают классы к занятиям, да из разных дверей доносятся монотонные негромкие звуки.

— Настройщики,— объяснил Гога.— Они ночами работают, к урокам закончат.— Гога прошмыгнул мимо столика с телефоном, поманил Антона.

— Повезло, вахтерша куда-то смылась, могла бы тебя не пропустить, я шел на риск. Бежим.

Они понеслись на четвертый этаж, скача через одну-две ступени. Запыхавшись, примчались к органному классу. Тяжело дыша от бега, Гога молча отпер дверь.

Он был бледен. Волнение Гоги передалось Антону, он ждал чего-то необыкновенного.

В классе два черных рояля и не очень большой орган светлого дерева. Гога открыл крышку, зажег в органе лампочку, сел на табурет.

— Прелюдия и фуга Баха,— объявил он.

Антон впервые видел внутреннее устройство органа, он и на концертах-то органных не бывал, а уж вблизи и подавно видел инструмент впервые. Две клавиатуры одна над другой, трубы разных размеров и длины, какие-то рычаги и рычажки, ряд больших деревянных клавиш внизу. Пораженный невиданным устройством инструмента, таинственностью обстановки пустого училища и игрой Гоги, Антон слушал торжественные, величавые — то глубокие, то трепетно-тихие звуки.

Антона поразила техника игры на органе — Гога играл и руками и одновременно ногами на нижних клавишах. Может быть, игра его на сто верст далека от совершенства, но Антону она представилась чудом. Теперь он станет ходить на органные концерты, и всегда ему будет вспоминаться безлюдное музыкальное училище, осеннее утро за окнами и Гога, тоненький, напряженный, чуть склонивший голову набок. Удивительные голоса льются из органа: замирает, и падает, и высоко поднимается сердце.

— Орган — древнейший музыкальный инструмент,— сказал Гога, кончив играть фугу Баха.— У него целая история: как, когда и где его почитали, а потом забывали и снова ценили. У нас его ценят. Орган — целый оркестр, а исполнитель один.

«...Эх! — вздохнул Антон, шагая проспектом, где не видно ни одного старого дома, ни памятника древней архитектуры, все молодо и растет, дощатые заборы отгораживают строящиеся новые и новые здания.— Эх! Гога живет в волшебном мире, туда попадают избранные, и они сумасшедше трудятся, им не дается даром их искусство, хотя они и талантливы. Гога играет на скрипке с утра до ночи».

Внезапно Антон почувствовал острый голод. Скорее бы домой, но обеда дома нет. Антон проверил кошелек, в кошельке бренчит мелочь, около рубля, а надо непременно отнести что-нибудь маме в больницу. На столовую не хватит капитала. Антон зашел в булочную, купил четвертушку бородинского черного, необыкновенно вкусного хлеба и трехкопеечную кругленькую белую булочку. Вышел на улицу и все это уплел. Хочется мороженого, но о мороженом и думать нечего.

Завтра придется разменять мамины двадцать пять рублей, которые она спрятала в шкафу под бельем. Яков Ефимович звонил, что Антону назначат пенсию за папу.

— Небольшую,— сказал Яков Ефимович. Может, и скоро, он позаботится.— Но небольшую,— словно извиняясь, повторил Яков Ефимович.

Надо решать, Антон. Идти, куда зовет добрый человек Семен Борисович? И учитель — живой, подвижный, кудрявый татарин Хорис Абрахманович — Антону понравился. Надо решать. Ведь в волшебный Гогин мир тебе хода нет, Антон, и, честное слово, винить за это некого. Бог не дал таланта. Бог дал тебе неспокойное, совестливое сердце. Впрочем, бог ни при чем, отец и мать или далекие предки оставили в наследство Антону Новодееву гены.

Он повернул назад и зашагал в ПТУ подавать заявление.

15

Дома ждало письмо и не одно. Три — маме от сослуживиц с выражением дружбы, участия: не надо ли помочь? что принести? И: «Выздоравливайте скорее, милая Татьяна Викторовна, скучаем, любим!»

Четвертое ему. Он взглянул на подпись и, от изумления охнув, сел в передней на стул и прочитал:

«Антон Новодеев! Я мог бы не писать письмо, ваша классная руководительница собиралась проведать тебя, но я взял это на себя. Ты уже почти взрослый человек, думаю, все понимаешь и многое знаешь. Знаешь, что бывают учителя, которые более всего боятся потерять престиж в глазах учеников, даже если в чем-то виноваты. Я не того сорта учитель. Я достаточно знаю себе цену и потому гляжу правде в глаза. Я перед тобою виноват, что не понял причин твоей грубости. Грубость твою не оправдываю, но и себя не оправдываю. Давай помиримся. Приходи в школу, Антон. Прошу тебя, приходи. У меня растет сынишка, я представил его на твоем месте, в твоей ситуации, и мне стало грустно. Ты понимаешь, что это письмо — знак моего большого к тебе уважения и доверия? Пишу его у вас в подъезде, хотел повидаться лично, да не застал. Завтра мой урок в твоем классе, как тогда, первый. Спрашивать тебя, в виду исключительных обстоятельств, не буду. Наверстаем после. До завтра».

Антон долго не мог прийти в себя, ошеломленный письмом Гри-Гри. Что было бы, попади оно ему в руки вчера? Нет сомнений, он вернулся бы в школу. Семен Борисович не стал бы тянуть его в ПТУ, если б знал, что Антон спокойно учится в школе. Как иногда случайность резко меняет судьбу человека! Куда же завтра идти: в ПТУ или в школу? Письмо Гри-Гри сняло с души Антона обиду. Зла как и не было. Напротив, теперь он во всем винил себя. «Я всегда знал, что он человек!» — думал Антон.

И в общем-то, если школу Антон не любил, то привык, и там все же свои ребята, там Ася... Ася... Но... Ах, какое серьезное «но» стояло на пути возвращения Антона Новодеева в школу! Сегодня, взяв его заявление, Семен Борисович удалился, оставив Антона в кабинете одного, а вернувшись, принес

ему половину месячной стипендии — пятнадцать рублей. Антон расписался в какой-то бумажке. Ему сказали: «Твои заработанные деньги. Еще не заработанные, но ты оправдаешь наше доверие».

Антон не знал, что все это было выдумкой Семена Борисовича. Училище не имело права выдать половину стипендии ему, не принятому еще ученику. Директор вынул пятнадцать рублей из своего кармана и разыграл спектакль в духе Диккенса или иных наших добросердечных людей. А вдруг Антон окажется жуликом? Плакали тогда пятнадцать рублей Семена Борисовича.

В каком труднейшем положении Антон Новодеев! Что ему делать? Как быть?

Он не рассчитывал на чью-нибудь помощь. За несколько дней после смерти отца он повзрослел. Перестал быть иждивенцем. Стал практическим человеком. Кто-то усмехнется, быть может: практический человек! Не такая уж доблесть.

Между тем, быть практическим человеком — значит видеть жизнь, как она есть... Мысли беспорядочно бродят в голове. Выбор: школа или ПТУ? Хорошо, что Антон расстается со школой без обиды. Спасибо, Гри-Гри.

Теперь будем рассуждать, как взрослые люди. ПТУ его учит по программе средней школы, и за то, что он учится, ему дают стипендию. Гога, Колька Шибанов, Ася — им вопрос о стипендии до лампочки. Что касается Антона, мелочь в мамином кошельке израсходована. И между тем, получив сегодня от директора пятнадцать рублей в счет будущей стипендии, Антон купил на ужин двести граммов колбасы, и сейчас голод грыз его, как утром, когда он в неведении, что делать, брел длинным незнакомым проспектом неизвестно куда и зачем.

Если бы не аванс в счет стипендии, пришлось бы взять мамины двадцать пять рублей, что лежат в шкафу под бельем. Ни за что! Вопрос решен. Завтра он идет в ПТУ.

«Подсчитаем бюджет. С сегодняшнего дня я не иждивенец, самостоятельный человек. Стою на своих ногах. Да.

Обед в столовой ПТУ — 50 копеек.
Хлеб на завтрак и ужин — 10 копеек.
Сто граммов колбасы — 29 копеек.
Пятьдесят граммов масла — 18 копеек.
Итого: один рубль семь копеек.

А сахар, а мыло, а спички? Если даже укладываться в рубль ежедневно, стипендии на месяц не натянуть. Придется обедать не каждый день. Не обязательно каждый день есть колбасу. Да... ведь мне еще назначат пенсию за папу. Яков Ефимович обещал. Папочка, и после смерти ты меня кормишь. Папа, я не трону мамины деньги. Я прокормлю себя сам. И ты, папа, кормишь меня. Какую мне назначат пенсию? Мамочка, может быть, даже я стану немножко тебе помогать?

А теперь почитаем сказки братьев Гримм. Уж наверное не без умысла Семен Борисович мне их всучил. Любопытно, что там?»

Антон открыл цветную, празднично раскрашенную книжку и на первой странице увидел уютную картинку. На фоне синих и розовых занавесей, похожих на те, что Антон заметил сегодня в альбоме директора,— швейная ножная машина на высоком колесе, манекен... Иллюстрация к сказке «Храбрый портняжка». Вот оно что! Хитрец Семен Борисович! И Антон принялся читать сказку о замухрышке-портном, который в своей чердачной каморке весело шил жилетку у открытого летнего окна.

Антона задело, что сказочники братья Гримм называют портного замухрышкой. Раньше он не придал бы значения унизительному эпитету: «А мне-то что, пусть!» Теперь ему это не очень понравилось. Во всех сказках мира Иванушка-дурачок, Золушка, Гадкий Утенок совершают благородные поступки, добиваясь в награду славы и почестей, так и замухрышка-портной захотел проявить и доказать людям свою отвагу и доблесть. Бросил шить жилетки и костюмы и пошел искать по свету счастья. Не раз встречались ему великаны-разбойники, злодеи, другие враги, которых никто не мог победить, а он их побеждал.

Удалой, ловкий, веселый и грозный портняжка в награду за подвиги добился жены-королевны и полкоролевства в приданое.

И все бы хорошо. Но... молодой король, которого все считали воякой знатного роду-племени, проговорился во сне: эй, малый, не ленись! Шей жилет да заштопай штаны, а то я тебя аршином вытяну!

Оказывается, он не знатного роду, он портной. Королевна, твой муж был портным. Пусть храбрый, благородный — королевне низко, что ее муж был портным. Она от него отказалась. Она его предала.

Конечно, Храбрый портняжка и здесь всех перехитрил и остался владеть королевством. Все бы ничего... но она предала.

— Уф! — громко выдохнул Антон.

Вот так сказочку преподнес Антону директор! Должно быть, Семену Борисовичу важно, что портняжка смелый, и умный, и победитель. Но королевча его предала.

Зазвенел телефон.

— Антон, привет! Куда ты пропал? Что ты делаешь, Антон?

— Читаю сказки братьев Гримм.

— Антон, ты меня уморишь. Вечный ребус, только и знай, загадки отгадывай. Что нового, Антон?

Если бы не сказка братьев Гримм, может быть, Антон сейчас по телефону сказал бы Асе о происшествиях сегодняшнего дня: заявлении его в ПТУ и записке Гри-Гри.

Антон, есть еще время сделать выбор, вернуться в школу, помня удалого портняжку, ремесла которого застыдилась королевна.

Нет. Выбор сделан. Записка с денежным расчетом: один рубль семь копеек в день на еду — лежит перед ним на столе, напоминая, что мама в больнице, а когда вернется домой, ей нельзя перерабатывать.

— Ничего нового,— ответил Антон.— А у тебя?

— У меня великолепные новости! — радостно воскликнула Ася. Милый голос, чистый, ясный. Ее голос, смех, вся она нравится Антону, может быть, он верно влюблен, как сказал Колька Шибанов.

— Какие у тебя новости, Ася?

— Слушай, Антон, неожиданно раньше времени, не предупреждая — хотели сделать сюрприз,— приехали из Англии мама и папа. В отпуск. Поживут несколько дней в Москве, а потом на юг, в санаторий. Они восхищены тобою, Антон! Чем? Как чем? Вчерашним. Как я рада, Антон, мы все, наша семья тебя любим, мы тебе благодарны. Приходи завтра. Придешь?

16

Человек так устроен, что даже небольшая перемена жизни заботит и тревожит его. Опасливые мысли о новом не идут из головы. Что будет? Как будет? Что ждет? Ах, зачем не продолжается привычное прежнее! Как здорово они с Колькой Шибановым гоняли футбольный мяч после уроков на школьном дворе! Колька азартен, подобно охотничьей собаке, спу-

щенной на дичь. На щеках тугой багровый румянец, как у клоуна в цирке. Глаза выпучены, волосы взмокли от пота. Антон и сам возвращался из школы потный, ненасытно прожорливый, блаженно усталый. Счастливы были его дружбы с ребятами, особенно с Колькой и Гогой! Дружил он с ними поразному.

С Колькой гоняли мяч и рассуждали о жизни.

Гога полон мелодий, ноктюрнов, сюит. Он вам расскажет, как Шостакович в голодном, занесенном снегами, закованном льдом Ленинграде, истощенный до обмороков, шатаясь от слабости, создавал под фашистскими бомбами Седьмую симфонию. У Антона холодело и падало сердце, когда раздавался мерный, беспощадный шаг фашистских сапог. Близко, рядом, почти на окраине города. Сейчас раздавят, сомнут. Конец.

Но возникает мотив. Сначала чуть слышный. Словно где-то забрезжил рассвет. Громче, ярче. Луч солнца прорвался сквозь черную тучу и заливает мир светом надежды. Победа, впереди победа!

— Антон, слышишь? — шепотом спрашивал Гога.

Они заводили пластинку. Звуки торжественно гремели, звали к борьбе, нежно пели о счастье.

— Слышишь?

Мама называла Гогу фанатиком за его истовую одержимость музыкой.

Папа:

— Истинный талант всегда одержим.

Первым уроком была математика в кабинете на третьем этаже.

— Ты что? Из школы выставили или сам выбрал путь? — догнав Антона у лестницы, спросил тот вихрастый, кто вчера рассказывал о первобытных людях.

— Не я выбрал путь. Меня путь выбрал.

— Что-то темнишь,— не понял вихрастый.

Подошел другой:

— Новенький, в шахматы играешь?

— А что?

— Сразимся?

— Так ведь сейчас будет звонок.

— Ничего, успеем начать. Я Славка.

— Я Антон.

Они поднялись на первую лестничную площадку, остановились у подоконника. Славка вынул из портфеля шахматную доску размером не больше мужской ладони. Мигом расставил крошечные фигурки, каждая со штыриком, чтобы воткнуть в отверстия на доске.

— Дорожные,— объяснил Славка.— Удобство, играй, где придется. Тебе для начала белые,— милостиво подарил он.

— Не нуждаюсь,— гордо пренебрег Антон. Но по жребию вытянул белые.

— Везучий,— сказал Славка.

Они сделали по ходу, когда раздался звонок. Славка ухом не повел.

— Твой ход, Антон.

— Славка, опоздаем.

— Неважно! Твой ход.

После второго хода они побежали все-таки в кабинет математики. Славка был плотным, плечистым, казался тяжелым, но делал все молниеносно, движения быстры, глаза озорно сверкали

— Из школы вытурили? — спросил он, как и вихрастый.

— Сам ушел.

— И я сам. У меня портновское призвание. От матери. Увлекается шитьем и меня с детства увлекла К тому же зарплата решает вопрос. Двести рублишек в месяц не шутка. А кто и триста загребет. Если здраво рассуждать — портному почет Матери все подружки кланяются — сшей юбку или какую другую штуковину...

— Слава Иванов, почему опаздываешь? — строго спросила преподавательница математики.

— Новенького привел. Антон Новодеев. Заблудился, никак не найдет кабинет. С ним и проволынил,— соврал, не моргнув глазом. Славка.

Он оказался соседом Антона в классе Живо вытащил крошечную шахматную доску, положил на скамейку, раскрыл. И Антону тихонько:

— Твой ход, обдумывай.

Но слушать объяснения учительницы и одновременно обдумывать шахматную комбинацию трудновато, и позиция белых в течение урока математики ухудшилась. Антона взял азарт. Он не хотел сдаваться.

— У меня третий разряд, не за горами — второй,— хвастался в перемену Славка — Я и здесь в нашем классе и в школе всех на лопатки положил. Черед за тобой. Ты соображаешь, вижу.

Они играли все перемены и отчасти на уроках. Уроки не отличались от школьных, только учителя пока незнакомы. Благодаря Славке, Антон перестал себя чувствовать новеньким, не озирался боязливо по сторонам. Наоборот, расхрабрился и выложил третьеразряднику Славке некоторые свои познания из шахматной области.

— Например, знаешь, сколько наших чемпионов мира?

— Спрашиваешь! Алехин, Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Спасский, Карпов,— залпом выпалил Славка.

— А знаешь, что в 1870 году на международном шахматном конгрессе Тургенева избрали вице-президентом? Во! Писатель, а таким авторитетом был в шахматах! А знаешь, что знаменитые музыканты Прокофьев и Ойстрах...

— Знаю, знаю! Пять партий разыграли, четыре ничейных, в одной победа за Ойстрахом. Знаю и в какой книжке про это ты вычитал. У меня шахматная библиотека — во! На большой.

Положительно, Славка пришелся Антону по душе. Из-за Славки в ПТУ ему стало даже уютно и весело. Особенно, когда сыграл партию с третьеразрядником вничью.

— Эге! — почесал затылок третьеразрядник.— Подаешь надежды. А я, дурак, сплоховал!

А последним уроком снова была спецтехнология. Опять урок начался с истории костюма. Хорис Абрахманович рассказывал без системы, или, может быть, у него была своя какая-то система, по которой он из первобытных веков без перехода перекочевывал во времена Людовика XIV. У Людовика заболело горло, пришлось делать операцию. Являясь впервые после операции перед двором, король, привыкший блистать, естественно, не захотел показывать уродливые шрамы на шее и с помощью придворного модельера красиво задрапировал их шарфом. Вельможи ахнули (понятно, не вслух) и на следующий день явились во дворец с такими же, как у короля, шарфами на шее вместо галстуков. Скоро весь Париж носил шарфы. Носила вся Франция. Перекинулось в другие страны. Так родилась мода.

— Еще случай. В конце прошлого века на скачки в Лондоне прибыл наследный принц Эдуард VII. Моросил мелкий лондонский дождик. Выходя из коляски, принц загнул брюки, чтобы не запачкать

А отогнуть позабыл. Получились брюки с манжетами. Через день весь высший свет Лондона носил брюки с манжетами. Чуть позже весь Лондон, вся Англия и, как говорится, тэ дэ.

Ребята смеялись. Но Хорис Абрахманович посерьезнел и перешел собственно к спецтехнологии. На сегодняшнем уроке ребятам следовало усвоить, как кроится и шьется карман.

17

Антон купил несколько белых астр, три яблока и повез маме. В маминой большой палате стояло пятнадцать коек. Выздоравливающие женщины нитали, вполголоса беседовали, даже играли в карты, а некоторые, тяжело больные, лежали неподвижно и безмолвно, с тем ушедшим в себя отчужденным взглядом, который безнадежно говорил: «Мне нинто не важно и не интересно, кроме беды, которая свалилась на меня так внезапно и несправедливо. Вы, здоровые, не понимаете и не можете понять моих страданий и страха».

Антон отвел глаза от их пугающих взглядов и лиц. Мама со своей койки в углу палаты звала Антона рукой. В нем горячо поднялась волна такой сильной, нежной до боли, жалеющей любви к матери, нто казалось, он сейчас задохнется.

Мама была бледна, чо лихорадочно оживлена и разговорчива.

— Прелестные астры, ах, какие прелестные астры! Спасибо, Антончик. Папа тоже иногда дарил мне цветы. Садись сюда, ближе к кровати. Как себя нувствую? Понти хорошо. Инфаркта нет, тебе сказали? А полежать придется, раз уж попала в больницу. Чем заняты дни? Обходы врачей, исследования, уколы, все как полагается. Больница без паркетных полов, и нерной икры на завтрак не дают, но врани хорошие. А мой доктор такой внимательный, душенька! Антон, расскажи о себе.

— Что рассказывать, мама? Все нормально. Лучше ты еще о себе расскажи.

— Антонник, всю жизнь мне было некогда! Некогда думать. А сейчас лежу и думаю. Вспоминаю прошлое. Бывают умные жены, поддерживают, помогают, сочувствуют... Если бы я была умной женой, истинным товарищем, нашла бы, как помочь отцу, догадалась бы при жизни, как поддержать, ободрить. В нашей жизни было много хорошего, но мне вспоминается понему-то не снастливое — ведь было же, было счастье! — а мои вины перед ним. Как в кино, кадр за кадром. Говорят, так бывает со всеми, кто теряет любимого человека, но у меня уж очень больно, очень, особенно...

— Мама, как тебе папа объяснялся в любви? — неожиданно для себя спросил Антон, краснея от смущения.

Мама улыбнулась тихой улыбкой.

— Никак.

Антон не понял — понему же она улыбается?

— В первый раз приносит папа, тогда еще не папа, рисунок. Зеленый омут, неправдоподобно зеленый. У папы ведь все реально и нереально. Над омутом черемуха в цвету, вся в сиянии. Это ты, говорит папа. Так он мне объяснился в любви.

— И после так?

— И после.

— Съешь яблоко, мама,— сказал Антон.

— Спасибо. Чудесное яблоко! У тебя есть девушка, Антон? Девушка, с которой, как это у вас говорится, дружишь? Ага, покраснел,— шутливо погрозила мама пальцем.— Как зовут?

— Не скажу Потом узнаешь Она старше меня на полгода.

— Ну и что,— удивилась мама.— Господи боже, неужели это имеет значение? Умная?

— Да.

— Конечно, хорошенькая,— полуспросила мама.— Впронем, а девушке в шестнадцать лет какая шляпка не пристала? Что я еще себе не прощаю: когда он уехал в последнюю командировку, ни единого письма ему не послала. Не знала даже точного адреса, только название колхоза «Отрадное». А где оно, это «Отрадное»? И он не писал. Звонил по телефону: «Как живешь? Как дела?» И я: «Как живешь? Как дела?» «Нинего». И я: «Нинего». А может, охлаждение подкрадывается, становимся нужими мы с ним... Теперь поняла: нет жизни без него. Безрадостное существование. Твой отец, Антон, был благородным, смелым человеком. Помни: благородным и смелым. Снанала верила: да, талантлив, удачлив. Потом. когда целые годы ни картины на выставки не берут, спроса нет, признания нет... Антон, неужели только практические люди добиваются успеха? Или действительно он не талантлив?

— А нто на похоронах говорили, помнишь, мама?

— Похоронные речи в снет не идут. Услышать бы ему эти речи при жизни! Хоть раз.

— Не волнуйся, мама,— сказал Антон, чувствуя — слезы щекочут горло, боясь не сдержаться.

— Напрасно я с тобой всем этим делюсь,— ответила она.

— Не напрасно. Постарайся поскорее выздороветь, мамонка.

— Постараюсь. Соскучилась по дому,— вздохнула она.— Перед нами задача, Антон,— разберем папин архив. У него много картин. И никому дела нет. Все равнодушны. Ненавижу равнодушных людей! Вот опять закипела. Скверный я человек. Приказываю себе не злобиться. И злоблюсь. Чуть нто — сорвалась. Но теперь кончено. Раз и навсегда приказала: кончено. Все мелкие мыслишки вон из головы! Раньше голова забита: у той новое платье, та достала сапожки, те собираются в туристскую поездку за границу. Понему у меня ничего этого нет? Почему у других мужья добытчики, имеют в обществе вес? Ах, все пустяки, суета! Пусть он такой, каким был, только бы был... Антон, откуда у тебя под глазом синяк?

— Налетел с разбегу на дверь, ушибся о косяк.

— Антонник, будь осторожен. Потерпи немного. Скоро вернусь.

18

Он надел новенькую светлую рубашку в сиреневую полоску, завязал галстук, одернул пиджак, оглядел себя в зеркале, прежде чем отправиться к генералу Павлищеву. Мама просила вернуть генералу рукопись, не скоро удастся ей снова сесть за машинку.

— Никогда! Дома пенатать не будешь. Никаких дополнительных нагрузок! — категорически заявил Антон.

— Каков! Послушайте его, он уже командует,— удивилась мама, но, видно, «командование» сына понравилось ей.— Взрослеешь, Антон.

Она не подозревала, как быстро, не по дням, а по часам, он взрослеет.

Антон долго рассматривал себя в зеркале. Синяк под глазом здорово портил его, придавая какое-то

блаженно-идиотское выражение лицу. Вообще Антон не был доволен своей внешностью. Нос широковат, губы толстоваты.

— Что бесспорно в тебе хорошо, это глаза,— говорил отец.— Лев Николаевич Толстой так определял красоту: привлекательная улыбка, выразительность глаз.

Теперь и глаза — во всяком случае, правый — подпорчены.

«А! Не буду расстраиваться. Уж, конечно, они не кинутся сразу обсуждать мою внешность»,— утешал себя Антон, все не отрываясь от зеркала.

Он вообразил, как в доме генерала Павлищева, судя по телефонному звонку Аси, ему обрадуются, будут вспоминать его вчерашнее геройство, а он небрежно бросит в ответ: «Подумаешь, геройство! Напали двое бандюг, я и по пятаку их сшибал. Я знаю приемы самбо и еще кое-какие приемчики»

Генерал пожмет ему руку и скажет: «Я взял бы тебя солдатом, если бы была война».

Антон опомнился, что слишком размечтался, и заторопился. Он из двери, а в дверь нос к носу Колька Шибанов.

— Здорово, Антон, за-а-бежал на часок.

— Вот досадно, как нарочно надо сейчас отнести генералу рукопись, мама просила.

— Ясно. Я тебя провожу,— не обиделся Колька.— Пре-едставляешь,— сразу обрушил он на товарища ворох новейших соображений и замыслов,— предста-авляешь, что происходит на нашей планете? Исчезают животные, птицы, растения. Земля бе-еднеет, пу-ус-теет. Слу-ушай, для меня это просто открытие. Интересно быть ученым-зоологом! Международный Союз охраны природы создал Красную книгу. Там ведется учет, сколько каких диких животных существует на Земле и как их сохранять. «Красная книга тревоги» — зву-учит? У нас в некоторых республиках созданы «Красные книги тревоги». Посвятить себя такой це-е-ли, а?

Колька по обыкновению говорил громко, орал на всю улицу, и щеки и глаза его пылали, как после футбольного матча, когда ему посчастливится забить гол.

— А океан? — напомнил Антон.

— Что океан? Гм, океан... конечно, я еще не-е принял окончательного решения, но мне за-а-села в голову эта мысль, что Земля пустеет.. Тигров осталось на всей Земле несколько тысяч. Не безобразие?

— Безобразие, — согласился Антон. — Пришли,— сказал он, останавливаясь у галереи высокого Асиного дома.

Белые плафоны на галерее не были зажжены, над Москвой стояло еще светлое небо с розовыми от закатной зари облаками; осенний золотистый вечер беззвучно и медленно опускался на Асин пустынный двор.

— Жа-аль, что пришли,— пожалел Колька,— я тебе такое еще порассказал бы. Пока. Асе привет.

И он удалился, размахивая портфелем, не заметив ни лужаек, ни елочек во дворе. Ни синяка под глазом Антона. Он поглощен был мыслями об исчезающих видах диких животных.

— Мама, дед, он наконец! — на весь дом закричала Ася, открывая Антону дверь.

Быстрой нестарой походкой из кабинета появился генерал в домашней коричневой куртке с бежевыми отворотами. Распахнул руки, с силой обнял Антона.

— Здравствуй. Спасибо.

Послышался частый стук каблучков, и почти вбежала Асина лондонская мама. Тоненькая, хрупкая, в лиловых брючках с оборками внизу и цветной кофточке, тоже с оборками и воланами,— она выглядела такой молоденькой, похожая скорее на старшую сестру Аси, чем на мать. Она была наряднее и красивее Аси. С голубыми подведенными веками, стрельчатыми ресницами и прелестными ямочками на щеках.

— Мальчик! Родной, дорогой! Дорогой на всю жизнь! — певучим голосом сказала она и, закинув руки Антону на шею, крепко поцеловала.

— Мамочка, ты задушишь его. Ты слишком темпераментно его обнимаешь! — смеялась Ася.

— Ася нам рассказала,— говорила Вера Дмитриевна, Асина мама.— Ужасная история! Мне даже плохо сделалось. И сейчас, как представлю все это — о, боже! — поздний вечер, глухой переулок, подворотня, черная, как могила, хулиганы с ножами, ужас, ужас! Милый Антон, восхищаюсь твоей смелостью. Спасибо, милый мальчик!

Антон хотел произнести придуманную перед зеркалом ответную речь, что, мол, ничего особенного, он не с такими бандюгами расправлялся, и прочее. Но ему не удалось вставить словцо.

— Мама, там бабушка ждет,— позвала Ася.

— Да, идемте. У Асиной бабушки, моей матери, Прасковьи Ивановны, паралич ног,— объяснила Вера Дмитриевна и за руку повела Антона к бабушке.— Безумно волнуется! Они с дедом Асю без памяти любят и растят и балуют. Мы все в отъезде. Досадно, Ася, что папу сегодня вызвали на совещание в МИД, вечно что-то экстренное, ни часу покоя. Он тоже очень тебе благодарен, Антон!

Она так горячо выражала благодарность и любовь к Антону, что он растрогался и тоже почувствовал симпатию к ней и благодарность. И вообще какое-то сладкое умиление охватило его: приятно быть героем. Он хотел быть еще героичнее, пострадать больше, прийти бы с пробитой, забинтованной головой. Незаметно Семен Борисович как бы отодвинулся в тень и главным спасителем Аси оказался он, Антон Новодеев.

В небольшой комнате, где в серванте бриллиантово переливались хрустальные бокалы, графины и вазы и два натюрморта уютно смотрели со стены, на застеленном белой скатертью столе, в окружении фарфоровых чашек еще струил горячий парок только выключенный электрический самовар. Чуть поодаль стола сидела в кресле парализованная Асина бабушка. Седая до белизны, в светлой вязаной кофточке, с укутанными пледом ногами она при виде Антона громко сказала: «Ох!» — и приложила к глазам платок.

— Волнуется,— шепнула Ася.— Переполох из-за тебя у нас в доме.

Она подкатила бабушкино кресло на колесиках к Антону.

— Вот ты какой! — сказала бабушка, вглядываясь в Антона слезящимися то ли от старости, то ли от переживаний глазами.— Ничего, ладный парень, росточком только не вышел чуток...

— Бабушка,— укоризненно перебила Ася.

— ...Так еще и года невелики, вытянется,— продолжала бабушка.— А что смел, так смел. Другой ростом в оглоблю, да толку-то что! А мама в больнице? Вот уж верно говорят: пришла беда — отворяй ворота. Духом не падай, слышишь, малец? Мы твоей маме сготовили передачу в больницу. Ежедневно будешь носить. Асе поручено за этим делом наблюдать. А под глазом они тебе залепили, мерзавцы?

— Ерунда! Детские шутки! — беспечно тряхнул Антон головой.

— За стол! — пригласила Асина мама.

Ася подкатила к столу бабушку в кресле. Вера Дмитриевна разлила чай в фарфоровые чашечки, генералу — в стакан. Она делала все это изящно, легко. Внешность, одежда, улыбка, слова — все было в ней празднично, не зря Ася ее называла романтиком.

— Пить чай! Пить чай! — весело хлопотала Вера Дмитриевна.

И тут, как по знаку, пожилая дородная женщина в вышитом узорами фартуке внесла блюдо пирожков, таких аппетитных на вид, что у Антона, как говорится, слюнки потекли.

— Он, что ли? — кивнула на Антона.

— Он самый,— обрадовалась бабушка.

— Ишь ты! — улыбнулась женщина в фартуке.— Ну, коли так, ешь пироги.

И ушла.

— Наша тетя Капа,— объяснила бабушка.— Наш домоправитель. А стряпуха! Другой такой во всей Москве не найдешь. В девчонках тоже была фронтовичкой. Давай ешь пирожки.

Пирожки были так соблазнительны, такие румяненькие, что Антон не успел заметить, как один за другим уплел два. Ася подложила на тарелочку перед ним еще три. Он опять не стерпел и, понимая, что невоспитанно, неприлично, все глядят на него и, наверное, удивляются его жадной прожорливости, съел снова два. С третьим заставил себя подождать, только чуть надкусил.

Асина мама между тем говорила:

— Досадно, что не лето, будь летние каникулы, забрали бы к морю Асю, да, непременно, Антон, и тебя, вы славно бы там отдохнули, мне нравится ваша дружба. Ася в вашей школе недавно, она не очень легко находит товарищей; ты, насколько я уяснила, один из немногих. Да, Антон! — Она поставила, не донеся до рта, чашку на блюдце. На лице ее отразилась озабоченность.— Да, Антон! Мне Ася сказала, ты поссорился с учителем, не ходишь в школу?

— С учителем помирился, а в школу не хожу, бросил.

— Не понимаю,— вскинула брови Асина мама.

— Так уж получилось, бросил. Поступил в ПТУ.

— Пе-те-у. Что такое пе-те-у?

— Ты у нас совсем стала иностранкой,— усмехнулся генерал.— Современных понятий не знаешь. ПТУ значит профессионально-техническое училище.

— Зачем ему пе-те-у? — удивилась Вера Дмитриевна.

— Учусь,— сказал Антон.— Тому же, чему в школе. И еще ремеслу.

— Какому?

— Портновскому.

— Что-о-о?!

Как на грех, Антон откусил полпирожка и от этого изумленного возгласа Асиной мамы едва не подавился, кусок застрял в горле, он не мог его проглотить, весь вспотел, покраснел, вообразил, каким выглядит смешным и нелепым, и от этого стал еще смешней и нелепее. Ася постучала ему кулаком по спине. Он проглотил кусок.

— А мне ничего не сказал,— сердито заметила Ася.— Ты там с каких пор?

— Второй день.

— А-а! Второй день все равно, что ничего,— облегченно произнесла Асина мама.— Антон, не лучше ли тебе вернуться в школу?

— Почему?

— Как-то привычнее. Пе-те-у. Побаиваюсь я этих новшеств.

— ПТУ не новшество,— возразил генерал.— Профтехническое образование, то есть подготовка с молодых лет к какой-то профессии, существовало с первых лет революции, даже до революции, не в таких, конечно, масштабах.

— «Какой-то профессии»,— сказала Вера Дмитриевна.— Есть разные профессии. Мне кажется, Антон, в наш век технической революции существует столько ведущих, первоочередных, государственно-важных задач, такой широкий выбор, что ты мог бы избрать интересней работу.

— Неинтересных работ нет, есть неинтересные люди,— повторил Антон слова Семена Борисовича.

Что-то его задело в жалостливых рассуждениях Веры Дмитриевны, он не отчетливо понимал что́, но задело.

— А все-таки, Антон, милый Антон, пока не поздно, подумай,— ласково уговаривала она.— Не оставляй школу. Школа даст широкие перспективы, выбирай какой хочешь путь, а здесь путь определен, один. И слишком уж узок. Понимаю, портновское ремесло полезно, нужно...

— Не только нужно, но шаг к искусству,— упрямо возразил Антон, повторяя уже усвоенные им, оказывается, уроки в ПТУ.

— Искусству? — недоверчиво подняла брови Вера Дмитриевна.

— Да. Я не буду читать вам лекцию об искусстве создания одежды.

— Милый Антон, ты, кажется, на меня рассердился?

— Нисколько! За что?!

— Ну, за то хотя бы, что я не очень поддерживаю твое решение, сомневаюсь, ту ли ты выбираешь дорогу. И я не уверена...— она запнулась,— какие там люди в ПТУ, ровня ли тебе по развитию. Ты одаренный, интеллектуальный мальчик, да, Ася нам говорила, а она придира порядочная. Твой путь по крайней мере в университет.

— У меня нет призвания,— угрюмо буркнул Антон.

А про себя подумал: «Вам не приходит в голову, что мой бюджет — рубль семь копеек в день, вам не приходит в голову? Конечно, не в том только дело, но и в том».

Вслух этого он не сказал.

Что касается людей...

Антону живо представился директор, который властно, без колебаний захватил его судьбу в свои руки: учитель Хорис Абрахманович с его веселым кабинетом и забавными рассказами о капризах и случайностях мод; третьеразрядник Славка, азартно переставляющий шахматные фигурки на крошечной шахматной доске. За короткое время Антон встретил хороших людей. Ему повезло, он встретил хороших людей!

— Веруша,— вмешалась в разговор бабушка,— неверно ты судишь. Вон наряд на тебе... Да и все мы чьими руками одеты? Иной раз поглядишь передачу по телевизору, женщины так красиво наряжены, не то что мы в молодые годы... А ты? «Не тот путь выбрал». Почем тебе знать, что не тот?

— Есть вещи и понятия, о которых надо говорить всерьез или совсем не говорить,— поглаживая седые брови, добавил генерал.

— Вы не поняли меня,— возразила Асина мама просящим, убеждающим тоном.— Я хочу для Антона только хорошего. Как плохо получилось — едва встретились и какие-то недоразумения. Разве я этого хотела?

Антон поднялся.

— Извините,— сбивчиво сказал он генералу.— Доктор обещал позвонить, что́ там у мамы... Я зашел только рукопись вам передать... Мама извиняется, что не напечатала, а мне надо скорее домой,

чтобы застать, когда доктор будет звонить. До свидания.

— До свидания. Надеюсь, до свидания,— задумчиво ответил генерал.

Бабушка подозвала Антона, поцеловала в лоб:

— Кланяйся маме.— Лицо у нее было ласково и грустно.

Ася проводила Антона в прихожую.

— Ты придумал ПТУ или правда?

— Правда.

— Отчего ты мне не сказал?

— Не успел.

— Про доктора вранье,— сказала она, глядя, как всегда не мигая, прямо в глаза ему.

— Нет.

— Вранье,— повторила она.

— Вранье так вранье,— грубо отрезал Антон.

И ушел. Он забыл о передаче, которую они приготовили маме. И они позабыли.

19

— Принеси папиросу,— велел Асе генерал.— Прасковья, ничего, что я закурю?

— Кури, кури,— с поспешной готовностью разрешила бабушка.— Мне-то что! Тебе неполезно.

— В жизни меньше полезного, чем неполезного,— хмуро возразил генерал.

Бабушка промолчала. Ее огорчило, что дочь — правда, вежливо, почти ласково,— но осудила перемену в жизни Антона. «А что мы знаем, почему он поступил в ПТУ? И что в том плохого? Не всем быть генералами»,— в простоте душевной рассуждала бабушка.

— В жизни меньше полезного? — полуспрашивала Вера Дмитриевна.— Я считаю разговор с Антоном полезным. Я не прямо ему сказала, что думаю. Но он показался мне умненьким, поймет и, надеюсь, послушается. Папа, мама! Жаль, что за годы, когда мы живем врозь — шестой уже год! — какая-то возникла между нами вроде полоса отчуждения.

Ася принесла деду папиросу, села и внимательно, словно спрашивая о чем-то, глядела на мать.

— Что ты уставила на меня свои загадочные очи? — рассердилась мать.— Я намекнула Антону, что он избрал не самый увлекательный путь. Разве не правда? Навсегда, пойми, навсегда! Намеревается работать в сфере обслуживания, сейчас это поддерживается, даже романтизируется, но жизнь полна условностей.

— Отвергаю условности... Хотя бы некоторые,— возразил генерал.

— Папочка, извини меня, ты немного устарел со своими понятиями. Мальчишке втемяшилось...

— Почему «втемяшилось»? — спросила Ася непроницаемо-спокойно и ровно.

— Как! Ты поддерживаешь его странную выдумку?

— Мама, ты учительница и знаешь, что литература — учитель жизни,— так же непроницаемо-спокойно ответила Ася.— Мы проходили «Что делать?» Чернышевского. Помнишь, там Вера Павловна, интеллигентная, интересная женщина, организовала швейную мастерскую, стала закройщицей?

— Брось меня наставлять, Ася, глупо! Она Чернышевским будет меня агитировать! Чернышевский — великий писатель и философ, но то — прошлый век, иные идеалы, отошедшая жизнь. Хватит тебе, Ася, быть воздушной, летающей.

— Это ты воздушная, мама, в два раза тоньше меня.

— Неуместные шутки, Ася.

— А все-таки, что ты так раскипятилась? — суховато обратился к дочери генерал.— Он не твой сын, через два дня ты в Крыму, через два месяца в Англии, что тебе до этого мальчика, которого всего полчаса назад ты так пылко целовала?

— Папа, ты не хочешь взять в толк. Я целовала его в благодарность, но у Аси своя среда, свое общество. Вот советник посольства приезжает на время в Москву. И вот приглашают нас на вечерний чай. И Асю с товарищем. Или Ляля Пыляева, дочь профессора, приглашает тебя, Ася. Знакомьтесь, мой друг Антон Новодеев, портной. Воображаю сенсацию. Нет, как хотите, я не желаю в глазах знакомых, нашего общества, оказаться смешной. Есть непреодолимые границы. Были, есть и будут. Ася, я поговорю с твоим отцом, у него связи. Он устроит Антона, куда тот захочет, вплоть до подготовительных курсов при Ин'язе, а оттуда прямо в вуз.

— Все устраиваете,— невесело качнула бабушка белой от седины головой.— Мы, бывало, сами находили дорогу.

— Ну, устроим мальчишку по твоим планам, предположим, в Ин'язе, а дальше? — спросил дед.

— Дальше? Будет переводчиком.

— Работа переводчика, особенно в наше время мирных международных отношений, а также и во время, не дай бог, войны — важнейшая, наисущественная! — внушительно сказал генерал.

— Папочка, как ты прав! Ты меня поддерживаешь! — воскликнула Вера Дмитриевна.

— Решаем судьбу человека за глаза, не спросивши, а если он не согласен? Думаю, не увлечется Антон вашими планами. Скучновато покажется. Работа престижная, важная, а я не пошел бы. Ходи с иностранцами, гляди им в глаза, слова от себя не скажи, только повторяй да в точности, не переври. Сегодня повторяй, завтра повторяй... Нет, не пошел бы! Какую-нибудь попроще работенку сыскал бы, да чтобы своими мыслишками соображать.

— О боже! Что ты говоришь, отец! — поразилась Вера Дмитриевна.— Уж не считаешь ли ты, что портным быть интереснее?

— О портновской профессии не задумывался. Поглядеть на твой наряд, хотя он мне не очень по вкусу, попугайский уж слишком, а ведь кто-то придумывал, изобретал, чья-то фантазия работала, нравится кому-то, тебе, например.

— Не понимаю, не понимаю, не понимаю! — взявшись за голову, растерянно твердила Вера Дмитриевна.— Папа! Среди твоих знакомых, видных военных, кто-нибудь выдал дочь за портного, продавца, парикмахера или кого-нибудь в этом роде?

— Не знаю. Не интересовался. Интересовался, хорош ли человек.

— Верочка, радость моя, рано Асе о замужестве думать,— кротко вставила бабушка.

Ася резко поднялась и без слов ушла.

— Догадываетесь, видите?! — испуганно и вместе пугающе произнесла Асина мама.— Она влюблена. Я вышла замуж сразу после школы за одноклассника, и она выскочит. Только мой муж сделал карьеру, а этот... Она влюблена. Год платонических излияний, а там... Что год! Секс среди молодежи бушует. Знали бы, что в Англии делается! Целуются в метро, на бульварах, на улицах, на глазах у людей. Девушки, парни без стыда.

— То в Англии,— не согласился генерал.

— А! И у нас тоже,— досадливо отмахнулась Вера Дмитриевна.— Что делать? Как избежать кон-



фликта? Она упрямая девчонка. Папа, мама, вы избаловали ее, вы поддерживаете ее упрямство.

— Самостоятельность,— поправил генерал.

— Да, пожалуй, напрасно я не взяла ее с собою в Англию,— не слушая отца, возбужденно рассуждала Вера Дмитриевна, шагая по комнате, прижимая к груди стиснутые руки.— Теперь поздно, из десятого класса не заберешь. Стоп! Идея. Если добиться для нее после школы длительной командировки в Лондон для усовершенствования языка? Я... муж добьется. Единственный способ уберечь Асю от дружбы, возможно, брака, нет, брак невозможен, но все же зачем рисковать? Папа, мама, мы живем не в начале революции, а в семидесятых годах.

— Мы живем, а не кто-то,— возразил генерал.

— Он сперва младшим лейтенантиком был,— кивнула на мужа Прасковья Ивановна.— Я за младшего лейтенанта замуж выходила, генеральство нам и не снилось. На боевом посту заслужил да после войны в Академии. А я как была фронтовой медсестрой, так и есть, да еще пенсионерка безногая, вам в обузу.

— Глупости не говори,— строго остановил генерал

— Еще один аргумент против,— расстроенно продолжала Вера Дмитриевна. Видно было, она понастоящему обеспокоена влюбленностью Аси в Антона. Что Ася влюблена, Вера Дмитриевна не сомневалась. Интуиция подсказывала ей, что это так и, вероятно, всерьез. Как ни мало она знала дочь (шесть лет разлуки), но угадывала и чувствовала в ней натуру волевую и бескомпромиссную Такие способны на самые неожиданные и, с точки зрения здравых людей, неблагоразумные поступки.— Я не хотела при Асе приводить этот аргумент,— делилась Вера Дмитриевна.— Они...— Вера Дмитриевна помедлила, вспыхнула, ямочки на ее щеках от смущения обозначились явственней.— ...Портные и прочие... берут чаевые Представляете, Асин друг и... чаевые?

Генерал поднялся, заложил руки за спину и медленно зашагал по комнате вдоль стола, мимо кресла бабушки, которая следила за ним вопрошающим взглядом. Вера Дмитриевна опустилась на стул. Теперь отец расхаживал, а она сидела, тревожно ожидая ответа.

— В целом наше общество — организм здоровый, но болезни есть. Чаевые — одна из болезней. Болезни надо лечить. Как?

Генерал ходил и вслух думал. Все молчали.

— Вот такие мальчишки, честные, чистые, некорыстные, наверное, и могут стать лекарями. И станут. Чем больше таких некорыстных мальчишек вовлекать в профессию, которой грозит болезнь чаевых, тем излечимей болезнь. Ты сказала: и прочие?

Он закурил новую сигарету.

— Ну? — спросила Вера Дмитриевна.

— Когда опытному хирургу близкие больного перед операцией дают с глазу на глаз в конверте триста рублей — это что?

— Совсем другое! — возмущенно и испуганно воскликнула Вера Дмитриевна.

— Не другое Те же чаевые, только в более интеллигентной форме и крупном масштабе

— Единичные, исключительные случаи! — кипела Вера Дмитриевна.

— Может быть, единичные, исключительные, а в принципе то же. Если болезнь даже в зародыше, ее надо лечить.

Наступило молчание.

— Как же мы решили с Асей? — робко спросила Вера Дмитриевна.

— Пора ей самой решать за себя,— ответил генерал.

Вера Дмитриевна хрустнула сплетенными пальцами.

— Но мы должны ей помочь? Папа, мама! Неужели мы не должны ей помочь?

20

Сегодня по расписанию производственное обучение. Два раза в неделю класс занимается в производственных мастерских на противоположной от ПТУ окраине города. Ехать туда около часа на троллейбусе, с пересадкой на автобус. В утреннее время на остановке очередь, Антон пролез без очереди, захватил место у окна и погрузился в раздумье.

Вчерашняя сначала дружеская встреча, а в заключение разрыв с домом генерала Павлищева ошеломили его.

«Кретин, идиот, как я смел сожрать у них три пирожка, даже четыре! — пилил себя Антон.— Они наблюдали, как я лопал их пирожки, и генерал и лондонская Асина мама. Ведь у них там этикеты. К чертям! Ноги моей в их доме больше не будет. Да они и не позовут, аристократы, высший свет! А если бы даже позвали.. нет уж, Асенька, мы не ровня, я в друзья тебе не гожусь. И не рвусь!»

Погруженный в гневные размышления, Антон не сразу услышал реплики на свой счет; между тем его обсуждал чуть не весь троллейбус.

— Чистая срамота — молодежь наша! — уловил наконец Антон шамкающий голос.— Старуха больная, еле стою на ногах, а он нет чтоб место уступить — ведь в бабки, а то и прабабки тебе, бесстыжий, гожусь,— уставился в окно, будто не видит.

— В самом деле, стыдно, молодой человек, не уступить место пожилой женщине,— подхватил кто-то.

— Я не заметил! — пристыженно вскочил Антон.

— И врут и врут на каждом слове,— укоряли его.

На место Антона, к окну, пробиралась сгорбленная старушенция, укоризненно тряся головой.

— Не заметил. Чего тебе надо, небось, замечаешь.

— Эгоистична наша современная молодежь бездушна.

Некоторое время продолжалось обсуждение неблаговидного поступка Антона. Он молчал.

Все на одного. Эх вы, люди! Никто не поможет. Эх, вы!

Снова он жалел себя, одинокого. В обиде забыл: а мама? А Колька? А Славка? А Семен Борисович? А Хорис Абрахманович? А... Гри-Гри?

Из учителей своей бывшей школы Антон сейчас более всего помнил Гри-Гри. При всех его язвительных придирках и строгостях он был интересным учителем. Его уроки не вызывали зевоты. Напротив, будоражили, поднимали что-то в душе, он был увлеченный, одержимый.

Антон помнил, папа говорил: талант всегда одержим.

А еще... разве забудет Антон письмо Гри-Гри, где он протягивает ему, девятикласснику Новодееву, руку? За эти несколько дней, перевернувших всю жизнь Антона, он понял, что значит дружеская рука.

В производственные мастерские Антон приехал раньше звонка, и миловидная женщина в светлом,

складно сидящем на ней трикотажном костюме приветливо встретила его:

— Здравствуй, Антон. Директор предупредил, что придет новенький. Наш Семен Борисович все знает, все помнит, как только голова держит! А я мастер производственного обучения, веду мальчишечий класс, в девчачьих классах по тридцати, а то и больше учащихся, у меня всего двадцать. Не очень-то мальчишки в портные идут, а напрасно: работа красивая, самостоятельная, если котелок варит, конечно. Идем покажу до звонка мастерские.

Мастерские занимали несколько комнат на первом этаже четырехэтажного здания.

— Наша,— вводя в одну из комнат, сказала мастер Лидия Егоровна, которая, проработав пятнадцать лет портной в ателье да десяток закройщицей, перебралась сюда учить и воспитывать будущих мастеров. Здесь, в ПТУ, больше ребят из неблагополучных семей, а у Лидии Егоровны было тяжелое детство, она понимает...— Типы вы все, перцы, а в каждом живинка, расшевелить только надо. Я по призванию педагог, немного припоздала свой талант разгадать...

«В одежде старайся быть изящным, но не щеголем. Признак изящества — приличие, а признак щегольства — излишество. СОКРАТ». Такое, начертанное крупными буквами наставление в деревянной раме висело на стене мастерской.

— Великие мудрецы о наших задачах высказывались, толковала Лидия Егоровна.

«Даже Сократ!» — удивился Антон, понемногу уже располагаясь к своему ПТУ.

Неизвестно, как пойдет дальше, а пока он не испытывал разочарования и вчерашнее настроение Асиной мамы старался выбросить из головы. Он решил быть человеком твердого характера, не поддаваться чужим влияниям.

Как жаль, Ася... Но братья Гримм все сказали. Жаль, Ася...

— Теперь бегло поглядим оборудование,— предложила Лидия Егоровна.

Вдоль стен большой, в несколько окон комнаты стояли швейные ножные машины незнакомого устройства, совсем непохожие на ту, что когда-то выиграл папа (Антон поразился, вспомнив сейчас выигранную папой швейную машину, будто судьбу сыну выиграл, как странно...).

Антона удивило: здесь, в швейном производстве, усовершенствованная современная техника.

— Кстати, звонок,— сказала Лидия Егоровна.

В мастерской нет парт и отдельных столиков. Два просторных стола тянутся вдоль комнаты, оставляя между собой проход. Мальчишки расселись по местам.

Кто-то кого-то толкнул. Кто-то гикнул, кто-то протрубил в кулак.

— Тихо. Призываю к дисциплине,— не сердясь, сказала Лидия Егоровна.— Занимайтесь каждый своим делом, а я займусь новеньким.

Она прошлась для порядка между столами, последив, пока ребята вытащат из портфелей небольшие квадратные лоскуты плотной материи и примутся из них что-то шить.

— Перед тобой орудия нашего производства,— возвратилась к новенькому мастер Лидия Егоровна, раскладывая на столе иголку, нитки, наперсток, портновскую линеечку, сантиметр, восемь штук ножниц.— У ножниц номера, каждый имеет свое назначение. Что к чему, запомнится не вдруг, а после не позабудешь. Опытный мастер вслепую возьмет, что ему надо. Дальше — иголки и нитки. Обыкновенный человек, непрофессионал, вдевает нитку правой рукой, сровняет, завяжет узелок. Секунда, что секунду жалеть? Глядишь, из секунд наберутся минуты, из минут часы. Время понапрасну потеряно. Незачем. А как профессионал поступит? Профессионал-портной держит иголку в правой руке, нитку левой вдевает. Левой же и узелок завяжет, безо всяких откусываний. Недельки две, нерасторопные и весь месяц тренируются, а в конце овладевают. Первый портновский навык на всю жизнь. Попробуй,— велела Лидия Егоровна.

Антон попробовал, пыхтел, надувая от усердия щеки.

— Щеки не надувай, не поможет,— посочувствовала она.— Видать, ты не из ловких. На дом задание: полчаса упражняться. Переходим к начальной учебе. Начинается портной со стежка. Надо научиться быть виртуозом. Расстояние между стежками — семь миллиметров (вот зачем сантиметр), но разве намеряешься? Если будешь один от другого стежок отмерять,— шить тебе не перешить. Настоящий мастер так набьет руку, что сантиметр в сторону, шьет на глазок. Дальше. Стежки бывают: косые, прямые, обметочные, стегальные, крестообразные, стачные, петельные, подшивочные, потайно подшивочные. Каждым надо овладеть, вмиг знать, где какой применить. А делать стежок надо меленьким, чтобы шов тонким был. Бери лоскут, иглу, начнем с косого стежка.

Не так-то легко оказалось обметывать косым стежком край лоскута. Антон искоса поглядывал, как шьют ребята. Практикуются всего три недели, а иглы мелькают проворно, будто без труда. Значит, и он сумеет.

Но пока у Антона получались косые стежки нескладные и кривые, разных размеров, разных между собою расстояний.

— Плохо,— сказала Лидия Егоровна.— Плохо. Но сразу хорошо не бывает. А будет. Руки осилят, научатся. Рукам — работа. Душе — праздник.

— ...душе праздник! — озорно подхватили ребята.

— Притомились,— заметила мастер производственного обучения.

Зазвенел звонок к перемене.

— На линейку! — захлопала в ладоши Лидия Егоровна.— Для разминки физкультзарядка. Наклон корпуса вправо, наклон корпуса влево...

21

За шесть часов сегодняшнего производственного обучения Антон более или менее прилично освоил не только косой, но и прямой стежки, и темно-серый шерстяной лоскут, выданный ему Лидией Егоровной, живописался довольно ровненькими разноцветными полосками: для стежков разного фасона и назначения полагались нитки разного цвета.

Лидия Егоровна немилосердно заставляла его переделывать неверные стежки.

— Один туда, другой сюда—не годится, распарывай,— журила она. Она была ласковой ворчуньей, доброй.

Ребята переговаривались за работой, иногда негромко смеялись. Лидия Егоровна зря не строжила учеников, трудились бы руки.

«Эта полоска,— думал Антон, делая стежки желтого цвета,— похожа на тропу в липовом парке. Где я видел этот парк? Жарко, цветут липы, гудит пчелиный хор, а далеко, в конце дорожки, кто-то ждет... Нет, никогда больше не увижу Асю».

Лидия Егоровна задала на дом урок — чтобы к следующему занятию освоил профессиональное вдевание нитки и крестообразный стежок:

— Догонять группу, миленький, надо.

И ее урок, и географию, и математику к завтрашнему общеобразовательному дню Антон отложил в сторону. После.

Он вошел в мастерскую отца Сердце гулко забилось, туманом застлало глаза. После папиной смерти он сюда че заглядывал. И при жизни редко

Время от времени папа учил его рисованию в общей комнате за обеденным столом. Должно быть, папа был неважным педагогом. У него не хватало терпения учить Антона.

— Кажется, не дурак и цвет, кажется, чувствуешь, а в рисовании чурбан чурбаном, терпение мое лопается.

Бормотнув что-то в этом роде, он скрывался в своей мастерской.

Отделенная от общей комнаты фанерной перегородкой, продолговатая и узкая, она напоминала небольшой коридорчик. Вдоль одной стены тянулись полки, где стояли и лежали в папках листы с рисунками. Наброски, приколотые кнопками, висели на стенах. На двух мольбертах незаконченные акварельные эскизы. Четырехугольный, ничем не покрытый стол завален листами, набросками, красками, кистями.. Стул Раскладушка, небрежно накрытая одеялом.

Скупо, бедно. И все полно папой, его работой, его неустройством, все помнит о нем, и как будто ощутимы его мысли, разочарования и надежды.

Антон сел на стул и заплакал. Он плакал громко — никого в доме нет,— впервые после смерти отца он плакал так громко и неутешно.

«Ничего себе, мужчина! — выплакавшись, подумал он.— А что если стащить из ПТУ все восемь номеров ножниц, навесить на грудь и прогуляться в таком виде по городу,— явилась в голову дикая мысль.— То-то было бы хохоту! А на спину прикрепить изречение Сократа. Реклама? В Америке ухватились бы...»

Он взял с полки первую попавшуюся папку. Лежавшая наверху стопы, естественно, она первой далась ему в руки Развязал тесемки, и на него глянул странный цветок: на длинном стебле, вскинув или свесив головки, цвели колокольчики, но не те, что растут в лесах и лугах. Множество колокольчиков, маленьких и крупных, все на одном стебле — синие, оранжевые, золотые, малиновые, радуга цветов!

«Что он хотел сказать? Ведь в жизни так не бывает. А глядеть радостно»,— подумал Антон.

Он перевернул лист и на обратной стороне прочитал: «Тебе».

Антон охнул. Вчера только мама рассказала о папином объяснении в любви: подарил рисунок цветущей черемухи.

«И после так?»

«И после».

Любя, стыдясь чего-то и волнуясь, Антон стал нетерпеливо разглядывать лист за листом.

«Тебе, одной тебе!» — прочитал он на другом, где нарисовано простенькое крылечко, с горячими — так и чувствуешь — от солнца ступенями, а рядом буйно разрослась бузина, кисти ягод пламенеют, и одна ветвь, прихотливо изогнувшись, легла на перила.

«Тебе, одной тебе! 1963 год». Значит, Антону было два года. Папа был совсем молодой. В тот год Выставочная комиссия порекомендовала его картины на выставку, его приняли в Союз, он был счастлив.

Антон всхлипнул. Вытер глаза кулаком

От картины к картине он читал повесть папиных чувств.

Роща, красный от земляники пригорок, заяц присел, поднял настороженно ушки. Наверное, в жизни все так и есть. А что-то папино Антон угадывал. Может, то, что заяц не серый, а чуть лиловатый, и мордашка наивная, детская, и насторожился папин зайчонок не от страха, а от ожидания чудес. Алый земляничный пригорок — начало чуда.

Вдруг Антону представились звуки органа, голос Баха, невыразимо торжественное чувство поднялось в нем, как однажды в то раннее утро, когда Гога Петряков привел его в безлюдное музыкальное училище.

Антон увидел памятник Неизвестному солдату у Кремлевской стены, вообразил, вспомнил. А увидел лишь набросок. Едва начатая стена древней кирпичной кладки. Взвившийся ввысь наподобие меча огненный факел.

«Не могу изобразить вечный огонь, не в силах,— прочитал Антон быструю папину надпись на полях этюда.— Может быть, кто-то сможет. Для меня неизобразимо, слишком высоко для меня».

Среди картин Антон нашел треугольник записки.

«Не хочу отдавать эти свои рисунки на чужой суд,— писал отец.— Кроме тебя, их никто не видел. В каждом штрихе, каждой черточке моя любовь к тебе. Почему я никогда не сказал вслух чарующее слово: «люблю»? Я его рисовал. Ты понимала. Но потом жизнь все более утомляла тебя, и ты уже не читала мои рисунки, как раньше. Ты стала к ним равнодушна, потому что ко мне не приходило признание, мое уныние тяготило тебя.

Надеюсь, счастье еще посетит нас. Мы возьмем билеты на все теплоходы всех рек и поплывем из края в край по нашей стране. Я хочу видеть, видеть хочу, чтобы ты смеялась. И Антошку прихватим с собой...»

Подписи нет. Даты нет.

«Что значит работать над архивом? Как над архивом работать? — подумал Антон.— Посоветуюсь с Яковом Ефимовичем».

— Уехал вчера в командировку,— ответили в телефонную трубку.

— Надолго?

— Едва ли, но точно не известно.

Там повесили трубку, Антон послушал частые гудки. И вернулся в мастерскую. Неуютно у папы все-таки. Тесно. Похоже на помещение склада, где свалены безо всякого порядка листы и эскизы. Наверное, порядок есть, продуманный папой, понятный ему одному.

Антон взял не очень толстую папку с аккуратно наклеенным заголовком — «Московская сюита».

Первый лист представил ему знакомый дом на Кропоткинской улице. И снова, как теперь уже понял Антон, в стиле и манере папы точный портрет и по-своему увиденный дом партизана Дениса Давыдова. Сквозь рассеянно-голубоватую мглу неясно рисуется волшебно зыбкое здание, колонны, в окнах бледные силуэты людей. И вдруг луч солнца, разрывая голубоватую мглу, упадает на ворох осенних листьев, и ветер подхватывает их, они летят, стая оранжевых птиц.

Дальше увидел Антон тесный дворик, кусты одичавшей сирени, как у них во дворе, ветхий домишко в три окна по фасаду, старую женщину в черном платке.

«Все ушло, осталась лишь память»,— написано папиной рукой.

Дальше увидел Антон церквушку, разрисованную причудливо яркими красками, такую игрушечную, что казалось, можно поднять и на руках унести.

Дальше высокие стеклянные дома — башни, сотни освещенных окон, широкий проспект; движется поток машин, фар и проспект праздничен, как новогодняя елка. Изо всех высотных сооружений отец любил только этот ансамбль и только вечерней порою.

«...Мою «Московскую сюиту» забраковал «Он»,— писал папа в таком же треугольничке, странички которого Антон нашел в первой папке. Похожие треугольники посылали солдаты с фронта во время войны.— «Он» не нашел в ней Новой Москвы. Но ведь я еще не дописал, буду долго писать. Я показал им наброски, чтобы заключить договор. Откровенно практическая цель — добиться договора, а сам я готов и хочу и мечтаю работать над «Московской сюитой». «Москва, Москва! Люблю тебя как сын, как русский — сильно, пламенно и нежно!»

Прекрасный Лермонтов! Помоги мне...

На обсуждении «Он» говорил, что моя «Сюита» — отход от действительности. Высмеял мои пейзажи — рассвет на Москве-реке, бывшее трамвайное кольцо «А» вдоль бульваров.

Высмеял! «Повторяет много раз сказанное или воскрешает отжившее»,— заявил «Он».

«Ему» непонятно мое лирическое отношение к Москве. «Он» требует, чтобы я написал цех какого-нибудь знаменитого завода. А у меня не выходит. Так много эти цеха показывают в наших киножурналах! Одинаково льется сталь, сталевары в очках... Что добавить, сказать по-своему, что?! У меня не выходят машины. Я чуждаюсь конвейеров, душа моя поет о другом. Но вот Калининский вечерний проспект — я в нем вижу поэзию.

«Он» требует, чтобы я нарисовал Высотный дом на Котельнической или где-то еще, того же стиля «Они выражают время,— говорит «Он».— Без них нет Новой Москвы».

Я не люблю те дома, с их громоздкостью, химерами, украшениями. Вся душа моя протестует против них, они не моя Москва.

Как быть? В Москве так много дорогого, любимого, древнего, нового. Моего. Как об этом сказать?!».

Антон глубоко задумался. Папина жизнь открылась ему в картинах и письмах. Антон ее не замечал, не видел, не слышал.

«Помните, Ася и Колька, я говорил, что цель жизни — громкое слово? А на самом-то деле помочь человеку — разве не цель? Я это на папиной судьбе понял...

Папа уехал в Отрадное, а я все о своих интересах...

Где папино Отрадное? Разыщу, найду

Вот только вернется из больницы мама...»

22

— Итак, в Союз,— сказал Яков Ефимович, с сожалением кладя кисть.

Он работал в довольно большой и светлой комнате, переоборудованной в мастерскую из чердачного помещения многоэтажного дома. Года три добивался мастерской и, когда наконец получил, ликовал, как мальчишка. Утром чуть свет — уже здесь и до вечера. Завтрак — чай в термосе, пара бутербродов с колбасой или сыром. Обед — напротив кафе. Часто случалось выходить и выезжать на натуру, но вторую половину дня Яков Ефимович обычно проводил в мастерской. В уединении свободней думалось и работалось, и вообще характера он был не очень общительного.

— Жаль отрываться, а надо,— глядя на эскиз натюрморта, сказал самому себе Яков Ефимович.

Он направился в Союз художников. Ученый секретарь, энергичная, умная, как знал ее Яков Ефимович, глубоко порядочная женщина, должна его поддержать. Должна согласиться, как несправедливо оценивались и оцениваются работы Новодеева. Некоторые люди, имеющие влияние, судят о его работах предвзято.

Почему? Кто-то кого-то настраивает, одному, другому шепнет на ухо: «Надуманно». Или напротив. Кто-то так хитро неблагоприятствует художнику, что Новодеев все остается в тени, незамеченным. Чем объяснить недоброжелательство того человека? Видимо, неполной уверенностью в собственных силах, боязнью соперников. Слышали вы, чтобы когда-нибудь он обрадовался чужому успеху, восхитился чужой картиной? Зато критиковать мастер, если можно назвать критикой напыщенные и вместе нудные, невнятно-наукообразные рассуждения об искусстве. Искусство для красовицких — прежде всего средство безбедного существования, а то и обогащения при их смекалке, пронырливости, умении входить в близкие связи с влиятельными людьми, их шумной общительности, которую многие простаки принимают за товарищество.

Разумеется, при разговоре с ученым секретарем Яков Ефимович имени не назовет. Не расскажет и о выставке. С нее-то все и началось. Красовицкий организовал в широкой художнической аудитории демонстрацию своей последней работы. Серия портретов женщин, героев труда. Одна, две, три... Десять. В аккуратных блузках и платьях, с напряженно-серьезными лицами, без улыбки, без света в глазах. Отмечая указкой тот или иной портрет, Красовицкий убедительно рассказывал историю каждой своей героини. Что ни биография — доблестный труд, достойная жизнь. Вокруг этих жизней и завязался разговор. Выступали преимущественно близко знакомые Красовицкому люди. Выступления заканчивались положительными оценками работы художника, не слишком горячими, но положительными. Важная тема. Реалистично решение. Правда жизни. Лицо времени.

И вдруг...

— Ведь плохо, разве ты не видишь, что плохо? Скучно, обыденно,— шепнул Новодеев Якову Ефимовичу.

Яков Ефимович, человек трезвых взглядов на жизнь, не рискнул бы сказать это вслух. Но и не сообразил дернуть за рукав Новодеева: «Промолчи. Слышишь, как пляшут вокруг?»

Яков Ефимович не был труслив, но понимал скромность своего дарования и соответственно скромное место, тем более толкаться локтями не умел, что и сближало его с Новодеевым. Обстоятельства приучили его к осторожности. «Сказанное слово — серебро, несказанное — золото»,— говорит народная мудрость, а уж слово против такой, неустанно себя утверждающей личности, как Красовицкий, и вовсе опасно.

Что касается Новодеева, где его тихость? Деликатный и застенчивый, иногда он взрывался, как порох. Это бывало в суждениях и спорах об искусстве. Тут он терял представление, с кем говорит, кого судит. Мчал, как необъезженный конь, опрокидывая на пути все преграды.

— Что мы видим? Будничные, неиндивидуальные лица. Это правда жизни? Это фотографии, снятые равнодушным аппаратом. Почему все лица одинаковы? Почему вы не радуетесь, глядя на них? Почему при их виде вам приходит в голову ужасная мысль, что труд не благо, а бремя? Художник, ведь не это вы хотели сказать? Вы хотели рассказать о творчестве. О том, что у каждой из женщин в белых кофточках есть надежды и поиски: они чудесны, мы восторгаемся ими. Нет,— махнул он пытавшемуся что-то возразить Красовицкому,— не приклеивайте мне ярлык. Я не зову к лакировке. Не знаю, сумел ли бы я передать мысли и чувства героинь труда. Но... где краски в вашей картине? Краски убеждают. Где они? Неживописно. Отчего? Оттого, что писаны портреты по заказу. Постойте, постойте! — спешил он, не давая Красовицкому возразить.— Я не против заказов. Надо оформить выставку, праздник, парад — естественно! Но когда художник пишет знатных работниц по данному ему списку, не вживаясь в образ, пишет расчетливо, деловито и... равнодушно, тогда и получается равнодушно,— потухшим голосом закончил Новодеев.

Долгая, трудная пауза. Затем кто-то пытался поспорить в защиту Красовицкого, но так неубедительно, что некоторые смущенно опускали глаза. Талантливые молчали, внутренне соглашаясь с Новодеевым, но оберегая свой душевный покой, не вмешивались в спор Среднеодаренные ехидно перешептывались и тоже молчали.

После этого и началось... Да, именно после того злополучного выступления Новодеева неприятности, незадачи обрушивались на него одна за другой. Вот даже с картиной, где цветущий луг и белая птица,— Красовицкий и ей не дал ходу. Он умеет не дать ходу. Такого наплел о Новодееве и самому Новодееву, что тот и защититься не посмел... не успел. А после... похороны, поминальная речь.

Красовицкий трудяга, собран, трезв — всем известно. Мигом улавливает, что в данный момент от художника ждут, о чем выгодно писать. И спешит, торопится обогнать других. И ревниво оглядывается, нет ли рядом соперников. Тогда любыми средствами надо успех других пригасить, не дать ходу. Он умеет не дать ходу. Вот и про Новодеева товарищам внушил, что картина вычурна, несвоевременна, несовременна. Чего только не наплел! Бедный Новодеев не успел защититься. И мы хороши — не заметили, как талантлива картина, талантлив художник!

А после... похороны, поминальная речь. И суетливые хлопоты о судьбе оставшихся произведений Новодеева, и во всем этом наверняка какой-то расчет. Не вдруг разгадаешь, какой

Троллейбус остановился. Яков Ефимович не сразу вошел в Союз. Прохаживался по тротуару. Обдумывал, десятки раз взвешивал «за» и «против» предстоящей встречи с ученым секретарем. Утром твердо решено: «Иду» Ночью наползают сомнения. Совесть требовала: «Ты обязан в память друга доказать его талантливость, драматическую несправедливость судьбы. Ты виновен в том, что при его жизни молчал, отстранялся. У тебя не хватило смелости вступить в бой за Новодеева». Так кричала совесть.

Привычная осторожность подсказывала другое: осложнения, подвохи и прочее, что может последовать за разговором. Конечно, все станет известно Красовицкому, и Яков Ефимович до конца века наживет могучего врага.

Прикидывая так и здак, Яков Ефимович некоторое время прохаживался по тротуару, а затем быстрым твердым шагом вошел в подъезд, миновал коридор и постучал в нужный ему кабинет.

Не дожидаясь ответа, открыл дверь. Ученый секретарь была не одна. Мужчина лет пятидесяти, статный, респектабельный, в замшевой куртке, водолазке болотного цвета, прощался с нею, пожимая ей руку.

— Рад, очень рад познакомиться! Итак, относительно Новодеева мы договорились точно?

— Точно,— подтвердила она.

«Что это? Чудо?» — про себя вскричал Яков Ефимович.

В два шага подскочил к столу, забыв поздороваться, нарушая приличия.

— Что вы о Новодееве? Может ли быть, чтобы так совпало? Я о нем, и вы о нем! Невероятно! Или я ослышался? Или не в своем уме? Объясните...

Якова Ефимовича пригласили сесть. Он был так возбужден, что ему предложили даже выпить воды. Мужчина в замшевой куртке тоже сел. Яков Ефимович перестал восклицать и в глубоком изумлении умолк. Ученый секретарь («Славная, умная!») представила ему:

— Председатель колхоза «Отрадное» Михаил Никанорович Дружинин.

Меньше чем через час Яков Ефимович в подробностях знал, что делал Новодеев в «Отрадном», что недоделал, зачем Новодеев нужен колхозу и как приехавший на совещание в Министерство сельского хозяйства председатель колхоза «Отрадное» разыскал дом Новодеева, никого не застал и, услышав от соседей по подъезду о смерти художника, явился сюда.

— Принимаем решение,— заключила ученый секретарь.

Вечерним поездом Яков Ефимович вместе с председателем колхоза уехал в командировку в Отрадное.

23

Весь путь они проговорили. Председатель колхоза окончил Московскую тимирязевскую академию и не раз бывал за границей членом праздничных и деловых делегаций, носит на груди звезду Героя Социалистического Труда, в «Отрадном» работает пятнадцатый год, колхоз-миллионер, а недостаточки есть.

— Есть недостаточки,— с упряминкой повторял председатель.— В частности, культурный фронт не на полной высоте. Отстаем по культуре, если производственными успехами мерить.

Езды на поезде три с половиной часа, тридцать километров от станции в сторону.

К приходу поезда председателя ожидала черная «Волга».

Когда три месяца назад художник Новодеев сюда приехал, ни «Волги», ни какой другой машины, ни лошаденки с телегой возле станции не было. День стоял солнечный, жаркий, в разгаре сенокос, колхозникам не до гостей. Кстати, никто Виталия Андреевича в «Отрадное» всерьез гостить и не звал.

...Однажды случилось художнику забежать в кафе перекусить на обед чего-нибудь вроде сосисок. Немолодой мужчина, высоколобый, с открытым лицом, у того же столика стоя ел те же сосиски.

Несколько незначащих реплик, беглых вопросов, и Новодеев узнает, что перед ним председатель колхоза «Отрадное».

— Красиво там у вас?

— Красивей не сыщешь.

— И название милое — Отрадное! Заберу-ка свои художнические снасти да и двину к вам полюбоваться вашим Отрадным.

— Что ж, двигайте, не пожалеете.

Вот и все приглашение. Правда, председатель вырвал из блокнота листочек, черкнул адрес, распрощался и наверняка тут же о художнике позабыл, уверенный, что тот и не подумает собраться в Отрадное. Действительно, Виталий Андреевич не сразу надумал.

В командировке ему отказали, выдали восемьдесят рублей в порядке творческой помощи. И он поехал в Отрадное на свой страх и риск.

Дорога, дорога.. Вольный ветер веет в лицо, ласкает влажный лоб, тяжелые потные волосы.

Жарко, а как легко дышит грудь! Предчувствие неведомого счастья охватывает Виталия Андреевича. Давно он не испытывал радости этих ожиданий, надежд. Молодость вернулась к нему. Он силен, талантлив, полон энергии. Он шагает пешей тропой, которая то вильнет в лес, то выбежит на поляну, пересечет неглубокий, заросший ивняком овражек.

Волнистые дали раскинулись вправо и влево. Он видит цветы... О, чувствительный художник! Тебе всюду грезятся поэзия, лирика...

Председатель колхоза крайне удивился приезду художника, он давно уже о нем забыл. Да к тому же заявился художник в страдную пору, председатель, все его помощники, бригадиры, зоотехники с утра до ночи, а то и круглые сутки в горячке покосов.

— Смотрите, наблюдайте, живописуйте! — сказал председатель.

Кому-то позвонил, подняв трубку одного из телефонов в своем, почти министерском кабинете с паркетными полами, полированным столом, книжным шкафом, кого-то вызвал, что-то приказал, и на следующий день в колхозный Дом для приезжих к Виталию Андреевичу прибежала быстренькая курносенькая девушка, младший зоотехник, консультировать Новодеева.

Она сыпала различные сведения залпом, без передышки, обрушивая их на художника, не подготовленного к такому обилию сельскохозяйственной информации.

Новодеев слушал, смотрел, поражался. Механизация, техника, электрические доилки, кормовозы, доставляющие на тракторах корма животным. Организованная по последнему слову науки и техники фабрика по производству молока и мяса. Коровы-машины. Откормленные, черно-белые, с тяжелыми цепями на шеях, они смотрели на посетителей неподвижными глазами. Видят ли они? Что они видят? Жуют жвачку. Без останова жуют. Затем им подвозят корма. Они снова жуют и равнодушно отдают молоко.

Какое-то беспокойство поднялось в сердце художника. Умом он понимал и одобрял благоустроенность, богатство, превосходную механизацию молочно-племенного комплекса, как называла скотный двор девушка-зоотехник, а в душе что-то спорило, противилось превращению коровы в машину. Чудилось иное:

> **...Ряд холмов и нивы полосаты,**
> **Вдали рассыпанные хаты,**
> **На влажных берегах бродящие стада,**
> **Овины дымные и мельницы крилаты...**

Художник Новодеев, ты отсталый человек, и нечего призывать себе в союзники Пушкина...

Виталий Андреевич поблагодарил младшего зоотехника за экскурсию к коровам и сказал, что дальше будет знакомиться с колхозной жизнью самостоятельно, объяснять ему больше не надо.

Центральная усадьба, расположенная на обширной поляне, вокруг которой леса — березняк, осинник, ельник,— была застроена служебными зданиями, здесь и склады, молочный завод, и другие пока неизвестные Новодееву помещения, а чуть подальше тянулись два ряда аккуратных, с мезонинами и крылечками наподобие небольших террас, домов колхозников.

Здесь же был и Дом для приезжих, по-городскому — гостиница, и двухэтажный дом, солидный, с парадным подъездом и броской вывеской «Клуб». А еще дальше поднималось несколько недостроенных высоких домов.

«Однако вот они, кисельные берега и молочные реки»,— подумал Виталий Андреевич, но вспомнил коров на цепях, и сердце снова засосала тревога.

«Могу ли я их, таких, рисовать? Не могу. Живые машины. Вернее, животные, которым из жизни оставили одну жвачку. Но чего же я хочу? Хочу ли повернуть общественное существование вспять? Утренний рожок пастуха, зовущий скотину со дворов на выгон, сочная зелень пастбищ, блеяние овец, забавы телят на свободе — все в прошлом. Общественное производство разумно развивается, но этих коров я рисовать не могу. Оттого, наверное, я не признан и беден».

Новодеев вспомнил, как однажды Яков Ефимович, человек практической смекалки, имеющий ходы в издательства, добыл ему для иллюстрирования рукопись. Новодеев обрадовался: договор, заработок, в дальнейшем, может быть, верный. Взял читать рукопись и отложил. Снова взял, опять отложил. Не мог заставить себя рисовать монотонную, неживую жизнь, какая описывалась в этой будущей книге. Другой на иллюстрирование ему не дали, не оправдал доверия, пришлось оплачивать невыполненный договор.

— Чудак! — убеждал Яков Ефимович.— Не все же графики гении. Есть художники, пишут для себя, а для денег — на потребу заказчику. Схалтурил, зато потом пиши для души, пока гонорар не проешь.

Виталий Андреевич отказался.

«Однако при чем здесь коровы? Какая связь? Умом понимаю, а душа не обрадовалась»,— думал Новодеев, отсталый человек, упрямый художник.

Но в тот же первый колхозный день судьба одарила его нежданным подарком.

24

Он побывал на молочном заводе, посмотрел сушильную установку, где производится травяная резка и брикеты из нее, заглянул мельком в один из сараев, где хранится прессованное сено, и решил, что на первый день достижениями науки и техники сыт. В лес! На природу. Всюду, где художник сегодня побывал, у него спрашивали выданный ему за подписью председателя пропуск. В лес пропуск не требовался.

— Любимые, вечные! — говорил художник, обнимая одну и другую березы, прижимаясь щекой к прохладным шершавым стволам, и так стоял и думал: «Знаю — сентиментальность. Знаю — смешно. А внутри все ликует и плачет от нежности».

Июньское солнце плыло к закату, в лесу темнело, свистнет редкая птица — певческая пора кончилась, пришло время кормления птенцов.

Художник побрел куда глаза глядят и, покружив по лесу, не зная дороги, очутился на колхозной улице. Оттуда он вышел на задворки, где тянулись капустные гряды с торчащими, еще небольшими, косматыми башками вилков, а от гряд зеленая луговина полого спускалась к реке. И он спустился к реке, неширокой и тихой, с песчаными плоскими берегами в иных местах, а то поросшими частым кустарником. Тут он и увидел то, что сейчас же захотелось нарисовать, немедля, не взвешивая, будет ли это передовое искусство, отражающее сегодняшнюю жизнь с ее созиданием и устремлениями. Вообще захотел рисовать, рисовать! На него, как говорится, накатило. Колхозники видели его утром, днем, вечером всегда с мольбертом и кистью. Судили-рядили между собой: «Городской вроде дачник, а не барствует. Как и у нас, верно, страда. Небось, к ночи у него спину тоже поламывает».

ЭТЮД ПЕРВЫЙ. Кони вымчались к реке так внезапно, что художник от изумления и восторга замер. Табунок коней одинаковой светло-рыжей масти прискакал к реке навстречу закатному алому солнцу. Будто ослепленные им, кони враз оборвали бег и, как художник, замерли. Солнце повисело над горизонтом и оставило землю, а по небу разлилась багряным светом заря, и в свете ее кони стали медленно вступать в воду, очарованно внимая тишине и яростному пожару зари. Потом разрезвились. Это были молодые стригунки. Топтались в воде, фыркали, вздымая фонтаны брызг, клали, ласкаясь, головы друг другу на шеи, слегка покусывая. А заря горела все огненнее, и, отражая ее полыханье, кони казались солнечно-рыжими.

Потом парнишка лет шестнадцати прискакал на кобыле без седла, пятками колотя ее по крутым бокам, взмахивая свободной от уздечки рукой:

— Вы что, ошалели? Куда вас вперед меня унесло? Озоруете? Покажу вам, как озоровать!

Кто-то из коней в ответ молодо, задорно заржал.

«Есть знаменитые красные кони Петрова-Водкина, там символ революционной страсти, революционного вихря,— думал Новодеев.— Моя картина не будет вторичной. Мои кони другие. Грация юности, резвости, нетерпеливое ожидание счастья, яркий свет вечерней зари. Не закат. Закат — грустное слово. Мою вечернюю зарю сменит день. Моя картина будет славить жизнь и природу».

Так он думал. Когда он шел рисовать реку, зеленый лужок, плавно спускавшийся к ней, раскидистую ветлу на том берегу, а на этом песчаную отмель и отражавших полыхающее зарево неба золотисто-желтых коней, ребячьи толпы сопровождали и не оставляли его.

— «Наш художник»—уже называли Виталия Андреевича в колхозе.

Он был окружен почитанием, его полюбили.

«Татьяну бы с Антошкой сюда,— скучал художник.— Добьюсь ли я, чтобы вместе с ними видеть это раздолье, волнистые дали, посидеть в тени той раскидистой ветлы? И чтобы Татьяна и Антошка услышали, как здесь радуются моему рисованию. Добьюсь. Буду самим собой, и вы признаете меня и будете посрамлены».

Этим «вы», кому он грозил, прежде всего был Красовицкий.

Виталий Андреевич нарисовал первую картину. Председатель долго разглядывал, сдвигая соломенную шляпу на висок, на затылок.

— Гм. А ведь здорово. Я не особо знаю художество, а чувствую — здорово. Повесим в клубе.

В клубе процветающего колхоза-миллионера, помимо библиотеки, зрительного зала с экраном для кино и сценой, танцевального зала, нескольких комнат для занятий кружков, была одна свободная комната, довольно большая, пустая, ничем не украшенная, кроме богатой люстры — подарка чешских гостей, побратимов «Отрадного». Комната использовалась в случаях особой нужды. Здесь решено было выставить новодеевских коней.

Колхозники, особенно женщины, приходили поглядеть, хвалили картину.

— Как живые, стригунки, будто малые ребятишки полощутся в речке.

— Только что больно уж рыжи.

— То и лучше. На то и художество, чтобы красоту видней показать.

— А речка-то наша. Глянь, и ветла раскинулась и сук один в воду окунула. А хорошо-то у нас!

Пока что колхозному столяру заказали сколотить раму для картины из планок, а председатель на собрании правления сказал:

— Организуем в клубе картинную галерею, товарищи! Мы выполняем и перевыполняем производственный план, изо всех сил стремимся обеспечить колхозный народ хорошим жильем, в этом вопросе до полного выполнения задачи не доросли, но стремимся, растем. А с культурой недоработка у нас, дорогие товарищи! Поинтересуйтесь, сколько в библиотеке новеньких невостребованных книг стоит на полках нечитанными. Скажете, телевизор от книг отбивает? Так-то так, да не совсем так. Слабо умеем пропагандировать книгу. Про кружки так же признаемся: не все с полным энтузиазмом работают. А с художественным воспитанием вовсе провал. Нужна картинная галерея деревне. Художник Новодеев Виталий Андреевич своим творчеством нам ее подсказал. Товарищи, какой мы колхоз-миллионер без собственной художественной галереи?

Теперь не было дня, чтобы председатель хоть на десять минут не прикатил на своем вездеходе поглядеть, что рисует художник. Не руководил. Не подсказывал. Не требовал отобразить то или это. Виталий Андреевич работал свободно. Если бы громкие слова не пугали его, сказал бы: «Кажется, я узнал истинное вдохновение». «...В очах родились слезы вновь; душа кипит и замирает; мечта знакомая вокруг меня летает...»

Он рисовал и бормотал стихи.

ЭТЮД ВТОРОЙ. Знойный июльский полдень. Солнце в зените. Ни дуновения ветра, не колыхнется листок. В колхозном фруктовом саду ветви яблонь облиты румяными, янтарно-желтыми, бледно-зелеными с красными прожилками яблоками. Ветви яблонь клонятся книзу; если бы не подпорки, не удержать буйное богатство плодов. Сторож, статный старик в ярко-синей рубахе, тряхнул одну ветвь, и спелые яблоки попадали и цветисто усыпали землю. Малыши в пестрых рубашонках и платьицах подбирают яблоки.

Праздник солнца и неба и красок — румяные яблоки, детские цветные платьишки и васильковая рубаха старика! Разве старики носят васильковые рубахи? А сторожа оделяют ребятишек колхозными яблоками?.. В жизни это бывает?

— Бывает,— говорит председатель.— Все бывает, что хорошо.

ЭТЮД ТРЕТИЙ. Уборка хлеба. Ночь. Ночь черна и раскрашена огнями машинных фар, костров, ракет, которые, время от времени взлетая ввысь, сигналят что-то водителям, убирающим хлеб, грузящим зерно в машины. Ночь черна и вся в огнях, в движении, в кипении труда.



ЭТЮД ЧЕТВЕРТЫЙ

— У нас есть знаменитые женщины, орденоносные, одна героиня труда,— сказал председатель про колхозниц «Отрадного».

Виталий Андреевич вспомнил парад ударниц Красовицкого.

— Хочу написать рядовую.

— Все свою линию гнете?

— Какая такая моя линия, какую я гну? — дерзко бросил художник.

— Не кидайтесь на меня. Вашу линию я одобряю. Есть свое слово, свое и сказано. Так? Вам, художникам, легче — выполнение производственного плана вас не касается.

— Есть другое. Тоже не очень легко,— возразил Новодеев.

Председателю нравились жизнерадостность и яркость картин художника Новодеева. Глядя на них, хотелось улыбаться и жить.

Противоречивый человек художник Новодеев! Как часто в его сердце печаль, а здесь, в колхозе «Отрадное», он пишет картины, которые зовут улыбаться и жить.

Вот девушка. Прядки черных волос выбиваются из-под повязанной тюрбаном белой косынки, белый халат накинут на бордовое платье, сережки на мочках маленьких ушей словно ягоды малины, ноги крепки и смуглы. Она моет бидоны на молочном заводе и смеется, белые зубы слепят белизной.

ЭТЮД ПЯТЫЙ. Раннее утро. Сиреневые, палевые, розовые облака раскиданы по небу. Над рекой дымится белый туман. На каждой травинке серебряная капля росы. Нагнись, собирай в пригоршню прозрачные росинки и пей...

Виталий Андреевич не написал этой картины. Мучительная тоска внезапно нахлынула на него. «Что со мной? Больно грудь, ноет сердце. Что дома? Тати-а-на, родная, не могу без тебя. Как мало я тебя вспоминал за эти блаженные месяцы небывалого подъема! Ни письма. Правда, мы вообще не переписываемся, странно, но так повелось. Говорим по телефону. Здорова ли? Все ли в порядке? У меня ничего. Работаю. Когда приеду? Не знаю. Правда, они уезжали в отпуск к Татьяниной родне на Оку,— пытался оправдать себя Виталий Андреевич.— Плохо. Оказывается, мы можем месяцы жить друг без друга — нет, я не могу. Без тебя и Антона. Я не слал тебе письма, потому что ты привыкла к моим неудачам, я не смел признаться тебе, как хороши мои этюды в «Отрадном», боялся, ты не поверишь. Мои наброски прекрасны! Талант мой расцвел. Я не стесняюсь теперь это сказать. Приеду домой и скажу. И ты поверишь».

Скорее домой! А кроме того, есть одно обстоятельство.

Виталий Андреевич сказал председателю о том обстоятельстве. Художественная галерея не может создаваться из этюдов одного Новодеева. Нужны работы многих художников, хотя бы нескольких. При Союзе есть шефская комиссия, организует в колхозе музей бесплатно, из фондов.

— Дивлюсь,— верно подивился председатель.— Ведь гол, как сокол. Вижу, что гол, а от заработанного отказываешься. А? Встречал ты таких? — спросил председатель бухгалтера.

— Правду сказать, не случалось. Чаще лишку норовят ухватить.

— Колхоз не частное лицо,— объяснил свою позицию Виталий Андреевич.— Вот съезжу домой. Оформлю заказ, тогда уж прикачу к вам за денежками и порисую вволю.

— А сейчас не возьмешь? — настаивал председатель.

— Не возьму.

— Упрям,— покачал головой председатель.

— Упрям,— согласился художник.

Картины он оставил в «Отрадном». Взял лишь одну, где облако, похожее на белую птицу, летит над цветущим лугом. Может, Выставком примет для выставки, может, кто-нибудь из посетителей купит.

25

Утро в больничной палате начиналось приходом сестры со шприцами и градусниками. Больным делали уколы, мерили температуру.

Татьяна Викторовна задолго до прихода сестры не спала. Несмотря на снотворное, сон был неспокоен, прерывист, она просыпалась в жестоком душевном упадке. Все мучительно в больнице, особенно утра, когда не хочется вступать в новый день. Трудные мысли поднимались в ней. Не убежать, не скрыться — безжалостные, проклятые мысли, нет им конца!

Татьяна Викторовна перебирала в памяти прошедшие годы. Не так прожиты годы. И виновна в этом только она, будничная, целиком поглощенная маленькими житейскими заботами, с утра до вечера занятая машинкой, хозяйством. Никто за нее не отслужит службу в учреждении, не выстоит после службы очереди в продуктовом магазине, не приготовит обед, но разве не могла она чуть больше радоваться и радовать его? Сколько раз он неуверенно звал:

— Та-ти-а-на, сходим на выставку молодых. Есть интересные, очень даже интересные есть.

— Ах, какие там выставки! Белье второй день в тазу замочено, не доберусь постирать.

Он понуро уходил в свою мастерскую-коридорчик. Потом, пошептавшись с Антоном, все же убегал вместе с ним в какой-нибудь музей — рядом толстовский, пушкинский, невдалеке Парк культуры и отдыха.

Антон делил его размышления, они толковали на разные отвлеченные темы, более всего об искусстве. Искусство было жизнью и любовью отца.

Она могла бы в воскресный день распорядиться:

— Мужички, начистим к обеду картошки, вымоем посуду и айда в Третьяковку или пошатаемся по улицам.

Виталий Андреевич знал историю улиц.

— Если вникнуть как следует, Москва — город-музей,— говорил он.

А для нее что музей, что не музей, в общем-то все равно.

Пропустила она тот Большой мир, в котором, страдая и радуясь, в мечтах и надеждах, в страстном труде жил, не дожив до своей победы, ее муж, художник Новодеев.

«Что же теперь мне осталось? Влачить существование?» — горько думала Татьяна Викторовна.

Существование ее и раньше делилось и далее, наверное, будет делиться на две не связанные между собой половины: работа и дом. В довольно важном учреждении она печатала довольно важные бумаги, но душа оставалась равнодушной. Там ее могут заменить сто — двести машинисток. Дома никто не заменит. Дома она должна растить сына. Скаже-

те, растить сына не государственное дело? Кто важнее государству: машинистка Новодеева или мать Татьяна Викторовна Новодеева?

«А! Кому до меня дело? Мне, прежде всего мне важно растить сына! Ему важно, чтобы я, его мать, была на свете. Антон, я тоскую...»

Подходила сестра с градусником.

— Как самочувствие?

— Прекрасно.

Татьяна Викторовна скрывала от врачей, сестер, ото всех убийственную подавленность духа. Начнут еще лечить от какой-нибудь нервной или душевной болезни. Нет у нее душевной болезни! Она просто несчастна.

Татьяна Викторовна не знала, что пока отец Антона был жив, хотя она и ворчала, и хандрила, и жаловалась, рядом была опора. Теперь опоры нет.

Ее мучили страхи. Сумрачная фантазия рисовала картины одна ужаснее другой. То представится: в дом проникает грабитель и убивает Антона. То пьяный шофер сбивает его на дороге. Или он заболел ангиной, температура 40^0, а некому согреть чаю. А что он ест? Он потерял деньги, не на что купить хлеба. Он забыл выключить газ. Ядовитая отрава облаком выползает из кухни, растекается по комнате, а мальчик с полуоткрытым ртом разметался на узенькой тахте — это не сон, глазам не открыться.

Страхи, страхи...

А кто та девочка, которую он не назвал? Наверное, хитренькая, лживая, жадная. Они, нынешние, все такие. Им нужны кавалеры преимущественно с машинами и отдельными квартирами. Антон, ты в нее влюблен, а она хвастается подружкам: отбоя нет, столько за мной мальчишек гоняется! Твое сердце нежно замирает, а ты ей нужен для счета: «За мной столько мальчишек гоняется!» Моя душа изныла о тебе, Антон! Ты мой единственный сын, я живу для тебя».

В полубреду, полуяви Татьяна Викторовна не помнила, как закончились утренние процедуры, прошел завтрак и явился с обходом врач, тот веснушчатый оптимистичный молодой человек, который главным лечащим средством против всех болезней полагал бодрое состояние духа.

— Не киснете?

— Напротив. Полна энергии.

— Ну и хорошо, я сказал бы, отлично!

— Доктор, выпишите меня домой.

— Скоро. Еще два небольших обследования. Вы заметили сегодняшнее ясное осеннее небо? Солнца не видно за крышами, но можно представить, как оно поднялось на востоке. Утро, солнце, жизнь.

Он оставил палату, но через несколько минут возвратился. Быстрым, каким-то подчеркнуто энергичным шагом приблизился к постели Татьяны Викторовны, сел.

— Скоро мы вас выпишем. Запомните: надо бороться с горем. Нельзя опускаться. Следите за своей одеждой, прической, квартирой. Не избегайте развлечений. И боже вас сохрани в припадке тоски обратиться к рюмке — извините, нам известны такие случаи, неизбежно ведущие к гибели. У вас чудный парень.

— Откуда вы знаете?

— У него на лице написано — чудный.

— Если бы все доктора были такие, как вы,— сказала Татьяна Викторовна.

Он вспыхнул, веснушки его загорелись.

— Мой идеал — Чехов. Но до идеала идти и идти.

— А вы и идите,— улыбнулась Татьяна Викторовна.

26

Это утро, зарю которого Татьяна Викторовна не увидела из больничной палаты, Яков Ефимович встречал в колхозе «Отрадное». Зари и там не было. Было странное небо, все как бы затянутое голубовато-сизым занавесом, и на восточной стороне, невысоко над горизонтом, висел небольшой темно-багровый шар солнца. Яков Ефимович дожидался на центральной усадьбе попутного грузовика, которым намерен был добраться до станции, и глядел на солнце. Такого солнца он не помнил, не видывал. Маленький вишнево-красный шар без лучей — знамение чего-то таинственного.

Несколько женщин, как и Яков Ефимович, дожидались грузовика, чтобы везти на рынок огурцы, укроп, репу, разные овощи с личных огородов.

— Бабоньки, гляньте, солнце-то кровью налилось, видать, беду кажет,— говорила одна.

— Не к войне ли, спаси бог, или болезни худой,— вторили ей.

— Бабоньки! Хозяин бежит. А грузовика нет. Неужто в грузовике отказал?

Хозяин, то есть председатель колхоза Михаил Никанорович Дружинин, действительно почти бежал, во всяком случае, поспешно шагал в распахнутой замшевой куртке и сдвинутой на ухо соломенной шляпе.

— Яков Ефимович! — издалека закричал он.— Уморил ты меня. По хозяйству сотня задач, а я за тобой гоняюсь. Доброе утро, товарищи женщины. Заказан грузовик. Сейчас подойдет. Езжайте, торгуйте — ваш труд, ваше право.

Он подхватил Якова Ефимовича под руку и повел с центральной усадьбы по асфальтированному шоссе на проезжую дорогу к станции.

— Грузовик нагонит, тогда сядете. Эй, товарищи женщины! — крикнул он.— Художнику место рядом с водителем забронировано. Он у нас гость почетный и до крайности нужный.

— Почетному да нужному гостю свою бы «Волгу» подали,— крикнула задорная какая-то молодайка.

— На своей «Волге» к большому начальству нынче ехать нужда,— отпарировал председатель.

За короткое время, какое Яков Ефимович провел в Отрадном, они сдружились. Каждый ценил в другом то, что ему самому недоступно.

Яков Ефимович дивился масштабам, размаху, успехам колхоза. Возможно, были недостатки в колхозе. Наверняка были, но Яков Ефимович их не заметил и заметить не мог, потому что колхозную жизнь представлял слишком поверхностно. Председатель же по-детски восхищался мастерством и талантом художников, тоже мало их понимая.

Они вспоминали Новодеева.

— Картинная галерея будет у нас,— говорил председатель.— Картинная галерея имени художника Новодеева. Жалко, эх, жалко, без времени ушел человек! Жить бы, людей творчеством тешить. Чистый был человек, некорыстный. А позволят нам его имя присвоить нашей картинной галерее? У нас любят героям посвящать. А чем он не герой? Он герой творчества. Добился своего Новодеев, нам картинную галерею подсказал, его имя и дадим. Мы богаты, походим по домам: телевизоры, гарнитуры, холодильники, полный достаток. Производственный план выполняем. В миллионеры поднялись. А не хватает чего-то. Красоты душа просит.

— Вот она, красота,— повел рукой Яков Ефимович.

Они миновали центральную усадьбу. По ту и другую стороны дороги зелеными коврами раскинулись озимые поля. За полями, радуя глаз, манил многоцветный пестрый лес. Странное солнце ушло. Сизое облако плотным покровом затянуло его. Наступал тихий, нежаркий, нешумный день осени.

— Без этой красоты жить невозможно,— ответил председатель.— А нам и другое давай. Одолела меня, товарищ художник, мечта. Новодеев зажег. К зиме немного поутихнут полевые задачи — поделюсь с народом. Учителей расшевелю, комсомольцев. На ваш энтузиазм, товарищ художник, питаем надежды.

— И я мобилизую друзей. У нас ребята горячие,— ответил Яков Ефимович.

Он был доволен и счастлив, напав на след Новодеева. Все его радовало: и что богатый колхоз, и живописная местность, и что председатель умеет мечтать.

В Москве шефская комиссия поддержит идею картинной галереи. Могут возникнуть и сложности, Яков Ефимович их не страшился. Председатель — поддержка такая могучая, что никакие красовицкие не страшны.

— Что касается формы, договариваться с вашим верховным командованием будем совместно,— подтвердил председатель.

Грузовик с кузовом, полным колхозниц, гуднул тенорком, догоняя.

— Товарищ гость, занимайте гостевое почетное место! — молодо крикнули Якову Ефимовичу.

— До встречи,— простился он с председателем.

— До скорой,— ответил тот.

Грузовик поехал на станцию.

27

Экскурсия была назначена на два часа дня. После обеда группу освободили от уроков. Лидия Егоровна сопровождала экскурсантов. Мастер — одновременно воспитатель, с утра до конца занятий наблюдает за поведением ребят. Антона же Лидия Егоровна привечала с особым вниманием. Новенький, сирота, одинокий. Но она не показывала жалости к нему, не сюсюкала и вроде бы ничем не выделяла.

Итак, они приехали на Кузнецкий мост в Выставочный зал Дома художника. Здесь уже собралось порядочно публики. «Петеушникам» оставили первый ряд, конечно, благодаря усиленным хлопотам Семена Борисовича. Расселись. Антон между Лидией Егоровной и шахматистом-третьеразрядником, который опять толкнул его в бок, показывая свою игрушечную шахматную доску, но Антон отказался от партии. Сейчас его интриговало другое. Сейчас он увидит и услышит знаменитого московского модельера, который откроет ему вершины портновского искусства.

На сцене рояль. На рояле в стеклянной, под хрусталь, вазе букет лиловых хризантем. Пианист открыл крышку рояля, заиграл что-то тихое, похожее на шорохи осеннего леса, и вдруг бурный каскад ликующих звуков взорвал меланхолическую тишину, и запела тонкая, нежная свирель.

— Красота — это природа во всякое время, живопись, музыка, поэзия. И наша одежда. Эстетические потребности всегда были у человека и все дальше растут. Укажите на девушку, которая осталась бы равнодушна к красивому платью. Мы хотим быть красивыми, но вовсе не значит, что мы несерьезны, пусты, бездумны. Напротив. Когда девушка красиво одета, обнаруживая тем эстетический вкус, она и дом свой захочет красиво оборудовать и свое рабочее место в учреждении или на заводе. Разве красивый костюм мешает вам мыслить, изобретать? Напротив, он поднимает ваше настроение, творческий тонус. Красиво одетый человек редко груб и невежлив, и душевно он невольно становится тоньше. Помните Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»?

Так говорил незаметно сменивший на сцене пианиста тот самый знаменитый модельер, молодой, изящный, свободно рассуждающий перед переполненным залом.

— Слушайте,— шепнула ребятам Лидия Егоровна.

— Человечество развивается, цивилизация растет,— говорил модельер.— Не будем сейчас обсуждать пороки человечества, будем говорить о прогрессе. Человек всегда жаждал красоты и, заметьте, как много и талантливо создавал ее и создает. Вы въезжаете в новый дом, вам хочется украсить жилище удобными и уютными вещами. Кем-то сделаны вещи, чьими-то мастеровитыми руками. Вы идете в гости, как приятно нести в подарок букет душистых цветов, кем-то выращенных и ухоженных. Вы покупаете книгу и, еще не прочитав, любуетесь ее праздничной обложкой и рисунками. Вам не хочется пить кофе из неуклюжей грубой чашки, а в красивой чашечке и кофе-то вкуснее. Вот и поймите, какую большую роль в человеческом быте, каждодневной жизни играют люди самых разных профессий и в первую очередь портной. У нас важная профессия, мастера ее приносят людям много пользы и радости.

Так говорил модельер, и Лидия Егоровна от удовольствия и симпатии к молодому ученому специалисту разволновалась, раскраснелась и, обмахиваясь платочком, зорко следила за учениками: неужели равнодушны?

Нет, кажется, не равнодушны, им интересно.

Затем началась демонстрация моделей. Появлялись на сцене длинноногие, тоненькие, сказочно-праздничные, нарядные феи и похожие на принцев парни в элегантно-простых костюмах.

— Видите, видите? — чуть слышно говорила Лидия Егоровна.— Чего стоит эта скромная элегантность, каким трудом ее добивается мастер! И вот так и кажется: этот изящный, достойный на вид парень не нахамит, не вступит в драку.

— Костюм пожалеет,— шепнул шахматист-третьеразрядник.

— В таком костюме не захочешь свою честь замарать.

— А! И в модных костюмах хулиганы бывают,— раздался чей-то меланхолический возглас.

— Ребята! Хочется во всем быть красивыми, как призывал Чехов,— настаивала восторженная Лидия Егоровна.

Верно Семен Борисович когда-то сказал: скучных работ не бывает, бывают скучные люди...

Можно, любя бытие, сгребать опавшие листья в саду, потом зажечь костер и глядеть, как бегут и пляшут огненные струи, и думать. О чем? Когда папа был жив и иногда они снимали на лето под Москвой в деревне избенку, папа любил жечь костры. Небольшие костерики. Они усаживались вдвоем на пеньках.

— Каждому человеку,— говорил папа,— хочется сделать какое-то дорогое дело, отдать ему душу. Не знаю, удастся ли мне...

— Ужинать! — звала мама.

Они шли в избу, садились за некрашеный стол.

Если мама не очень устала и была не в дурном настроении, говорила шутливо:

— Два танкиста, два веселых друга... Не столь веселых, сколько мечтательных. За мечтами пропустите жизнь.

— Решил всерьез заняться рисованием,— сказал Антон Лидии Егоровне после встречи с модельером.

— А как же! А как же! — сочувственно закивала она.— Тебе сам бог велел рисовать, отец-то художником был. Наше дело, начиная с первых брючишек, которые скоро я вам задам шить,— самое настоящее художество. Воображать надо и точность в руке иметь. Я в тебя верю, Антон.

28

«Да, буду рисовать и как можно больше,— думал Антон, вернувшись домой.— Папа все же не говорил что я совсем без способностей. Но я буду рисовать и конструировать костюмы не для фей и принцев, каких нам сегодня показывали, уж очень они нарядны, эффектны; нет, я буду изобретать одежды не для приемов и показов, а для обыкновенных людей, чтобы на улицах и на работе, в городе, деревне, всегда, каждый день было красиво и ярко. Позвоню Якову Ефимовичу посоветоваться насчет рисования».

— Яков Ефимович не вернулся из командировки,— ответили в телефонную трубку.

...Неуютно, неопрятно дома. Антон не заметил, как за несколько дней дом превратился в захламленную берлогу.

Как всегда, ему хотелось есть, и он принялся чистить картофелины, чтобы поджарить на подсолнечном масле, но голова его была занята не запущенностью дома, не предстоящим обедом, как ни подводило от голода живот, а тем, что сегодня, может быть, выпишут маму и наконец он откроет ей свои перемены. В том, что он сегодня услышал и увидел, что-то его зацепило. Жизнь должна быть красивой не для избранных, а для всех, и какие-то неясные мысли о простоте, изяществе простоты и в то же время яркости обычных одежд обычных людей бродили в его голове. И что-то хотелось ему искать, находить, а кроме того, ведь история костюма — наука не очень изученная и близко связана с искусством художника. Что сказал бы папа? Неужели согласился бы с насмешливыми рассуждениями лондонской Асиной мамы! Как жаль, Ася, что мы с тобой расстались навсегда!

И именно в эту секунду в прихожей раздался звонок, и о н а пришла. Было дождливо, скверно на душе, моросил мелкий дождь вперемежку со снегом, золотая береза отряхнула все до последнего листья, на бульварах голо, уныло.

Ася сбросила с головы капюшон, скинула пальто.

— Обед маме,— сказала она, ставя на стол судки,— суп, второе, третье. Ты понравился тете Капе и бабушке, поэтому тут двойная порция. Кормись, голодный волк.

— Вот уж не думал, что придешь,— смущенно бормотнул он.

— Боюсь, ты не совсем положительный тип,— ответила она.— Если б был вполне положительным типом, знал бы, что приду. Нельзя же оставлять твою маму без усиленного диетического питания.

Зазвонил телефон.

«Наверное, мама!» — кинулся Антон к телефону.

— Аркадий Михайлович!

Звонил доктор, тот веснушчатый приветливый доктор, который считал важнейшим лекарством внушать пациентам оптимизм.

— Антон, не тревожься. Не паникуй. Да, собирались выписывать. Но... ничего не случилось, но выписывать маму из-под врачебного наблюдения пока рано. Надо понаблюдать. Чудак, говорят тебе, не паникуй. Скажу маме, что ты отнесся спокойно. Передача? Приноси, разрешаю. Но будь мужчиной и взрослым, Антон. Терпение и выдержка, понял?

— Что? — спросила Ася.

— Маму обещали выписать и не выписывают. Не плохое ли что?

— Если бы плохое, тебя сразу бы вызвали,— возразила Ася.— Обедай.

Он без аппетита стал есть. Она, искоса бросая на него молчаливые взгляды, прибирала комнату, стирала с полок пыль, вешала в шкаф брошенные мамины платья и халат.

Снова раздался звонок в прихожей.

— Тебя не назовешь одиноким. Покоя нет от друзей,— сказала Ася.

Колька Шибанов завопил с порога:

— Слу-у-шайте! Эко-о-логия в наше время ге-е-неральная задача. Н-а-до спа-а-сать Зе-емлю, и я опре-еделил себя о-окончательно.

— Как ты себя определил, поговорим после,— строго заметила Ася,— сейчас складываем капиталы. У меня рубль. У тебя хоть полрублишка найдется?

У Кольки полрублишка нашлось.

— Антон, ты освобожден от налога,— командовала Ася.— Колька, катись на рынок, торгуйся зверски и выторгуй самый прекрасный, какой только можно, букет. Отнесем в больницу.

— У-ура! Смываюсь на рынок.— Он исчез.

— Хороший человек,— такими словами проводил Кольку Антон.

— Не на все сто,— возразила Ася,— ворвался и ни о маме твоей не спросил, ни о тебе. Все океаны да экология в голове.

— Ты придира, Ася.

— Когда как. Хватит философствовать. Скорее кончай обедать, и понесем передачу в больницу.

Антон поел что-то вкусное, что редко приходилось ему в последнее время едать.

— Спасибо тете Капе. Без женщины жизнь невозможна.

— Что верно, то верно,— согласилась Ася.— Однако не одними котлетами жив человек. Ты заинтриговал меня сказками братьев Гримм. Дай взглянуть.

Она взяла книжку и довольно долго читала «Храброго портняжку».

Антон вымыл после обеда посуду, а она все читала, и он думал, вычитает ли она в сказке себе приговор и что из этого получится дальше.

— Скверно! — оставляя книжку, сказала она.— Противный портняжка, не уважаю.

— За что? — не понял он.

— Если ты не понял, значит, совсем не такой чуткий ты человек, не такой тонкий и душевный, как мне вообразилось. Неужели ты другой? — допрашивала Ася, глядя на него не мигая, уронив между колен руки, хмуря брови.— Неужели надо объяснять? Удалой портняжка, отважный, самостоятельный, всевозможными хитростями добивается полкоролевства и королевны. Она, узнав, что он не знатного рода, а бывший портняжка, гонит его, а он опять же хитростью и ловкостью добивается остаться при

ней. Не из любви, из-за королевства. Неужели не стыдно? А? Не стыдно? Ты не понял, что стыдно?

Он молчал, пораженный. Он не так прочел сказку. Они совсем по-разному ее прочитали. Он осуждал королевну за ее королевское чванство. Но на то она и королевна!

— Конечно, она не полюбила его,— продолжала Ася.— А он? Потерял достоинство, стыд, честь, лгал, унижался. Зачем? Чтобы владеть королевством. Я выгнала бы его не за то, что он портняжка. Выгнала бы за бессовестность. Разочаровалась в сказках братьев Гримм,— заключила она.

Антон понуро стоял посреди комнаты с веником в руке, собираясь хоть немного подмести пол. Стыдно ему, не понял того, что так ясно увидела она.

— Я тебя уважаю за то, что тогда от нас ушел,— сказала Ася.— Если бы тогда не ушел и начал вилять перед мамой, я не стала бы с тобой дружить и... любить.

— Лю-бить? — повторил он, заикаясь, как Колька.

— Испугался? — засмеялась она.— Ах, сколько в тебе недостатков, Антон!

— А свою маму ты любишь? — спросил Антон.

— Конечно! Но не так, как ты свою. Мы разные люди. Вот, например, я думала, думала и надумала: не хочу быть гидом-переводчицей. Скучно что-то.

— Кем же ты будешь?

— То и беда, что не знаю. Просто не знаю,— разводя руками, призналась она.

— Может быть, найдешь в конце концов какое-нибудь призвание?

— Не знаю. Мама расстроена, а дед верит: что-то подвернется. Дед — оптимист.

— Замечательный твой дед! — вырвалось у Антона.

— Бабушка еще лучше. Он командовал ротой, бабушка вынесла его с поля боя, почти убитого, волокла на шинели. Бомбы рвутся, со всех сторон артиллерийский огонь, гибель, а она все тянет и тянет шинель, а он без памяти на шинели, почти неживой... Антон, я не терплю современный тип развязных мальчиков, у которых все разговоры поверхностные, лишь о видах электрогитар, о том, как достать джинсы или жевательную резинку. Скучны они мне. Я старомодная, экспонат прошлого века.

Антон кинул веник и в порыве, почти в экстазе снял со стены папину самую дорогую картину, где над цветущим лугом летит похожее на птицу белое облако, протянул Асе.

— На. Это последнее папино. Наверное, он мне ее завещал. Наверное, завещал. Дарю тебе.

Она подержала картину, грустно вгляделась и вернула.

— Нельзя дарить папину память.

Антон постоял в растерянности и повесил картину на прежнее место.

— Ты права. Я учусь рисовать. Первую лучшую картину подарю тебе.

— Нет. Первую маме.

— И тут ты права. Какой же я идиот! Видно, я плохой человек, а ты...

— Ладно, там разберемся,— улыбнулась она.— Бери судки, выйдем Кольке навстречу, понесем передачу в больницу.





ЛЕВ БЕРИНСКИЙ

☆☆☆

Когда гудящий самолетик
собой звезду перечеркнет
и, уходя на ровной ноте,
ее на крыльях унесет
и, тишину небес наруша,
утихнет, канув за черту,
я гляну вверх и обнаружу
все ту же легкую звезду.
И смутою недоуменья,
нахлынув, сменится восторг:
какой закон их на мгновенье
приблизил в мире и расторг,
какая нежность тут сказалась,
чтоб через весь ночной предел
коснуться, не соприкасаясь,
хотя бы так... тенями тел!

☆☆☆

Все было так, как век, как двадцать пять
веков назад.
В ночах вздыхали травы.
Сиреневым дымком всходил болотный чад.
Тащили змеи груз своей отравы.
Летели бабочки на свет большой луны,
Внезапной увлеченные любовью.
Озерный окунек смотрел из глубины
На длинную,
нависшую над ним щеку воловью.
На дымных отмелях струились тополя.
Далекое вверху созвездие парило.
Был юный месяц май. И старая земля,
Как сто веков назад, дышала и творила.

☆☆☆

Я умру в ожидании чуда
отовсюду — из легких небес,
из речной синевы и оттуда,
где поля, и оттуда, где лес.
Приготовлюсь к последней улыбке,
осмотрюсь и пойму, что давно
все распахнуто вплоть до калитки —
двери настежь и настежь окно.
Майский полдень возьмет свои лютни,
но уже не услышу я их,
журавлиные стаи споют мне
на высотах, уже неземных.
И тогда, я не знаю откуда,
у калитки, клубясь на ветру,
засверкает, появится чудо...
Будет чудо, и я не умру.

Мария Прилежаева

1. „Зеленая ветка мая"

2. „Всего несколько дней"